

НАТАНИЕЛЬ

ГОТОРН

АЛАЯ БУКВА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Алая буква
Натаниель Готорн

Аннотация
Натаниель Готорн. Алая буква
Предисловие ко второму изданию
Таможня. Вступительный очерк к роману «Алая буква»
Глава 1. Тюремная дверь
Глава 2. Рыночная площадь
Глава 3. Встреча
Глава 4. Разговор
Глава 5. Эстер за рукоделием
Глава 6. Перл
Глава 7. Покои губернатора
Глава 8. Девочка-эльф и служитель церкви
Глава 9. Лекарь
Глава 10. Лекарь и пациент
Глава 11. В глубинах сердца
Глава 12. Бдение пастора
Глава 13. И вновь об Эстер
Глава 14. Эстер и доктор
Глава 15. Эстер и Перл
Глава 16. Прогулка в лесу
Глава 17. Пастор и его прихожанка

Глава 18. В потоках солнечного света
Глава 19. Дитя у ручья
Глава 20. Священник в смятении
Глава 21. Праздник в Новой Англии
Глава 22. Шествие
Глава 23. Раскрытие тайны алой буквы
Глава 24. Заключение

Аннотация

«Алая буква» – самый известный из романов Натаниеля Готорна. Об этом романе спорили в гостиных всей Европы, а в России, вскоре после выхода, он был запрещен цензурой по личному приказу Николая I.

Красавица Эстер Принн, выданная замуж за сурового пуританского ученого намного старше ее, не смогла избавиться от чувств к молодому пастору – и изменила с ним мужу. Теперь она носит под сердцем плод этого греха, и вся ее дальнейшая судьба зависит от того, согласится ли законный супруг признать ребенка своим…

Если муж скажет правду, смерть покажется Эстер лучшим из наказаний. Но какую цену он заставит ее заплатить за спасительную ложь?..

Натаниель Готорн
Алая буква

© Перевод. Е. Осенева, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Предисловие ко второму изданию

Салем
19 марта 1850 г.

К большому удивлению автора, а также к немалому (в чем мог бы он признаться, не слишком боясь усугубить оскорбительность своих слов) его развлечению, он обнаружил, что вышедший из-под его пера и предваряющий «Алую букву» очерк с описанием общественной жизни колонии вызвал небывалое волнение в кругу всеми уважаемых граждан. Сожги автор здание таможни и погаси последние дымящиеся угли кровью того или иного достопочтенного лица из тех, к кому он, как, по-видимому, предполагается, питает особенно недобрые чувства, шум и то был бы менее яростным. Поскольку общее осуждение легло бы тяжелым бременем на совесть автора, в случае, если б согласился он, что осуждение это им заслужено, автор просит принять во внимание, что добросовестно перечитал страницы очерка, намереваясь подвергнуть переделке или вовсе исключить из текста все, что может считаться

ошибочным, и тем самым сделать все, что в его силах, для умаления того ужасного зла, в котором его обвинили. Но, как ему представляется теперь, единственное, что можно поставить в вину автору и что характеризует данный очерк, — это благодушный тон повествования, юмор и абсолютная точность, с какой он воспроизводит свои впечатления от лиц, там описываемых. Что же до враждебности, предубеждений и недобрых чувств, якобы питаемых к тем или иным лицам или же политическим установлениям, то такие обвинения автор полностью и решительно отвергает. Очерк этот, разумеется, можно было бы и опустить без большого ущерба как для книги, так и для публики, но, беря на себя труд написания этого очерка, автор был полон самых добрых намерений и преследовал, насколько это было в его возможностях, лишь одну цель — создание живой и правдивой картины.

Поэтому автор и осмеливается переиздать свой вступительный очерк, не поменяв в нем ни слова.

Таможня
Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Примечателен тот факт, что, не имея склонности злоупотреблять рассказами о себе и своих делах — сидя у камина или же в кругу друзей, я дважды за всю мою жизнь все же уступал непреодолимой потребности обратиться к читателям напрямую.

В первый раз — случилось это года три-четыре тому назад — я совершил поступок, непростительный и вызванный бог весть какой причиной, понять ее ни благосклонному читателю, ни въедливому сочинителю не дано — я одарил публику описанием моей жизни в глубоком уединении и тишине Старой Усадьбы. Теперь же, ибо сверх всех моих ожиданий и никак не по моим заслугам мне случилось найти одного-двух слушателей в первом случае, я хватаю публику за пуговицу и рассказываю о трехлетнем моем опыте работы на таможне. При этом я, как никто другой, свято следую примеру прославленного «П.П., приход-

ского клерка»[1]. Однако истиной мне кажется и то, что если он разбрасывает исписанные им листы, поручая их воле судьбы, автор в свой черед обращается не к тем многочисленным читателям, которые либо сразу же отложат книгу в сторону, либо вовсе не возьмут ее в руки, но к тем немногим, кто поймет его гораздо лучше большинства школьных его приятелей или тех, кто сопутствовал ему в дальнейшей жизни.

Встречаются, правда, авторы, которые позволяют себе излишество, пускаясь в такие откровения, которыми разумно делиться только и исключительно с тем единственным, чье сердце и ум полны к тебе неизменного сочувствия. Такие писатели воображают, что брошенная в широкий мир книга непременно отыщет отделенную от автора вторую его половину и тем дополнит круг его существования, завершив его недостающей частью. Но поскольку язык немеет, а мысль застывает, если говорящий не находит никакой связи со слушателями, то, может быть, и простительно воображать себе, что есть на свете друг, пусть и не близкий, но добрый и чуткий, который будет слушать рассказ, и что благосклонное

[1] Примечания: 1

Имеется в виду Поль Прай, популярный в XIX веке комический персонаж, нахальный и злостный сплетник. — *Здесь и далее примеч. пер.*

внимание его способно растопить твою природную сдержанность, так что позволительно будет болтать обо всем, что на ум взбредет, рассказывая и о жизненных обстоятельствах, и о себе самом, оставляя все же сокровенное «я» за некоей туманной вуалью. До этих пределов и не выходя за их рамки, автор, на мой взгляд, может быть автобиографичным, никак не нарушая ни прав читателя, ни прав собственной личности.

В дальнейшем читатель убедится в том, что очерку этому свойственна черта, нередко встречаемая в литературе и ею узаконенная, — автор рассказывает о том, каким образом в его руки попала значительная часть последующих страниц, и тем самым подтверждает истинность всего изложенного в книге. Только желание определить мое место как всего лишь издателя или чуть больше, нежели издателя, этого наиболее многословного из моих сочинений и явилось истинной причиной моего прямого обращения к читателю для установления с ним личных отношений — только это и ничто другое. Для достижения главной цели потребовались и кое-какие дополнительные штрихи. Ими я бегло обрисовываю жизнь, дотоле никем не описанную, и характеры людей, участвовавших в ней, среди которых

был и я.

Полвека назад, в эпоху старого Кинга Дерби[2], центром всей жизни был шумный и оживленный порт. В наши дни порт превратился лишь в скопление обветшалых пакгаузов и не обнаруживает или почти не обнаруживает признаков какой-либо торговой деятельности. Изредка в меланхолических водах его в отдалении можно различить барку или бриг, привезший шкуры, или какая-нибудь шхуна, прибывшая из Новой Шотландии, сгружает на берег дрова. Так вот, у самого выезда из этого пришедшего в упадок порта, нередко затопляемого волнами прилива, там, где окаймленная густой травой и несущая на себе следы многих медлительных лет, тянется дорога, вдоль и за которой там и сям виднеются дома, здесь, с видом на сей безрадостный пейзаж из окон фасада, а значит, поперек гавани высится поместительное кирпичное строение. С высокого конька его крыши ровно в течение трех с половиной часов, начиная с девяти утра, возносится вверх колеблемый ветерком или уныло свисает в безветрие флаг республики, тринадцать полос которого расположены не горизонтально, а

[2] Примечания: 2

Дерби, Элиас Хаскет (1739–1799) — богатейший купец Массачусетса, судовладелец, первым в Новой Англии наладивший торговлю с Китаем.

вертикально в знак того, что власть Дяди Сэма представлена здесь не военной, а только гражданской своей частью.

Фронтон здания, украшенный портиком из полудюжины деревянных колонн, имеет выступ в виде балкона; широкие гранитные ступени лестницы ведут с балкона на улицу. Над входом распростер свои крылья огромного размера образчик американского орла. Грудь его прикрыта щитом, а в каждой лапе, как помнится мне, пучок молний и колючих стрел. Со свойственной ей вспыльчивостью, о чем свидетельствует свирепость ее клюва, выражение глаз и агрессивность позы, несчастная эта птица, как кажется, всем видом своим грозит бедой безобидным жителям мирного городка, в особенности предостерегая тех, кто осмелится вторгнуться в пределы, над которыми она распростерла свои крылья.

Невзирая на устрашающий вид птицы, многие даже и сейчас пытаются найти прибежище под сенью ее крыльев, полагая, по всей вероятности, что на самом-то деле грудь у птицы мягкая, как пуховая подушка. Но даже и в самом благостном настроении орел не склонен нежничать и рано или поздно, скорее рано, встряхнется и отбросит от себя птенчиков ударом клюва или запустив в

них одну из колючих своих стрел.

Растрескавшийся тротуар и мостовая возле здания, которое мы вправе назвать таможней порта, обильно поросли травой, свидетельствующей о том, что люди не снуют здесь взад-вперед и деловая жизнь толп не собирает. Впрочем, иногда в утренние часы бывает здесь заметно некоторое оживление. В таких случаях какой-нибудь престарелый обитатель городка может предаться воспоминаниям о времени, предшествующем последней войне с Англией, когда Салем был портом настоящим, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, позволившими причалам Салемского порта ветшать и осыпаться, потому что дела свои, товары и грузы переместили они в Нью-Йорк или Бостон, где те и не нужны вовсе, и незаметны в мощном потоке других. В такие утра, когда в порту находится одновременно несколько судов, как правило, африканских или южноамериканских, прибывших или готовящихся к отплытию, лестница таможни гудит от множества торопливых шагов людей, снующих вверх-вниз по гранитным ступеням. Тогда вы встретите здесь и сможете приветствовать раньше, чем собственная его жена, загорелого,

просоленного всеми ветрами капитана с потертой жестяной коробкой судовых документов под мышкой. Сюда заходит и его работодатель-судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или угрюмый, в зависимости от результата только что завершившегося плавания — оставит ли оно его с прибылью в виде кучи золотых монет от хорошо проданного товара или же с несбытым грузом и неприятностями, избавить от которых никто не может и не желает. А вот и тот, кому в будущем предстоит превратиться в морщинистого седобородого и утомленного заботами делягу-купца, — хваткий юноша-клерк; уже познав вкус профессии, как вкусивший крови молодой волчонок, он начинает проворачивать на хозяйском судне собственные торговые дела, хотя по возрасту ему более пристало пускать игрушечные кораблики в пруду возле мельницы.

Еще один гость таможни — это матрос, отправляющийся в дальнее плавание, — ему нужен документ, а когда, бледный и изможденный, он из этого плавания возвратится, он будет просить здесь направление в больницу. Не следует забывать и о капитанах маленьких ржавых шхун, что возят дрова из британских владений. Хоть вид этих неуклюжих посудин, может, и не соот-

ветствует энергичной живости янки, но все же они вносят важный вклад в наш допотопный торговый промысел.

Собираясь все вместе, как это порою случается, и с добавлением ради разнообразия кое-каких случайных посетителей, все эти люди время от времени сообщают таможне некое оживление. Но чаще, однако, поднявшись по ее ступеням, вы увидите, у входа ли, если дело происходит летом, а в зимнее время или же в плохую погоду — внутри соответствующего помещения — лишь ряд достойных джентльменов, удобно устроившихся в старомодных креслах у стены.

Часто джентльмены эти дремлют, изредка перебрасываясь друг с другом словами, перемежаемыми то всхрапыванием, то сонным бормотанием, что обнаруживает полное отсутствие у них жизненной энергии, как это бывает у обитателей богаделен или кормящихся трудом других, словом, у тех, чья жизнь не требует личных усилий. Престарелые джентльмены, занятые, подобно Матфею, взиманием пошлин[3], хотя вряд ли они заслуживают апостольского призвания, — это таможенные чиновники.

---

[3] Примечания: 3

Согласно библейской легенде, апостол и евангелист Матфей до своего апостольского служения собирал пошлину на Тивериадском озере.

Далее, по левую руку от парадного входа, расположена зала, или же контора — комната в пятнадцать квадратных футов с довольно высоким потолком; из двух арочных окон ее открывается вид на обветшалую пристань, в то время как третье окно выходит в узкий проулок, за которым можно разглядеть часть Дерби-стрит. Из всех трех окон видны лавки бакалейщиков, торговцев мелочным товаром, корабельной утварью, а также съестным; возле дверей здесь обычно толпятся, болтают и балагурят старые моряки и всяческая шушера, что вечно околачивается возле порта. Стены конторы, облупленные, грязные, затянуты паутиной; пол, как во всех прочих присутственных местах по моде былых времен, покрыт слоем серого песка, что еще больше усиливает впечатление запущенности и вызывает подозрения, что волшебные женские орудия — метла и тряпка — проникают в это святилище крайне редко. Что же касается меблировки, то в комнате находятся печь с внушительным колпаком вытяжки, старый сосновый стол с колченогим табуретом, два или три шатких стула с деревянными сиденьями, а также — немаловажная подробность! — подобие библиотеки: полки с десятком-другим сборников законов и постановлений Конгресса и

объемистый справочник по налогообложению. Проходящая по потолку жестяная труба служит для сообщения с находящимися в других помещениях. И здесь же полгода тому назад бродил из угла в угол или же, сидя на колченогом стуле и опершись локтем на стол, проглатывал столбцы утренней газеты человек, хорошо знакомый вам, уважаемый читатель, тот самый, что любезно пригласил вас некогда в свой уютный тесный кабинет в западной стороне Старой Усадьбы, куда сквозь ивовые листья так весело проникали солнечные лучи. Однако теперь напрасно стали бы вы искать его здесь, расспрашивая, куда подевался сей поклонник «Локофокского наблюдателя»: метла реформ вымела его отсюда, и теперь другой, более достойный, заменяет его на этом служебном посту и вместо него получает жалованье.

Старый Салем, городок, где я родился и который считаю родным, хоть подолгу живал вне его и в детстве моем и в более зрелые годы, обладает или же обладал для меня притягательностью, силу которой я начинал ощущать, только когда покидал его. По правде говоря, городок этот — и само местоположение его на плоской и унылой равнине, и деревянные дома, по большей части

или вовсе даже не претендующие на какие-либо архитектурные достоинства, и хаотичность планировки, и весь его облик, который, не отличаясь ни живописностью, ни оригинальностью, может быть охарактеризован не иначе как банальный, и его длинная главная улица, лениво тянущаяся через весь полуостров, от Холма Висельников и местной тюрьмы в ее начале и до богадельни на другом ее конце, — все эти черты моего родного городка, вместе взятые, способны вызвать привязанность не больше, чем может это сделать доска для шашек с разбросанными по ней фигурами. Но все же, и несмотря даже на то, что гораздо счастливее бывал я во многих других местах, чувство, которое питаю я к старому Салему, за неимением других определений, вынужден я назвать любовью. Возможно, в сентиментальном чувстве этом повинны глубокие корни, которые издавна пустила в эту землю моя семья.

Вот уже два с четвертью столетия минуло с тех пор, как первый британский эмигрант, носивший мою фамилию, прибыл в этот затерянный в диких лесных дебрях поселок, постепенно ставший городом. И потомки его, здесь родившиеся и умиравшие, смешали бренный свой прах с этой землей, так что немалая ее доля стала мне

родной, так или иначе, войдя в плотскую мою оболочку, в которой мне суждено, по-видимому, еще некоторое время разгуливать. Поэтому привязанность, о коей я толкую, в какой-то мере является чувственным влечением праха к праху. Мало кому из моих земляков близко это чувство, ну и слава богу, ибо, как говорят, частая пересадка укрепляет растение.

И однако чувство мое не лишено нравственной основы. Фигура прародителя моего, каковую семейное предание рисовало окутанной дымкой некоего мрачного величия, сколько я себя помню, всегда увлекала мое воображение. С нею связано и то теплое чувство, которое я питаю к прошлому, но отнюдь не к настоящему родного моего города. Мне кажется, что право мое на проживание в Салеме я получил не в силу собственных заслуг — они не так уж и известны и говорят жителям городка не больше, чем говорит им мое лицо, которое они столь редко видят, а увидев, не узнают, — правом этим я обязан человеку, здесь похороненному, этому строгому, бородатому, в темных одеждах и островерхой шляпе предку, приехавшему сюда бог весть когда с Библией под мышкой и мечом в руке, человеку, гордо шествовавшему здесь по только что проложенной улице

и бывшему всегда на виду как в мирное время, так и в дни сражений. Он был солдатом, законником, судьей, он правил местной церковью и обладал всеми чертами характера истинно пуританского, как достоинствами его, так и недостатками. Он был неутомим, как полагается пуританину, в искоренении человеческих пороков, и, как свидетельствуют квакеры в своих воспоминаниях, память об особой жестокости его по отношению к одной женщине из их секты, надо думать, надолго переживет рассказы о добрых его делах, коих было немало.

Сын его унаследовал отцовскую непреклонность и жестокость, а роль, которую он сыграл в процессах над салемскими ведьмами и кровь этих несчастных покрыли его, как можно смело утверждать, несмываемым пятном позора. Пятно это въелось в него столь глубоко, что даже кости его на кладбище у Чартер-стрит, если только они не истлели окончательно, должны были сохранить на себе его след. Не знаю, испросили ли мои предки прощение у Неба за все свои жестокости или даже теперь, пребывая в ином мире, все еще стонут под тяжестью грехов своих. Так или иначе, но пишущий эти строки, берет на себя, как их представитель, стыд за их позор и молится за них,

дабы души их отныне были избавлены от тяжести проклятия, говорят, вполне ими заслуженного, как заслуживают его грехи всех тех из нашего рода, кто жил в то далекое и сумрачное время.

Не сомневаюсь, однако, что каждый из этих суровых и мрачных пуритан счел бы достаточным наказанием за грехи уже и то, что по прошествии долгих лет старый, почтенный и замшелый ствол фамильного древа на верхушке своей пустил росток в виде такого пустого малого, как я! Ни одна мечта, которую я когда-либо лелеял, не была бы ими одобрена, ни одну из целей моих не сочли бы они достойной похвалы, никакой мой успех, если жизнь моя вне дома и была когда-либо озарена успехом, не поколебал бы их отношения ко мне как к человеку ничтожному, и хорошо еще, если не как к позору семьи. «Да кто он такой?» — шепчет какая-нибудь седая родственная мне тень другой. — «Да истории всякие пишет». «Что за занятие он выбрал! Как прославить этим Господа? Как послужить времени и поколению своему! Это ж все равно что пиликать на скрипке!» Подобным образом прохаживаются, должно быть, на мой счет мои предки, перекликаясь через бездну времени. Но при всем их презрении ко мне я не могу не заметить стойкого сходства их натуры

со своей и их черт, вплетенных в черты моего характера.

Глубоко укоренившись посредством этих двух энергичных и честных граждан в жизни городка периода его младенчества и детства, род наш с тех пор и обитал здесь, ни разу, насколько мне это известно, не уронив достоинства своего каким-либо бесчестьем, в котором уличили бы того или иного представителя нашего рода, но при этом редко, если не считать первых двух прародителей, совершали родичи мои что-либо значительное или памятное для сограждан. Мало-помалу становились они неприметными, как наполовину ушедшие в землю, погребенные под слоями почвы старинные дома на улице. Более ста лет передавали они от отца к сыну наследственную профессию морехода; в каждом поколении седовласый шкипер, уходя на покой, вместе с местом своим на баке вручал четырнадцатилетнему юнцу и право грудью встречать шторма, с которыми воевали его отец и дед. Юнец же, тоже в свой черед перейдя в капитанскую каюту и проведя годы зрелости в борьбе со стихиями, странствуя по морям, к старости возвращался домой, чтобы умереть там и смешать свой прах с родной землей. Эта длительная связь

семьи с местом рождения и смерти вызывает родственную близость человека с тем, что его окружает, близость, независимую ни от красот пейзажа или отсутствия таковых, ни от условий существования и морального климата вокруг.

Это не любовь, это инстинкт. Новоприбывший, сам ли переместившийся сюда из чужой страны, либо являющийся лишь сыном или внуком переселенца, не может претендовать на звание истинного салемца — ему чужда та устричная прилипчивость, с какой цепляется за эту землю поселенец, через которого уже третье столетие врастает сюда всеми корнями и могилами предков. И не важно, что место это, может, и не приносит ему радости, и может, надоели ему эти ветхие деревянные дома, эта грязь и пыль, эта унылая плоскость горизонта и всей жизни вокруг, леденящий восточный ветер и куда более леденящая общественная атмосфера — все это и другие недостатки и пороки не играют никакой роли. Волшебное притяжение этого места продолжает действовать и пленять, словно это земной рай.

Так это было и со мной. Я чувствовал, что мне самой судьбой предназначено сделать Салем моим домом, с тем чтобы черты и характер, при-

сущие этому месту испокон веков и навсегда, ибо как только ложился в могилу один, другой быстро и четко, как смена караула, брал на себя его задачу и шел с дозором по главной улице, — чтобы они и в отпущенный мне малый срок оставались видимыми и узнаваемыми. И однако же чувство подсказывает мне, что связь эту необходимо, наконец, оборвать. Природа человеческая, подобно картофелю, не станет обильно плодоносить, высаживаемая слишком долго, поколение за поколением, в одну и ту же оскудевшую почву. Мои дети родились в других местах и, насколько я могу судить, пустят корни в почву еще не освоенную.

Итак, я покинул Старую Усадьбу, но все та же странная, ленивая, безрадостная привязанность к родному городу заставила меня занять место в кирпичном здании Дяди Сэма, хотя с тем же или даже большим успехом я мог бы претендовать на что-нибудь другое и где угодно. Тяготевший надо мною рок подталкивал меня и управлял мною. Не раз и не два, а кажется, постоянно, стоило мне улизнуть, уехать — и я, подобно негодной монете, возвращался назад, точно Салему было предназначено стать для меня центром вселенной. И потому однажды ясным утром я с президентским

назначением в кармане поднялся по гранитным ступеням, чтобы быть представленным сообществу джентльменов, которым надлежало отныне оказывать мне содействие в моей тяжкой и ответственной работе главного инспектора таможни.

Весьма сомневаюсь, а вернее будет сказать, не имею ни малейшего сомнения, чтоб какому-нибудь должностному лицу в Соединенных Штатах, состоит ли оно на службе военной или гражданской, доставалось бы, как мне, заполучить под свое начало сообщество ветеранов возраста столь близкого к возрасту патриархов. С первого же взгляда понял я, где обитает старейший из американских граждан. В течение двадцати лет до описываемого периода независимое положение главного сборщика пошлин позволяло ему держать Салемскую таможню в стороне от водоворота политической борьбы, обычно делающей положение всякого чиновника шатким и неопределенным. Боец — и самый прославленный — боец Новой Англии, он твердо и несокрушимо высился на пьедестале боевых своих заслуг и, будучи сам в глазах сменявших друг друга мудрых либеральных правителей, которым он служил, незаменимым, являлся защитой и для своих подчиненных, оберегаемых им в часы опасностей и

потрясений. Генерал Миллер был совершенным консерватором, человеком, на добрый характер которого немалое влияние оказывали привычка и стойкое желание видеть вокруг себя знакомые лица и сопротивляться переменам, даже тем, что сулили несомненное улучшение. Таким образом, приступив к выполнению своих обязанностей, я обнаружил, что в подчинении моем оказались, за малым исключением, одни старики, которые, избороздив моря и мужественно выстояв противоборство всем ветрам и бурям, отдрейфовали в тихую гавань, где не тревожимые ничем, кроме периодических встрясок президентских выборов, получили возможность продлить свой жизненный срок.

Подверженные немощи и возрастным болезням не менее своих ровесников, они словно обрели некий талисман, способный удерживать смерть на расстоянии. Двое или трое из них, будучи, как меня заверили, ревматиками или подагриками, а может, и вообще с трудом вставшие с постели, большую часть года в таможню даже и носа не показывали, но когда в мае или июне начинало пригревать солнышко, они, прерывая свою спячку, выползали из берлог и с ленивой неспешностью принимались за то,

что почитали своим долгом, чтобы вскоре, почувствовав усталость или просто когда вздумается, опять забраться в постель.

Я должен повиниться в том, что сократил срок служебного существования нескольких из таких почтенных слуг республики. По моему заявлению им было разрешено отдохнуть от праведных трудов, после чего они вскоре отошли в иной, лучший мир, как будто жизнь в них поддерживалась одним лишь стремлением послужить отчизне, что, впрочем, вполне возможно. Правда, слабым утешением мне может послужить благочестивая мысль, что мое вмешательство подарило им больше времени для раскаяния в том зле и корыстолюбии, в которых, разумеется, не может не погрязнуть любой служащий таможни. Ни парадная, ни черная лестницы ее не ведут в рай.

Большинство подчиненных мне служащих были вигами. Большой удачей для братства их являлось то обстоятельство, что новый инспектор не был политиком и, имея стойкие демократические убеждения, не считал возможным примешивать политику к делам служебным. Сложись все иначе и заступи на важный пост главного инспектора таможни действующий политик, он бы непременно ополчился на главного

сборщика пошлин — и так как из-за немощей своих последний был не в силах самолично вершить дела и представлял собой легкую добычу, то не прошло бы и месяца после появления в дверях таможни нашего ангела мщения, как все старички-чиновники были бы изгнаны и прекратили служебное свое поприще. Согласно принятому в политике кодексу морали, рубить седые головы на гильотине есть всего лишь долг истинного политического деятеля. Совершенно ясно и очевидно, что подобной неучтивости старики, замирая от страха, ожидали и от меня. Было и больно и в то же время забавно наблюдать, каким ужасом в их жизни был окружен мой приход, как морщинистые щеки тех, кто в течение полувека выносил морские шторма, покрывались пепельной бледностью при одном взгляде на существо столь безобидное, как я; замечать, как, обращаясь ко мне, вдруг начинал дрожать голос, привыкший в рупор реветь команды так зычно и оглушительно, что реву этому позавидовал бы сам бог ветров Борей. Они знали, эти добропорядочные старцы, что по установленным правилам, да и по собственным воззрениям тех, кто понимал, что уже не может выполнять положенную работу, они должны уступить место

людям, придерживающимся более ортодоксальных политических взглядов и более пригодным поэтому служить общему нашему Дядюшке Сэму. Знал это и я, но не находил в себе сил применить это знание на практике. В результате, к прискорбию и стыду моему, а также в ущерб для моей деятельности все время, пока я работал на таможне, они ползали по причалам и, кряхтя, спускались и поднимались по ее лестнице. Много времени также отнимал у них сон — в привычных, облюбованных уголках таможни, в креслах у стены; сон, прерываемый лишь по нескольку раз на дню для того, чтоб обменяться в сотый раз набившими оскомину морскими байками или бородатыми анекдотами, шутками, давно уже превратившимися у них в пароли и отзывы.

Вскоре, однако, как я думаю, родилось понимание, что новый инспектор угрозы в себе не несет. И с облегчением, и со счастливым сознанием, что они на своем месте и продолжают исполнять работу, нужную по крайней мере им самим, если не их стране, эти добрые старые джентльмены вновь погрузились в круговорот мелочных забот и формальностей таможенной службы. С умным видом сквозь очки оглядывали они содержимое корабельных трюмов. Они поднимали шумиху

из-за пустяковых нарушений и в то же время чудесным образом и проявляя подчас немыслимую глупость, смотрели сквозь пальцы на нарушения действительно крупные и пропускали огромные партии неучтенного товара. Когда же подобная неприятность случалась, ничто не могло сравниться с той прытью и предусмотрительностью, с какой они принимались запирать на двойные замки, запечатывая еще для верности и клейкой лентой, все входы и выходы проштрафившегося корабля. В результате дело оборачивалось так, что вместо выговора за совершенную ранее оплошность они оказывались достойными похвалы и даже награды за усердие, проявленное в момент, когда изменить что-либо было уже невозможно.

К людям, коих нельзя счесть полностью и совершенно несносными, я по глупой моей привычке стараюсь относиться по-доброму. Лучшее, что есть в компанейском и общительном моем характере, если есть в нем это лучшее, состоит в склонности моей прежде всего замечать в людях их добрые черты и соответственно складывать и мнение о том или другом человеке.

Поскольку старожилы таможни не были лишены и определенных достоинств, в то время как я

занимал положение их отца и покровителя, что подогревает дружеские чувства, вскоре они стали мне нравиться. Как же отрадно было летним днем, когда палящий зной, словно намереваясь сжечь дотла весь род человеческий, мучил всех остальных, видеть, что моих стариков зной этот лишь слегка и приятно отогревает, приводя в действие механизмы их зябких тел. Отрадно было слушать их чириканье, их болтовню у задней двери, где они сидели рядком в своих креслах, как всегда у стены, а застылые шутки и остроты былых времен, тоже оттаивая, пузырились и сопровождаемые смехом слетали с их уст. Веселость стариков внешне напоминает веселье расшалившихся детей — как и у детей, в ней незаметно признаков ума или тонкого юмора, такое веселье скользит по поверхности, подобно световым бликам, равно способным расцветить своей игрой как зеленую ветвь, так и замшелый серый ствол. Но если в первом случае игру их рождает солнце, то во втором — это мертвенно фосфоресцирует гниющая древесина.

Было бы печальной несправедливостью заронить у читателей моих подозрение, что вышеописанные достойные джентльмены все сплошь были дряхлы и выжили из ума. Во-первых, среди

стариков там затесались и люди в расцвете сил и дарований, полные энергии и ума, совершенно не соответствующих тому жалкому и зависимому существованию, на которое обрекла их судьба. Более того, седая шевелюра некоторых моих подчиненных оказывалась кровлей здания, находящегося в хорошей сохранности. Но что касается большинства моих ветеранов, то я не погрешу против истины, если назову их скопищем унылых и безнадежных старых болванов, не сумевших вынести из опыта долгой и разнообразной своей жизни ничего достойного сохранения. Словно с каждой жатвы, плодами которой они столь часто имели случай насладиться, они ухитрялись, выбрасывая драгоценное золотое зерно мудрости, тщательно и заботливо собирать шелуху, набивая лишь ею одной закрома памяти. Не кораблекрушения сорока- или пятидесятилетней давности, не многообразие всех чудесных событий, свидетелями которых им случалось быть, оставили в них самые яркие воспоминания, нет: с гораздо бóльшим интересом и живостью вспоминали они утренний завтрак или предвкушали обед — сегодняшний или завтрашний!

Патриархом таможни, старейшиной не только нашего маленького отряда таможенных

служащих, но всего уважаемого сообщества надзирателей за всем, что приносят в американские порты воды прилива, являлся один несменяемый инспектор. Он мог по праву именоваться законным сыном и наследником нашей налоговой системы, вскормленным, а вернее, рожденным ею с серебряной ложкой во рту, так как папаша его, полковник революционных войск и бывший таможенный начальник в нашем порту, создал должность для своего сына и способствовал ему в получении этой должности во времена столь давние, что их не помнит уже никто из ныне живущих. Ко времени моего с ним знакомства инспектор был мужчиной лет восьмидесяти или около того и представлял собой удивительный образчик существа, не знающего, что такое увядание. Румяные щечки, ладная фигура, облаченная в щеголеватый синий форменный сюртук с надраенными до блеска пуговицами, бодрая энергичная походка — весь его облик, ясно говоривший о хорошем здоровье и добродушии, не столько молодили его, сколько превращали в некое новое произведение матушки-природы, подобное человеку, но неподвластное ни возрасту, ни болезням.

В его речи и смехе, то и дело эхом разносив-

шемся по всему зданию таможни, не было ни крупицы старческой немощи — дрожи, охриплости, шамкающей невнятицы, звуки вылетали из его груди громким кукареканьем, ясные, чистые, как пастуший рожок. Оценивая его с точки зрения физической, а по-другому оценивать его было бы бессмысленно, — надо признать его экземпляром в высшей степени и по всем статьям удовлетворительным: здоровье в полном порядке, организм функционирует нормально и в преклонном возрасте своем не утратил способности предаваться всем или почти всем радостям, каким предавался ранее или какие способен измыслить. Беззаботность пребывания на должности с хорошим доходом, колеблемая лишь редкими тревогами насчет возможной отставки, несомненно, способствовала тому, что время словно обходило его стороной. Но более существенной и значимой причиной являлось редкостное совершенство его животной конституции, на которую лишь самое незначительное влияние имели предметы порядка нравственного или духовного.

Впрочем, качествами духовными или нравственными он был наделен лишь в той степени, в какой они препятствуют хождению на четверень-

ках. Он не обладал ни глубиной интеллекта, ни силой чувств, ни способностью сопереживания — все это ему заменяло несколько немудреных инстинктов, которые вкупе с порожденными хорошим здоровьем, веселостью и добродушием отлично и ко всеобщему удовлетворению заменяли ему сердце. Он был трижды связан прочным, до самой смерти жены, браком и являлся отцом двадцати детей, большинство которых в младенчестве или же в последующие годы отошли в мир иной, что должно было бы несколько омрачить скорбью лучезарность его настроения. Но не таков был наш инспектор! Мимолетного вздоха оказывалось достаточно, чтоб унести груз печальных воспоминаний, и уже в следующую секунду инспектор был готов к безоглядной и безоблачной, истинно детской веселости, готов даже более, нежели самый молодой из его подчиненных, девятнадцатилетний клерк, казавшийся из них двоих и взрослее, и серьезнее.

Я пристрастился наблюдать за стариком и изучать сей персонаж, вызывавший во мне живейшее любопытство, большее, нежели кто-либо другой из представавших моему взору. Он и вправду был существом феноменальным: с одной стороны, совершенным, а со всех других — уди-

вительно плоским, эфемерным и неуловимым — словом, полным ничтожеством. Я пришел к заключению, что он не имел ни души, ни сердца, ни ума — ничего, кроме, как я уже говорил, инстинктов, но при этом все то немногое, что составляло его характер, было так плотно и ладно пригнано друг к другу, что не производило горестного впечатления некоей недостаточности, а по крайней мере у меня рождало полное удовлетворение тем, что я вижу в нем и наблюдаю. Может быть, трудно и даже чрезвычайно трудно представить себе такого земного и чувственного человека в загробной жизни, но если предположить, что жизнь его окончится с последним его вздохом, то следует признать, что жизнь была дарована ему с большой щедростью и не напрасно, потому что пользовался он ею так же щедро и со вкусом: моральной ответственности столько же, сколько у животных, а возможности наслаждаться не в пример шире и разнообразнее, и при этом такая же полная свобода от столь тягостных спутников старости, как тоска и горестные, омрачающие душу мысли и предчувствия.

В одном он был счастливее четвероногих своих собратьев и имел перед ними колоссальное преимущество — он обладал способностью помнить

все обеды, вкусом которых наслаждался когда-либо в жизни и что являлось для него одной из существеннейших жизненных радостей. Гурманство было весьма приятной его чертой, а от рассказов его, предположим, о ростбифе слюнки текли не меньше, чем от проглоченных пикулей или устрицы. Так как свойств более изысканных и высокодуховных он не имел и, направляя всю свою энергию и стремления на потребу желудку, не жертвовал никакими своими талантами и дарованиями, я всегда с большим удовольствием слушал его пространные рассуждения о рыбе, говядине и мясе домашней птицы, о лучших способах их приготовления и подачи к столу. Воспоминания его о вкусных и сытных пирушках, сохранившихся в его памяти детально, несмотря на даты, когда его угощали, казалось, подносят к самым твоим ноздрям вкуснейшее блюдо, и ты вдыхаешь аромат жареной свинины или индейки. Вкус съеденного когда-то он ощущал нёбом и шестьдесят, и семьдесят лет спустя, и ощущения эти были так же свежи и ярки, как память о бараньей отбивной, которой он лакомился за завтраком.

Я слушал, как он причмокивает, вспоминая о званых обедах, все участники которых, кроме

него, давно уже стали пищей для червей. Было настоящим чудом наблюдать, как перед взором его один за другим возникают призраки былых обедов — не гневные, не мстительные, а полные благодарности за то, что некогда он оценил их, и жаждущие воскресить бесконечный ряд наслаждений, одновременно чувственных и призрачных. Нежнейшее говяжье филе, телячий окорок, свиные ребрышки, какой-нибудь несравненный цыпленок или выдающаяся, выше всех похвал индейка — все, что украшало его трапезы, он хранил в своей памяти с адамовых времен, хранил трепетно и свято, в то время как все знаменательные для человеческого рода события, все происшествия, случавшиеся с ним лично и озарявшие или, наоборот, омрачавшие его жизненный путь, пронеслись над ним, как легкий ветерок, не оставив заметного следа. Самой большой трагедией его жизни, насколько я могу судить, была неудача с неким гусем, который при жизни своей, завершившейся двадцать или даже сорок лет назад, обещал очень многое, но, очутившись на блюде, проявил такую неумеренную жесткость и неуступчивость, что нож не оставлял на теле его даже следов, а разделывать упрямца пришлось с помощью топора и ручной пилы.

Пора, однако, заканчивать сию зарисовку, над которой, правда, я был бы рад потрудиться еще немного, ибо из всех знакомых мне людей этот индивид, как никто другой, подходил для роли таможенного чиновника.

В большинстве своем люди, находясь на такой службе, неизбежно претерпевают некую нравственную деградацию по причинам, касаться коих здесь было бы неуместно. Старый же инспектор подобной трансформации был совершенно не подвержен и прослужи он на таможне до конца времен, он и тогда полностью сохранил бы свое благодушие, а садясь за стол, поглощал бы еду с прежним аппетитом.

Есть и еще один персонаж, без чьего портрета моя галерея обитателей таможни страдала бы неполнотой, но обрисовать которого я могу лишь в общих чертах, так как наблюдать модель мне случалось относительно редко. Модель эта — главный сборщик, наш храбрый старый генерал, который по завершении блистательной военной карьеры и последовавшего затем периода правления одной из диких западных территорий прибыл лет двадцать назад к нам сюда, чтобы провести здесь закат своей богатой событиями славной жизни. Лет храброму воину

насчитывалось уже дважды по тридцать и еще десяток, если не больше, и он завершал свой так браво начатый поход, ковыляя под грузом многочисленных недугов, грузом, облегчить который не могла для него даже бодрая маршевая музыка воспоминаний. Он, некогда первым бросавшийся в атаку, сейчас брел, спотыкаясь и через силу. Подняться по ступеням таможни он мог лишь с помощью слуги и тяжело опираясь на железные перила, а поднявшись, мучительно медленно преодолевал расстояние до привычного своего кресла у камина. Там он обычно и сидел, невозмутимо глядя туманным взором на мельтешение вокруг входящих и выходящих, слушая шуршанье бумаг, препирательства чиновников, деловые распоряжения и болтовню. Весь этот шум, казалось, достигал его сознания не вполне и вряд ли проникал в его глубины. Лицо его в эти минуты отдохновения оставалось спокойным и выражало благожелательность и смирение. Если к нему обращались, черты его озарялись отблеском некоего вежливого интереса — в доказательство того, что внутри его все же горит еще какой-то свет и только некая внешняя преграда мешает этим тихим лучам пробиться наружу. Чем ближе вы подходили к нему, чем

внимательнее вглядывались в движение его души, тем более здравым казался вам его рассудок. Когда ему не требовалось говорить или слушать — и то и другое, по-видимому, стоило ему некоторых усилий, лицо его мгновенно возвращалось к исходному выражению непоколебимого покоя. Вид этого человека не вызывал грусти, ибо взгляд его, каким бы туманным он ни был, не говорил о старческом слабоумии. Костяк его характера, когда-то крепкий и твердый, еще не разрушился до основания.

Однако наблюдать и описать его характер, учитывая названные нами препятствия, было бы не легче, чем вообразить себе и потом воссоздать заново старую крепость, подобную Тикондероге, сохранившейся лишь в седых руинах. Где-то вдруг натыкаешься на кусок стены, почти цельный, другой — такой же, но в целом это только груда камней, за долгие годы поросших травой и сорняками.

Тем не менее при взгляде на старого вояку с любовью, ибо, как ни мало мне удалось с ним пообщаться, чувство мое к нему, как и чувства всех других — двуногих и четвероногих — его знавших, по праву можно именовать этим словом, я увидел в нем основное. В нем проглядывали

такие качества, как благородство и героизм, свидетельствующие, что не случайно, а по праву имя его пользуется известностью и окружено почетом. Характер его, как я думаю, не отличался чрезмерной экспансивностью. В любой период его жизни ему требовался внешний толчок, чтоб начать действовать, но, встряхнувшись и придя в движение, а к тому же и хорошо различая достижимую цель, он уже не знал удержу, и никакое препятствие не могло его остановить — он был из тех, кто не сдается и не терпит поражений. Пыл, которым некогда он был проникнут и еще не полностью в нем угасший, никогда не вспыхивал ярко, не разгорался в ослепительное пламя, скорее он мерцал ровным свечением раскаленного в горне железа. Основательность, прочность, твердость — вот что чувствовалось в нем и его покое, чувствовалось вопреки дряхлости, так незаметно и безвременно подкравшейся к нему в период, о котором я говорю. Но я легко мог себе представить, как под влиянием проникшего в самую его глубь и потрясшего его импульса он может, собрав дремлющие в нем, но не угасшие силы и, поднявшись, как по зову трубы, достаточно громкому, чтоб мог он его услышать, сбросить с себя, как халат с больного, все свои недуги,

отшвырнуть палку, и, схватив свой меч, вновь превратиться в воина. Но и в этот решающий момент он не утратит хладнокровия.

Вот какая картина представляется мне в воображении, но не в мечтах и вовсе не как предвидение. В этом человеке, как и в несокрушимых крепостных валах старой Тикондероги — если уж использовать выбранный нами образ, — мне всегда виделись черты непреклонного, стойкого и несколько тяжеловесного упорства, ранее, в молодые его годы, возможно, граничившего с упрямством; цельность и твердость, которые, как и прочие его достоинства, надо было разглядеть, добыть, как добывают железо из тяжелых и неповоротливых глыб руды, а еще была в нем доброжелательность, и я готов отстаивать это так же яростно, как вел он штыковые атаки на реке Чиппева или у форта Эри, — печать доброжелательности, которой он был отмечен, была высшей пробы — доброжелательности самой искренней, искреннее, быть может, чем у всех филантропов, вместе взятых. Он собственными руками убивал людей, и под ударами, вдохновленными бешеной его энергией, они падали, должно быть, как падает трава под серпом жнеца, и, однако, жестокости в нем не хватило бы даже

на то, чтоб сдуть пыльцу с крыла бабочки. Нет человека, к глубокой природной доброте которого я испытывал бы большее доверие.

Многие качества, в том числе и очень значимые для придания портрету его точного сходства с оригиналом, должно быть, исчезли или же стерлись в генерале еще до времени моего с ним знакомства. Ведь все красивое и изящное в человеке, как правило, особенно преходяще, а природа не склонна украшать человеческие руины цветами вновь расцветшей красоты, как сделала это с вьющимися растениями, которые оплели остатки крепостных стен Тикондероги, найдя пропитание своим корням в расселинах и щелях. Но в старом генерале сохранились даже следы былой красоты и изящества. Иногда, как светлый луч сквозь преграждающую ему путь туманную завесу, к нам пробивался его юмор, и лица наши озаряла какая-нибудь отпущенная им шутка. А еще проявлялось в нем тонкое чувство красоты — черта, редко встречающаяся в мужчине, чей возраст преодолел рубеж детства и ранней юности: генерал любил цветы — их вид и источаемые ароматы, притом что от старого вояки скорее ждешь пристрастия к одним лишь запятнанным кровью лавровым венкам из тех,

какими венчают голову победителя. Но вот нам встретился воин, любивший и ценивший, подобно юной деве, прелесть цветочного племени.

Так и сидел он, бравый старый генерал у камина, а главный инспектор, по возможности старавшийся не обременять себя трудной задачей втянуть его в разговор, довольствовался тем, что стоял в некотором отдалении, наблюдая его спокойное и слегка сонное лицо. Казалось, он далеко от нас, хотя был он совсем рядом, всего в нескольких шагах, отстраненный, хотя мы, снуя туда-сюда, чуть ли не задевали его кресло; недосягаемый, хотя протяни руку — и ты коснешься его руки. Наверное, мысли его являлись для него большей реальностью, чем вся эта такая неподходящая обстановка кабинета главного сборщика. Наверное, перед его внутренним взором проносились сцены парадов, отчаянные схватки и сумятица битв, он слушал звуки старых полковых маршей, героическую тридцатилетней давности музыку былого. А между тем рядом входили и выходили люди — купцы и корабелы, бойкие, ловкие клерки и неотесанные матросы, кипела и жужжала коммерческая и таможенная суета, но ни к ней, ни ко всем этим людям генерал словно не имел никакого отношения. Он выглядел таким

же неуместным здесь, как выглядела бы старая сабля — ныне заржавевшая, а когда-то грозно сверкавшая в первых рядах сражающихся — на столе какого-нибудь младшего сборщика, где, валяясь среди чернильниц, скоросшивателей и линеек из красного дерева, она вдруг нечаянно блеснула бы своим острием.

Одна деталь немало помогла мне в воссоздании образа стойкого защитника Ниагарского фронтира, человека неброского, но истинного мужества, — памятные слова, которые он произнес, бросаясь в отчаянную и героическую атаку: «Я попытаюсь, сэр!» Он сказал слова, впитавшие в себя душу Новой Англии, отчаянную стойкость, четкое понимание всех опасностей и решимость противостоять им. Если бы в нашей стране принято было отмечать храбрость геральдическими почестями, то эта фраза, простая, но такая, которую мог произнести только он, решившийся выполнить задачу столь опасную и столь славную, могла бы достойнее всех прочих девизов украсить собой герб генерала.

Для сохранения умственного и нравственного здоровья весьма полезно бывает постоянное общение с людьми на тебя совершенно не похожими, с теми, кому чужды все твои стремления и

чьи способности и интересы ты можешь оценить лишь отрешившись от себя. Не раз жизненные передряги дарили меня преимуществом такого опыта, но лишь в период моей службы на таможне я мог насладиться им в полной мере и в разнообразных его формах. Среди прочих мне особо запомнился там человек, наблюдения за которым заставили меня изменить представление о том, что такое талант. Все его дарования были подчеркнуто дарованиями бизнесмена — он обладал умом четким и цепким, ясностью мышления, позволявшей ему проникать в самую сердцевину запутанных проблем и делать так, что вся путаница, как по мановению волшебной палочки, исчезала. Он вырос на таможне, где служил с самых ранних лет, дело это было ему знакомо во всех тонкостях и то, что ставило в тупик и совершенно сбивало с толку новичка, ему представлялось абсолютно понятной и хорошо отлаженной системой. По существу, он сам и был таможней или же, во всяком случае, главной ее пружиной, поддерживавшей вращение всех колесиков механизма, ибо в учреждениях такого рода, куда служащие назначаются главным образом для собственной пользы и выгоды и редко когда для пользы дела и учитывая пригодность

их для данного рода службы, сотрудники волей-неволей вынуждены обращаться за помощью к тому, кто обладает качествами, которых они лишены.

И с неизбежностью магнита, притягивающего к себе железные опилки, наш герой притягивал и забирал себе все трудности, с которыми сталкивались остальные. С какой же милой и терпеливой снисходительностью к нашей тупости, которая ему с его складом ума должна была видеться едва ли не преступной, и с каким добродушием он одним щелчком, одним касанием пальца делал ясным как день то, что секунду назад выглядело непостижимой абракадаброй! Торговцы и коммерсанты ценили его не меньше, чем это делали мы, его сослуживцы. Он был неподкупен и чист как стеклышко. Честность была скорее его природным свойством, чем выбранной из принципа стратегией поведения. Да и не мог человек, наделенный столь ясным и четким умом, исполнять свои обязанности иначе, чем аккуратнейшим и честнейшим образом. Пятно на совести, насколько это имело бы отношение к его деятельности, встревожило и огорчило бы его так же, только в значительно большей степени, как встревожила бы и огорчила ошибка в балансе или чернильное

пятно на чистом листе в книге счетов.

Это был редчайший в моей жизни случай, когда я видел человека, находящегося полностью и безусловно на своем месте.

Таковы были люди, с которыми связала меня судьба. Полагаю, именно она бросила меня в сферу совершенно чуждую прежним моим привычкам и заставила честно и усердно извлекать из этого всю возможную пользу. После моего пребывания среди трудов и несбыточных прожектов мечтателей Брукфарм [4]; после трех лет, которые я провел под воздействием такого интеллектуала, как Эмерсон; после вольной жизни на реке Ассабет и сидения у потрескивавшего сухими сучьями костра с Эллери Чаннингом[5], когда наши с ним мысли улетали далеко-далеко, принимая самые фантастические очертания; после бесед о соснах и индейских древностях с Торо в его Уолденском

---

[4] Примечания: 4

Брукфарм — община (1840–1847) кружка философов-трансценденталистов, желавших переустройства общественной системы на началах братской любви и взаимопомощи. В идеях своих члены общины опирались на утопический социализм Фурье.

[5] Примечания: 5

Чаннинг, Уильям Эллери (1780–1842) — один из деятелей унитарианской церкви США, ставившей своей задачей реформировать традиционный пуританизм. Друг Готорна.

уединении [6]; после того как я воспитал свой вкус под влиянием Хилларда с его культурными изысками [7] и переполнялся поэтическими чувствами, вдыхая дым камелька Лонгфелло, для меня настало, наконец, время поупражнять другую сторону моей натуры и перейти на пищу, дотоле не вызывавшую у меня особого аппетита. Для человека, знакомого с Олкоттом [8], годился даже и старый инспектор — в качестве нового, разнообразившего диету блюда. Если человек, помнящий общение с такими собеседниками, может легко и безболезненно войти в круг людей совершенно иного склада и никогда не роптать на произошедшую перемену, то в какой-то мере это можно считать доказательством исконной цельности его натуры, гармоничности разнообразных ее качеств и свойств.

---

[6] Примечания: 6

Уолден — место на берегу пруда в Конкорде, где классик американской литературы Генри Дэвид Торо (1817–1862) пытался жить естественной жизнью вдали от цивилизации. Опыт этой жизни он описал в знаменитой книге «Уолден, или Жизнь в лесу».

[7] Примечания: 7

Хиллард, Джордж Стилмен (1808–1879) — американский литератор, критик и политический деятель. Занимался и изданием журналов.

[8] Примечания: 8

Олкотт, Амос Бронсон (1799–1888) — известный американский педагог, выдвигавший прогрессивные идеи воспитания молодежи. Был близок Эмерсону и кружку трансценденталистов.

Литература, ее задачи, цели и все связанные с этим устремления на какое-то время перестали меня занимать. Книгами в тот период я не увлекался — они оставляли меня равнодушным. Природа, если только это была не природа человека, а та, что является нашему взору на земле или на небе, была тогда словно скрыта, спрятана от меня вместе с тем высшим наслаждением, которое она обычно нам дарит, — я словно забыл о нем. Талант, творческие способности, если не ушли совсем, то как бы замерли во мне и молчали. И все это было бы крайне печально и непостижимо, томительно скучно, если бы не сознание, что в моей власти вернуть все то ценное, что было в прошлом. Надо, однако, признать, что, поживи я новой моей жизнью подольше, и я мог бы за это поплатиться, изменившись так, как жизни угодно было бы меня изменить. Но я не собирался делать эту новую жизнь для себя постоянной, всегда считая ее неким временным промежутком. Какой-то пророческий внутренний голос постоянно нашептывал мне, что очень скоро, едва назреет необходимость в новой перемене, она произойдет и образ жизни мой изменится.

А пока я был главным инспектором таможенных сборов и, насколько могу судить, с долж-

ностью своей справлялся как следует. Человек, наделенный мыслительными способностями, фантазией и чувствами, даже в десятикратном размере по сравнению с тем, что имеет инспектор, всегда может стать деловым человеком, стоит лишь захотеть. Мои коллеги, а также торговцы и капитаны судов, в общение с которыми я вступал по долгу службы, только в этом качестве меня и рассматривали, по-видимому, понятия не имея о другой стороне моей личности. Подозреваю, что никто из них не прочел и страницы моих сочинений, а если бы даже прочел их все, то это ничуть не поколебало бы их отношения — ни на дюйм не вырос бы я в их глазах; да и будь написанное мною сочинено Бернсом или Чосером — оба они в свое время тоже отдали дань таможенной и налоговой службе, — даже это ничего бы не изменило. Хороший, хотя, может быть, и жестокий урок для человека, мечтающего о литературной славе, о том, чтоб с помощью литературных трудов своих занять достойное место среди людей, пользующихся почетом, вдруг выпасть из тесного круга тех, кому уже известно его имя, круга, где он завоевал признание, и понять, насколько ничтожно все, что он делает и чего достиг, и как мало значит он со всеми своими устремлениями

вне тесного своего круга. Не то чтобы я так уж нуждался в подобном уроке в качестве укоризны или предостережения, во всяком случае, усвоил этот урок я вполне, но мне приятно сознавать, что, открыв для себя эту истину, я не испытывал горестных сожалений и не пытался со вздохом отринуть ее. Что же касается литературных бесед, то для них был там один морской офицер, отличный, надо сказать, парень, поступивший на таможенную службу одновременно со мной, а оставивший ее чуть позже; он любил втянуть меня в обсуждение одной из двух излюбленных его тем — Наполеон и Шекспир.

Всегда под боком находился еще и мелкий клерк — молодой джентльмен, о котором поговаривали, что ему случалось заполнять листы гербовой бумаги Дяди Сэма чем-то, что на расстоянии в несколько ярдов было похоже на стихи. Юноша этот время от времени затевал со мной разговоры о книгах, полагая, видимо, что предмет этот я, возможно, сочту достойным обсуждения. Других высокоученых бесед я не вел и в большем нужды не испытывал.

Не заботясь более, чтобы имя мое, значась на книжных титулах, разносилось по всему миру, я с улыбкой относился к тому, что становилось оно

известно иным образом: наш таможенный штамповщик, заполняя черной краской трафарет, оттискивал его на мешках с перцем, на корзинах с плодами аннато, на ящиках сигар и на тюках со всевозможными товарами в знак того, что положенный сбор уплачен и товар прошел таможенную проверку. Несомая столь причудливой колесницей славы, весть обо мне проникала туда, где имени моего и слыхом не слыхивали раньше и где, надо надеяться, не услышат и потом.

Но прошлое не умерло. Изредка мысли, ранее казавшиеся столь важными и своевременными, а теперь мирно спавшие где-то под спудом, оживали и поднимали голову. Одним из самых знаменательных случаев, когда привычки прежних дней вновь пробудились во мне, был тот, что заставил меня, как приличествует порядочному литератору, предложить вниманию публики очерк, который я сейчас пишу.

На втором этаже таможенного здания есть обширная зала, кирпичные стены и голые балки которой так и не узнали штукатурки и деревянной обшивки. Ведь таможня эта проектировалась и сооружалась с размахом, в соответствии с тогдашней оживленной деятельностью порта и с расчетом на дальнейшее процветание, чего не

случилось, почему и осталось в здании таможни множество пустых помещений, которые обитатели не знали, как приспособить к делу. Пустая зала, расположенная над комнатами главного сборщика, остается неотделанной и, несмотря на клочья паутины, свисающие с потемневших балок, кажется, еще не утратила надежду, что к ней приложит руку трудолюбивый плотник или каменщик. У дальней стены залы в нише громоздятся сваленные как попало бочки с кипами документов. Подобным же мусором усыпан пол. Грустно думать, сколько дней, недель и месяцев было потрачено впустую на составление этих бумаг, плесневеющих теперь никому не нужными в этом забытом богом углу и лишь умножающих груз мусора, скопившегося на нашей планете. Но разве не канули в забвение и кипы других рукописных страниц, заполненные уже не скучными выкладками официальных расчетов и квитанций, а произведениями животворящего ума, глубокими и искренними сердечными излияниями? Более того, оказавшиеся ненужными, невостребованными даже в свое время, они — и это самое горькое! — не смогли обеспечить писавшим их достойное и безбедное существование, каким наслаждались таможенные клерки,

нацарапавшие всю эту жалкую, не имеющую ценности дребедень.

Но все-таки кое-какую ценность бумаги эти, возможно, имеют — как материал для изучающих местную историю. Здесь они могли бы почерпнуть статистические сведения о торговле, некогда процветавшей в Салеме, документальные свидетельства о жизни крупнейших ее представителей — старого Кинга Дерби, старины Билли Грея, старины Саймона Форрестера, множества других магнатов, чьи пудреные головы еще не упокоились в могилах, когда начали таять накопленные этими людьми горы золота. Здесь можно проследить истоки величия большинства семейств, ныне составляющих аристократию Салема. Узнать, как темные и часто сомнительные сделки мелких коммерсантов, предпринятые значительно позже Революции[9], легли в основу того, что потомки их почитают давним и безупречно прочным фамильным достоянием.

Документы дореволюционные здесь редки, возможно, по той причине, что архивы таможни были вывезены отсюда, когда королевские чиновники вместе с британской армией бежали из

---

[9] Примечания: 9
Имеется в виду Война за независимость (1775–1783).

Бостона в Галифакс[10]. Я часто сожалел об этом, ибо подобные свидетельства, относившиеся, возможно, ко времени Протектората, должны были исходить от людей, как сохраненных историей, так и забытых, и о старинных обычаях, знакомство с которыми доставило бы мне удовольствие не меньшее, чем наконечники индейских стрел, которые я находил на поле возле Старой Усадьбы.

Но однажды в дождливый день, когда я лениво копался среди старых документов, мне посчастливилось отыскать нечто небезынтересное. Разбирая кучи хлама в углу, расправляя и разворачивая одну бумагу за другой, читая названия судов, давно покоившихся на дне морском или сгнивших на заброшенных верфях, и имена купцов, давно уже не звучавшие на бирже, стертые и неразборчивые даже на замшелых могильных плитах, скользя по ним усталым, грустным и несколько брезгливым взглядом, как мы это делаем, глядя на неподвижный труп некогда деятельного человека, когда я подстегивал обленившуюся за ненадобностью мою фантазию и понуждал ее по этим высохшим останкам воссо-

[10] Примечания: 10

Потерпевшие поражение в ходе Войны за независимость британские войска бежали в Галифакс 17 марта 1776 г.

здать картину города в период более радостный и яркий, в частности и потому, что путь в Индию был для нас еще внове, а только из Салема и можно было туда добраться, рука моя вдруг нащупала маленький пакет, аккуратно обернутый куском пожелтевшего пергамента. Обертка походила на официальный документ, относящийся к древним временам, когда чиновники исписывали своим четким каллиграфическим почерком листы, сделанные из материала куда более прочного, нежели современная бумага. Что-то в этой обертке вызвало мое инстинктивное любопытство, отчего я поспешил развязать скрепляющую пакет ветхую красную тесемочку с таким чувством, будто ожидал явить оттуда миру некое сокровище.

Разгладив покоробившийся пергамент, я обнаружил, что это распоряжение, собственноручно написанное губернатором Шерли и с его печатью, о назначении некоего Джонатана Пью главным инспектором таможни его величества в порту Салема залива Массачусетс. Я вспомнил, что мне попалось (кажется, в фелтовских анналах восьмидесятилетней давности) сообщение о кончине таможенного инспектора Пью, а в газете уже недавнего времени я встретил заметку, где рассказывалось о вскрытии могилы

инспектора и его гроба на маленьком погосте церкви Святого Петра в связи с реконструкцией церкви. Насколько мне помнится, от уважаемого моего предшественника не осталось ничего, кроме находящегося в очень плохом состоянии скелета, клочков одежды и роскошного завитого парика, прекрасно сохранившегося в отличие от головы, которую он некогда украшал. Но, изучая находившиеся внутри пергаментной обертки бумаги, я обнаружил больше следов мыслительной деятельности мистера Пью и работы его ума, чем сохранил завитой его парик на почтенном черепе покойного.

В целом бумаги эти носили частный характер, по крайней мере написаны они были лицом частным и собственной рукой. Объяснить появление их в куче таможенного хлама я могу лишь тем, что кончина мистера Пью, видимо, произошла неожиданно и эти бумаги, которые он мог хранить в ящике стола на работе, не попали в руки наследников или же были сочтены ими таможенными документами. При перемещении архива в Галифакс эти документы, как не имеющие общественной и деловой значимости, были оставлены, и с тех пор никто их не касался.

Покойный главный инспектор, которому, по-

лагаю, в те далекие времена не слишком плотно приходилось заполнять свой день трудами, видимо, имел склонность посвящать часть обширного своего досуга изысканиям в области истории города и прочим исследованиям такого рода. Это давало некоторую пищу уму, который, не будь этой подпитки, мог заржаветь и покрыться плесенью. Кое-что из описанных там фактов помогло мне, когда я готовил материал для включения в данный том очерка «Главная улица»[11]. Другие факты я, возможно, использую позже для целей столь же достойных или же когда примусь за написание большой истории Салема, если искреннее почтение, которое я питаю к родной моей земле, когда-нибудь подвигнет меня на этот труд. Пока же они могут быть представлены любому достаточно компетентному джентльмену, который захочет заменить меня в этом кропотливом и неблагодарном деле. В дальнейшем я планирую передать эти материалы Эссекскому историческому обществу.

Но более всего другого в таинственном сем пакете внимание мое привлек кусочек красной материи, старой и выцветшей, но хорошего ка-

---

[11] Примечания: 11

Замысел включить указанный очерк в эту книгу остался неосуществленным.

чества. На ней можно было различить следы выполненной золотом вышивки, потертой столь сильно, что золотые нити почти утратили блеск. И однако было видно, что вышивала это великая мастерица, потому что каждый стежок (в чем заверили меня дамы, сведущие в такого рода делах) здесь свидетельствовал о владении искусством, ныне полностью забытым, искусством, загадку которого невозможно было бы разгадать, даже распусти мы по ниточке всю вышивку. Эта алая тряпица — ибо время, износ и святотатственно равнодушная к красоте моль превратили клочок материи не иначе как в тряпку — по внимательном рассмотрении обретала форму заглавной буквы «А». Тщательное измерение показывало точные размеры составлявших букву палочек — по три с четвертью дюйма каждая. Задумана буква эта была как украшение на платье — сомнений тут быть не могло, но когда и в каких случаях ее следовало прикреплять и какое отличие или звание, некогда бывшее в ходу, она обозначала, оставалось загадкой, которую (учитывая скорость, с какою меняется мода на подобные украшения) я почти не имел надежды разрешить.

И однако загадка эта странным образом заин-

триговала меня. Алая тряпица в форме буквы «А» притягивала взгляд и не отпускала. Несомненно, в ней таился глубокий смысл, достойный понимания, смысл, с какой-то мистической силой и настойчивостью пытающийся стать внятным моим чувствам и донести до них нечто неуловимое, непостижимое умом.

Совершенно сбитый с толку, я хватался то за одну гипотезу, то за другую, и, заподозрив, в частности, что украшение это может принадлежать к числу тех хитрых приманок, которыми белые люди соблазняли индейцев, я как-то раз приложил эту букву к груди; читатель вправе тут усмехнуться, но прошу его поверить правдивости моих слов — я ощутил — не совсем физически, но совершенно отчетливо — сильное жжение, словно буква была не куском красной материи, а куском раскаленного железа. Я вздрогнул и невольно уронил тряпицу на пол.

Занятый созерцанием алой буквы, я не сразу обратил внимание на грязный бумажный сверточек, который обматывала материя. Развернув его, я, к большому моему удовольствию, обнаружил там написанную рукой старого инспектора и достаточно полную историю матерчатой буквы. На нескольких разрозненных листках излагались

в подробностях жизнь и духовное прозрение некоей Эстер Принн, бывшей в глазах наших предков фигурой весьма примечательной. Зрелость ее пришлась на период между первыми годами колонии Массачусетс и концом семнадцатого века. Старики, дожившие до времени мистера таможенного инспектора Пью, на чьи устные свидетельства он опирался, помнили ее с молодых своих лет уже очень старой, но не дряхлой женщиной, осанистой и очень серьезной. Сколько они себя помнили, она вечно сновала по округе, предлагая свои услуги в качестве добровольной сиделки, творя добро всеми доступными ей способами и полностью отдавая этому силы, в том числе выступая и как советчица в разного рода делах, в особенности делах сердечных. Как и бывает всегда в отношении людей, имеющих подобные склонности, одни благоговели перед ней, считая чуть ли не ангелом, другие же, догадываюсь, ворчали, что она лезет, куда ее не просят, и навязывает себя людям. Углубившись в эти рукописные заметки, я обнаружил там дальнейшие факты и подробности полной страданий жизни этой необыкновенной женщины, узнать которые читатель сможет из повести «Алая буква», помня, что все, в ней изложенное,

подкреплено подлинными документальными свидетельствами инспектора Пью. Листки его рукописи, как и сама алая буква, эта любопытнейшая реликвия, до сих пор хранятся у меня, и с ними может легко ознакомиться всякий, кого заинтересует эта история и кто пожелает своими глазами увидеть связанные с нею предметы. Это не значит, будто я утверждаю, что в моем повествовании, изображая страсти персонажей, живописуя мотивы и внутренние побуждения их поступков, я ограничивал свою фантазию, заставляя ее не вырываться за пределы, указанные бывшим инспектором и очертившие содержание его разрозненных заметок. Напротив, я позволил себе обращаться с фактами так, словно они целиком и полностью моя выдумка. Единственное, что я готов отстаивать, — это достоверность общих контуров этой истории.

Этот случай вернул меня в некотором смысле на круги своя. Передо мной были наметки повести. И мне казалось, что в заброшенном помещении таможни я вижу старого инспектора, что он не истлел в могиле, а, одетый по моде столетней давности и в вечном своем парике, пришел, чтобы встретиться со мной. Держится он с достоинством, вполне объяснимым и про-

стительным для человека, получившего свою должность распоряжением самого короля и потому озаренного лучами, хранящими отблеск того ослепительного сияния, которое исходит от королевского трона. Увы, как это непохоже на повадку чиновника республики, который в качестве слуги народа чувствует себя самым малым из малых и самым ничтожным из ничтожных своих хозяев! Призрачной рукой своей эта величественная, хоть и несколько расплывчатая фигура вручила мне алую букву вместе с маленькой трубочкой пояснительных листков. Призрачным, загробным голосом он призвал меня к почтительному выполнению моего сыновнего долга по отношению к нему, человеку, по праву считающему себя моим таинственным праотцем, — донести его изъеденные молью и заплесневелые литературные наброски до читающей публики. «Сделай это! — говорит призрак мистера инспектора Пью и с чувством кивает мне столь величественной в нетленном своем парике головой: — Сделай это, и вся прибыль пойдет тебе! Тебе она вскоре понадобится, ибо в твое время в отличие от моего должности перестали быть пожизненными, а тем более наследственными. Но я жду от тебя, чтобы, рассказывая историю матушки Принн, ты отдал

должное и своему предшественнику, вспомнив его добрым словом!» И я ответил призраку инспектора Пью согласием.

Итак, я много думал и размышлял об Эстер Принн. Я посвятил этому много часов, шагая взад-вперед по комнате, или сотни раз меряя расстояние от парадного входа в таможню до ее бокового входа, и шаги мои по длинному коридору гулко раздавались в его стенах. Велики, надо думать, были досада и раздражение старого инспектора и всех весовщиков и приемщиков, в чью дремоту так жестко и немилосердно врывался этот нескончаемый топот — мои шаги то туда, то обратно.

Улетая памятью к прежним своим обычаям, они говорили, что инспектор, видимо, обходит шканцы. Наверное, они воображали, что единственной целью таких моих прогулок — а и вправду, что еще может заставить человека в здравом уме вдруг по собственной воле нарушить неподвижность тела? — является предобеденный моцион. И надо признаться, что аппетит, к тому же еще и подстегиваемый восточным ветром, который обычно продувал коридор сквозняком, бывал единственным ощутимым результатом этой моей неуемной живости. Атмосфера та-

можни так мало приспособлена к тому, чтоб взращивать нежные ростки фантазии и чувствительности, что, оставайся я в моей должности на срок, равный еще десяти президентским срокам, и повести об алой букве читателю никогда бы не увидеть. Воображение мое уподобилось мутному зеркалу, не отражавшему или отражавшему весьма туманно фигуры, которые я старался в нем представить. В горниле моего разума не было того жара, который один способен согреть и придать пластичность создаваемым характерам. Я не умел вдохнуть в них ни огонь страсти, ни теплоту чувств. Окоченевшими трупами взирали они на меня с отвратительной, полной презрения и вызова ухмылкой. «Ну и что ты теперь будешь с нами делать? — как бы спрашивали они. — Та небольшая власть над племенем воображаемых сущностей, которой ты некогда обладал, тобой утрачена! Ты променял ее на жалкие крупицы золота, которыми наделяет тебя общество. Так иди, отрабатывай подачку!» Короче, эти вялые и безжизненные плоды собственной моей фантазии потешались надо мной, смеялись над моей глупостью, на что имели все основания.

В таком несчастном состоянии оцепенелости я пребывал не только в течение тех трех с по-

ловиной часов, которые каждодневно вырывал из моей жизни в качестве законной своей доли Дядя Сэм. Оцепенелость эта не оставляла меня и во время моих прогулок по побережью, вылазок на природу, которые я предпринимал редко и неохотно, но при моей вере в живительную силу природы ранее всегда стоило мне выйти за порог Старой Усадьбы, как природа обновляла меня и придавала свежесть моим мыслям. Все та же препятствующая всем моим интеллектуальным поползновениям оцепенелость сопровождала меня домой и наваливалась на меня всей своей тяжестью в комнате, которую я абсурдно продолжал называть кабинетом. Не расставалась она со мной и глубокой ночью, когда, сидя в пустой гостиной, освещенной лишь светом луны и мерцанием углей в камине, я пытался вообразить себе такие картины, чтобы завтра, свободно лиясь с моего пера, они расцветили бумагу живописным богатством оттенков.

Если сила воображения отказывает и в этот час, значит, дело совсем уж плохо и случай следует признать безнадежным. Ведь лунный свет в знакомой комнате, когда белые отблески падают на ковер, так ясно очерчивая все детали узора, когда каждый предмет в комнате виден отчет-

ливо, но все же по-другому, не как при утреннем или дневном свете, — это лучший помощник сочинителю в знакомстве с призрачными его гостями. Вся привычная обстановка квартиры — стулья, каждый из которых обладает собственным норовом, стол в центре комнаты с рабочей корзинкой, одна-две книги, потушенная лампа, диван, книжный шкаф, картина на стене — все это, видимое так ясно и в то же время одухотворенное необычным освещением, словно теряет свою материальность и становится иллюзорным, созданным воображением.

Каждая мелочь подвергается изменению, преображается и тем самым обретает новое достоинство. Детский башмачок, кукла в плетеной колясочке, деревянная лошадка — все, чем пользовались и с чем играли днем, теперь кажется странным, увиденным словно издалека, хотя столь же несомненным, как и при дневном свете. Таким образом, пол в хорошо знакомой нам комнате превращается как бы в нейтральную полосу, территорию, где мир реальный граничит со сказкой, где Действительность и Воображение могут, встретившись и обменявшись дарами, проникнуться друг другом. Сюда могут являться призраки, и пугаться их мы не будем. Обстановка

так подходит видениям, что если, оглядевшись, мы вдруг заметим сидящий в кресле и освещенный луной любимый образ человека, давно исчезнувшего, мы не удивимся, а только задумаемся над тем, действительно ли он вернулся издалека или так и сидел здесь всегда у камина.

Тусклое мерцание углей в камине тоже производит воздействие, которое я постараюсь описать. Оно придает воздуху в комнате легкий тепловатый оттенок, окрашивая розовым стены и потолок, поблескивая искрами на поверхности мебели. Теплый свет мешается с холодной одухотворенностью лунных лучей и придает человеческую сердечность и нежную чувствительность созданиям фантазии. Из снежно-холодных чучел они превращаются в живых мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы замечаем в зачарованной его глубине отблеск догорающих углей, отражения лунных лучей на полу, и повторенная зеркалом со всем ее сиянием и мраком картина кажется еще менее реальной и более иллюзорной. И если сидящий в этот час в одиночестве человек, которому предстает эта картина, не в силах предаться самым необузданным и странным мечтам и сделать их подобием правды, значит, браться за перо ему нечего даже и пытаться.

Что же до меня, то на протяжении всей моей таможенной жизни лунный свет и жаркое пламя в камине одинаково мало действовали на меня и вдохновляли не более чем слабое мерцание сальной свечки. Все мои способности восприятия и связанный с ними дар, пусть не такой богатый или же ценный, но все же присутствовавший во мне, — ныне улетучились.

Однако я верю, что выбери я иной замысел, и мои способности оказались бы не столь ничтожными и неглубокими. Я мог бы, например, обратиться к рассказам одного старого шкипера, к которому я выказал бы непростительную неблагодарность, не упомянув о нем, в то время как не проходило и дня, чтобы он не заставлял меня хохотать и восторгаться своим мастерством рассказчика. Передай я живописность его стиля, юмор, которым природа научила его окрашивать описания, и результат, в чем я искренне уверен, обогатил бы современную литературу. Или же я мог бы поставить перед собой и более серьезную задачу. Разве не было с моей стороны чистым сумасбродством пытаться уйти с головой в иную эпоху, упрямо надеясь придать жизнеподобие воздушному миру фантазии, когда со всех сторон вокруг меня теснилась грубая реальность?

Не разумнее было бы сосредоточить усилия на том, чтоб, проникнув мыслью и воображением в вязкую и темную повседневность, придать ей яркости и прозрачности, одухотворить тот груз, что начал так тяготить, решиться на поиски того истинного, полного непреходящей ценности, что спрятано в докучливых мелочах повседневной жизни, в обыденности характеров, с которыми я тогда общался? Каюсь! Простиравшаяся передо мной странная жизнь казалась мне унылой и неинтересной лишь потому, что я не проник в глубины ее смысла! Мне представлялась возможность создать книгу, прекраснее которой мне не написать, лист за листом являлись, написанные реальностью летучих мгновений, являлись, и тут же исчезали, потому что мозгу моему не хватило проницательности, а руке — мастерства их запечатлеть. Но возможно, когда-нибудь в будущем в памяти моей всплывут разрозненные обрывки, отдельные мысли, и я запишу их и увижу, как буквы на странице превращаются в золото.

Такого рода прозрения явились мне поздно. А пока я понимал лишь, что былое удовольствие превратилось для меня в безнадежный каторжный труд. И сколько ни стенай — делу не поможешь. Былой сочинитель весьма жал-

ких рассказов и очерков превратился во вполне сносного главного инспектора таможни. На этом можно поставить точку. Однако чувствовать, как слабеют умственные силы, и подозревать, что интеллект твой незаметно улетучивается, подобно эфиру из сосуда, когда каждый раз, взглянув, убеждаешься, что количество вещества уменьшилось, а остаток его стал плотнее, — не слишком приятно.

Опираясь на сей несомненный факт и наблюдая за собой и окружающими, я заключил, что государственная служба не слишком благоприятна для развития личности. Когда-нибудь я, возможно, порассуждаю на этот счет подробнее. Пока же достаточно будет сказать, что ветеран таможенной службы вряд ли может считаться лицом, вполне достойным похвалы или же уважаемым в силу ряда причин. Одна из них — устойчивость положения, которое ему обеспечивает его место, другая же — это сам характер того дела, которому он посвятил себя и которое, при всей почтенности своей, в кою я верю, все же не вносит достаточный вклад в поступательное движение человечества. Результат, мне кажется, более или менее зрим в каждом чиновнике таможни, и заключается он в том, что, опираясь на

мощное плечо республики, такой чиновник теряет способность опираться на собственные силы. И скорость, с какой это происходит, пропорциональна количеству отпущенной ему природой силы или слабости характера. Если он обладает необычайным запасом природной энергии или же расслабляющее влияние службы действует на него не так долго, утраченная способность может восстановиться.

Отринутый службой чиновник, которому посчастливилось безжалостным пинком быть ввергнутым вновь в мир борьбы, чтобы бороться там наравне с другими, может вновь стать самим собой, вернувшись к тому, чем был исконно. Но подобное происходит редко. Обычно чиновник долго сохраняет свое место и успевает превратиться в руину, когда его вышвыривают, уже никуда не годного, слабого, с трудом ковыляющего по каменистой тропе жизни. Горестно ощущая свою немощь, чувствуя, что утратил полностью и закалку, и гибкость членов, он грустно озирается в поисках какой-либо внешней поддержки. Его не оставляет надежда — призрачная и вопреки разочарованиям не желающая признавать свою иллюзорность, надежду эту сохраняет он до самого конца и, подобно холерной судороге, мучает

она его даже какое-то время после смерти, — что благодаря некоему счастливому стечению обстоятельств он будет восстановлен на службе. Эта несбыточная вера не дает ему даже помыслить о том, чтобы заняться чем-нибудь другим. Зачем утруждать себя, стараться встряхнуться, собраться с силами и выбраться наконец из мягкой тины, когда совсем скоро ему протянет сильную руку его Дядюшка и поможет подняться? Зачем работать здесь или отправляться копать золото в Калифорнии, когда он вот-вот будет осчастливлен опять регулярными, раз в месяц, подачками блестящих монеток из Дядюшкиного кармана? С печальным любопытством наблюдаем мы, как вредоносна оказывается сама атмосфера службы, как глубоко поражает она организм бедняги страшной болезнью. Золото Дяди Сэма — при всем моем уважении к достопочтенному старому джентльмену — обретает в этом случае сходство с заклятием, наложенным на сокровище дьявола. Тот, кто прикасается к этим монетам, должен вперед хорошенько подумать, чтоб не случилось с ним ничего, чтоб не потерял он либо душу, либо лучшие из ее качеств — упорство, храбрость, верность, умение полагаться на себя — все то, что составляет суть истинно мужского характера.

Нечего сказать, приятная перспектива! Не то чтобы главный инспектор применял к себе все вышесказанное или считал, что может быть полностью разрушен как личность, продолжай он работу на таможне или будучи уволен, но настроение мое было не из лучших. Все чаще меня стали одолевать меланхолия и беспокойство; я постоянно копался в себе, пытаясь понять, какие из скромных моих способностей я утратил полностью и насколько ухудшилось состояние остальных. Я все время прикидывал, как долго еще смогу оставаться на службе, не рискуя потерять себя как личность. По правде говоря, больше всего опасался я одного: так как увольнять смирного и безобидного человека было бы нерационально, а оставлять службу по собственной воле противно самой природе чиновника, то я боялся состариться на службе, одряхлеть и превратиться во второго старого инспектора. Неужели и мне предстоит по прошествии некоторого томительного периода службы, как это делает мой почтенный друг, считать обеденный перерыв главным событием рабочего дня, а все остальные часы дремать, как старый пес на припеке или в тени? Какая скучная перспектива для человека, почитающего за счастье в полной мере

давать волю всем своим чувствам и способностям! Но вышло так, что волновался я напрасно. Провидение оказало мне помощь таким образом, который я даже не мог себе представить.

Важным событием, ознаменовавшим третий год моего таможенного служения — говоря языком П.П., — было избрание президентом генерала Тейлора[12].

Для того чтобы правильно и всесторонне оценить преимущества государственной службы, следует знать и о том, каким неприятным осложнением оборачивается для чиновника приход к власти противоборствующей партии. Положение его тогда становится в высшей степени двусмысленным и, во всяком случае, неприятным настолько, насколько может быть неприятным положение смертного: лучшее ему не светит, а то, что он считает худшим, может на поверку оказаться самым лучшим, на что он еще может надеяться. Для человека, не лишенного гордости, является также испытанием знать, что его благополучие зависит теперь от людей, ему чуждых, его не любящих и не понимающих, людей, которые при случае готовы скорее навредить ему, чем

[12] Примечания: 12
Тейлор, Закари (1784–1850) — президент США с 1849 по 1850 г.

помочь. Странно к тому же человеку, сохранявшему полное спокойствие во время предвыборной гонки, наблюдать, как кровожадно ведут себя победители, и чувствовать себя среди объектов кровожадной ненависти. Трудно представить себе что-либо безобразнее этой присущей людям склонности, а именно ее я наблюдаю ныне у моих ближних — звереть от одного сознания, что теперь в их власти творить зло. Если бы гильотина в применении к чиновничьей жизни была реальностью, а не просто удачной метафорой, то я уверен, что активисты-победители с большим одобрением отнеслись бы к идее отрубить нам всем головы и возблагодарили бы Небо за представившуюся возможность!

Мне, всегда дорожившему моей позицией — быть спокойным и заинтересованным наблюдателем как побед, так и поражений, все же кажется, что многочисленные победы моей партии не вызывали в моих товарищах такого яростного и злого духа мщения, какой продемонстрировали по отношению к нам виги. Демократы, как правило, занимают руководящие посты, так как нуждаются в них и так как многолетняя практика политической борьбы дает им такую законную возможность. Не признавать

такого права без изменения всей системы было бы проявлением слабости и трусости. Но долгие годы побед научили демократов великодушию. Они умеют пощадить, когда для этого есть возможность, и если и наносят удар, то лезвие их топора редко бывает острым, сбрызнутым ядом злорадства. Не в обычае у них и презрительно пинать отрубленную голову.

Короче говоря, при всей неприятной затруднительности моего положения я усматривал множество резонов поздравить себя с тем, что нахожусь не среди победителей, а среди побежденных. Если прежде я не принадлежал к числу самых горячих сторонников демократической партии, то теперь, в период опасностей и яростной борьбы, я с особой ясностью ощутил, к какой партии принадлежат мои симпатии и предпочтения. Не без стыда и сожалений вспоминал я, как, подсчитывая и сравнивая шансы, полагал, что возможностей сохранить за собой место у меня больше, чем у кого бы то ни было из моих собратьев-демократов. Но, прозревая будущее, кто видит дальше своего носа? Моя голова слетела первой!

Минута, когда человеку отрубают голову, редко, как склонен я думать, бывает счастливейшей

минутой его жизни. И тем не менее даже для такой крупной неудачи, как и для большинства наших неприятностей, имеется утешительное лекарство — если пострадавший будет пытаться увидеть в случившемся не худшую, а лучшую его сторону. В моем случае средства находились под рукой и обдумал я их гораздо раньше, чем пришла в них нужда. Моя давняя усталость от службы вкупе с вялыми планами добровольной отставки придавали мне некоторое сходство с человеком, замышлявшим самоубийство, который вдруг и против всех его ожиданий оказывается убитым. На таможне, как и ранее в Старой Усадьбе, я провел три года — срок достаточный, чтобы утомленный мозг отдохнул, достаточный, чтоб покончить со старыми интеллектуальными привычками и заменить их новыми, и предостаточный для того, чтобы продолжать противоестественное существование, от которого никому не было ни пользы, ни удовольствия, и заняться, наконец, тем, что хотя бы утихомирит снедавшее меня внутреннее беспокойство. Что же касается бесцеремонного моего увольнения, то бывшему главному инспектору было даже приятно, что виги увидели в нем врага, ибо его слабая политическая активность, его склонность бро-

дить куда вздумается по обширным спокойным, открытым всему человечеству просторам, вместо того чтоб пробираться узкими тропами, где даже братья, встретившись, должны посторониться, чтоб не столкнуться лоб в лоб, — заставляла демократов иной раз задаваться вопросом, можно ли считать его истинным другом. Теперь же, когда он был увенчан мученическим венцом (потеряв предварительно голову, на которую венец этот можно было бы нахлобучить), все сомнения улетучились и вопрос, считай, решился. И потом, хоть подлинного героизма в этом и было мало, но все же приличнее быть низвергнутым вместе с падением партии, к которой себя приобщал, чем оставаться пережившим ее одиночкой в то время, как пали более достойные ее члены, а затем, кое-как протянув четыре года по милости враждебных тебе властей, все-таки заново просить власть прояснить твое положение и еще более униженно искать милости у соратников.

Между тем дело мое подхватила пресса; неделю-другую она всячески склоняла мое имя, и я странствовал по страницам газет в обезглавленном виде, подобный ирвинговскому безголовому

всаднику[13], — чудовищное видение, только и мечтающее быть похороненным, как и положено политическому трупу. Все это, конечно, только в фигуральном смысле, потому что физически я, не теряя головы на плечах, пришел к утешительному выводу, что все случившееся к лучшему. И, закупив чернил, бумаги и стальных перьев, откинул крышку своего давно заброшенного бюро и вновь превратился в литератора.

Вот тут-то и пригодились мне записки моего предшественника, главного инспектора Пью. Порядком заржавевшим от бездействия моим мозгам требовался некоторый разгон, чтобы умственный механизм пришел в движение и работа над повестью пошла сколько-нибудь удовлетворительно. Но даже и работая в полную силу, я видел, что из-под моего пера выходит картина слишком мрачная и безотрадная, не согретая живым и ласковым солнечным теплом, нежными оттенками, которые, на мой взгляд, должны смягчать краски любых изображений, будь то природа или человеческая жизнь. Возможно, неприглядность эта есть следствие воспроизводимого исторического периода, когда

[13] Примечания: 13

Всадник без головы — персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда Сонной Лощины».

Революция едва окончилась, а жизнь все еще кипела страстями. Во всяком случае, это не должно указывать на отсутствие у автора веселости, потому что, покинув Старую Усадьбу, никогда я не был так счастлив, как пробираясь сквозь мрак этих бессолнечных фантазий. Некоторые из коротких очерков, вошедших в состав этого тома, были написаны после моего вынужденного ухода с трудоемкого и почетного места служения общественному благу, другие же были извлечены мною из ежегодных альманахов и журналов столь давних, что о них успели забыть и теперь эти произведения читаются как свежие[14]. Вновь используя метафору политической гильотины, материалы эти можно назвать «Посмертными записками обезглавленного главного инспектора», при этом очерк, который я сейчас подвожу к финалу, если и является чересчур автобиографичным для того, чтобы скромность позволяла печатать его при жизни, извинителен для человека, взывающего из могилы: «Мир вам, живущие! Благословляю друзей моих! Прощаю врагам моим! Ибо пребываю я в Царстве покоя!»

---

[14] Примечания: 14

Работая над этим очерком, автор намеревался вместе с «Алой буквой» напечатать и несколько рассказов и набросков, но позднее счел разумным отложить такое намерение. — *Примеч. автора.*

Таможня и жизнь в ней теперь остались для меня позади, превратились лишь в сон. Старый инспектор, который, между прочим, как ни грустно сообщать вам это, некоторое время назад погиб под копытами лошади, а не случись этого, жил бы вечно, вместе с другими достойными персонажами, как и он, занимавшимися взиманием пошлин, видятся мне сейчас призраками — эдакие седовласые морщинистые измышления моей фантазии, игрушки ее, брошенные и забытые навсегда. Торговцы — Пингри, Филипс, Шепард, Эптон, Кимбел, Бертрам, Хант — все эти и многие другие, чьи фамилии были так привычны моему уху всего полгода назад, все эти коммерсанты, казавшиеся такими важными персонами в этом мире, — как мало времени потребовалось, чтобы все они исчезли не только из моей жизни, но даже и из воспоминаний!

Я с трудом могу представить себе только некоторых из них. Вот так же вскоре и мой родной город будет видеться мне только в дымке воспоминаний; туман поглотит его и станет он не реальным куском земли, а странных очертаний облаком, облачным градом, населенным воображаемыми людьми. Они выходят из деревянных домов, проходят по уродливым улочкам, чтобы

выйти на длинную и унылую Главную улицу. Все это перестало быть для меня реальностью, я теперь принадлежу к другому месту. Мои добрые земляки не будут сожалеть о моем отъезде, ибо хотя я и пытался литературными трудами своими, помимо прочих моих целей, снискать уважение и у них и оставить по себе добрую память в этом месте, где жили, а ныне покоятся многие и многие мои предки, я не считал, что воздух этого города благоприятствует созреванию плодов умственной деятельности, с тем чтобы писатель мог надеяться на отменный их урожай. Мне будет лучше среди других лиц, а эти, столь хорошо мне знакомые, надо думать, отлично обойдутся без меня.

И однако — о вдохновляющая и радостная мысль! — может быть, праправнуки моих современников с теплым чувством вспомнят старого сочинителя историй из давно минувшей жизни. Тогда будущий любитель древностей среди памятных мест города отыщет и то, где находилась некогда городская водокачка[15].

---

[15] Примечания: 15

Про городскую водокачку Готорн писал в одном из очерков сборника «Дважды рассказанные истории».

Глава 1
Тюремная дверь

Толпа бородатых мужчин в одеяниях унылых расцветок и островерхих шляпах, разбавленная и женщинами, простоволосыми либо в чепцах, собралась перед деревянным зданием с тяжелой дверью из прочного дуба, укрепленной массивными железными скобами и шипами.

Первые колонисты, несмотря на утопическую мечту о счастье и заботу о человеческом достоинстве, очень скоро осознавали среди первейших задач своих необходимость выделить участок девственной земли под кладбище, а другой — где будет находиться тюрьма. Признав непреложность данного правила, мы можем смело заключить, что отцы-основатели Бостона выстроили первую тюрьму где-нибудь неподалеку от Корнхилла почти одновременно с отведением участка под первое кладбище на земле Айзека Джонсона и вокруг его могилы, что со временем и стало ядром и основой захоронений старого погоста возле Королевской часовни. Не подлежит сомнению, что через лет пятнадцать — двадцать после основа-

ния города деревянное здание тюрьмы уже несло на себе следы былых непогод и прочие приметы времени, придававшие еще большую угрюмость ее изъеденным короедом стенам. Ржавчина на грубом кованом железе ее двери казалась старше самых старинных сооружений Нового Света. Как все, связанное с преступлением, здание это словно никогда и не ведало молодости. Между этим безобразным сооружением и проезжей частью улицы раскинулась зеленая луговина, сплошь покрытая репейником, лебедой и прочей неприглядной растительностью, видимо, нашедшей в здешней почве нечто сродни столь рано выросшему здесь мрачному цветку нашей цивилизации — тюрьме. Но сбоку от входа в узилище, оплетая корнями своими чуть ли не самый его порог, рос куст шиповника, усеянный нежными и изящными цветами, которые можно было счесть щедрым и ароматным даром хрупкой красоты, преподносимым природой входящему в эту дверь арестанту или выходящему из нее навстречу горькой судьбе приговоренному к казни преступнику в знак глубокого сочувствия и как уверение в своей бесхитростной доброте и милосердии.

По странной случайности сей куст шиповника сохранился здесь со времен стародавних, хоть

и неизвестно, рос ли он некогда еще под сенью сосен и дубов, впоследствии срубленных, или же, как верят люди сведущие, подарила нам его земля, когда по ней вели в застенок праведницу Анну Хатчинсон. Взять на себя смелость утверждать доподлинно то или иное мы не решимся. Однако, видя символический куст у самого порога, знаменующего собой начало нашего повествования, мы не можем придумать ничего лучше, как сорвать один из его цветков и принести в дар читателю. Да послужит он, как смеем мы надеяться, воплощением сладчайшего нравственного совершенства, которое мы жаждем обрести на нашем пути, или же рассеет мрак сего рассказа о слабости человеческой и неизбывной горести нашего удела.

Глава 2
Рыночная площадь

Летним утром, случившимся не менее двух столетий назад, на зеленой луговине перед тюрьмой на так называемой Тюремной улице толпилось изрядное число жителей Бостона, не сводивших глаз с кованой дубовой двери. В любой другой среде или же в другой, более поздний период новоанглийской истории подобная суровая непреклонность на бородатых лицах означала бы приближение чего-то ужасного, никак не меньше, чем свершение долгожданной казни закоренелого преступника, приговор которому лишь узаконивал всю ненависть к нему общества. Но пуританская суровость не дозволяет нам сделать столь однозначный вывод. С равным успехом причиной людского скопления могло оказаться всего лишь ожидание справедливого возмездия нерадивому рабу или строптивому и непочтительному отроку, которого родители передали властям для исправления путем публичной порки.

Наказание могло касаться и антиномийца,

квакера или же иного приверженца неортодоксального вероучения, которому предстояло быть с позором изгнанным из города, или же бродяги-индейца, впавшего в буйство под действием «огненной воды», к которой приучил его белый человек, и теперь, вкупе со стигматами на коже, получающего предписание покинуть городские улицы и удалиться в лесную глушь. Но столь же вероятным могло быть и ожидание казни через повешение очередной ведьмы вроде престарелой матушки Хиббинс, ожесточившей свое сердце злокозненной судейской вдовы. На каждой из таких церемоний лица зрителей сохраняли бы одинаковое выражение торжественной серьезности, приличествующее людям, в сознании которых религия и закон были теснейшим образом связаны и переплетены, а наказание, как легкое, так и самое суровое, вызывало одинаковое смешанное со страхом благоговение. Вряд ли сочувствие могло шевельнуться в душах зрителей, стоящих возле эшафота. С другой стороны, наказание, призванное лишь устыдить оступившегося и встречаемое в наши дни лишь насмешкой, в то время отправлялось с суровостью, никак не меньшей суровости смертного приговора.

Следует отметить также, что в толпе, собрав-

шейся в достопамятное летнее утро, знаменующее собой начало нашего рассказа, особый интерес к предстоящему наказанию проявляли находившиеся в толпе женщины. Тот век не отличался утонченностью, и потому ни возраст, ни чувство некоторой неловкости, которую создавали для других их громоздкие одеяния с пышными, в фижмах, юбками не мешали, энергично проталкиваясь увесистым телом, пробираться, насколько возможно, в первые ряды, к самому эшафоту. И нравственно, и физически эти жены и девы, рожденные и выпестованные еще старой доброй Англией, были грубее своих потомков, отделенных от них шестью-семью поколениями, ибо в череде лет с передачей наследственных признаков каждая мать наделяла свою дщерь румянцем все менее ярким, а красотой все более тонкой и недолговечной, воплощенной в массе не столь солидной, хоть и несшей дух столь же непреклонный, как и ее собственный.

Женщины, стоявшие сейчас возле тюремной двери, менее чем на полвека были отдалены от времени, когда мужеподобная Елизавета выглядела вполне приемлемой представительницей своего пола. Они были ее соплеменницами и землячками, и говядина с элем родной их страны, как

и столь же незамысловатая пища духовная, оказали значительное влияние на их внешность.

Вот почему утреннее солнце лило теперь свой свет на их мощные широкие плечи, полновесные, хорошо развитые груди и круглые румяные щеки, взращенные далеким островом и ничуть не утратившие округлости и не поблекшие в атмосфере Новой Англии. Более того, таков же был источник смелой откровенности речей сих матрон, каковыми они в большинстве своем являлись, речей, громогласность которых в наши дни показалась бы устрашающей.

— Скажу вам откровенно, добрые мои подруги, — сказала одна из них, женщина лет пятидесяти с тяжелыми и грубыми чертами лица, — очень полезно было бы для всего нашего сообщества, если б дело этой мерзавки Эстер Принн передали для разбирательства нам, зрелым, почтенным женщинам, пользующимся всеобщим уважением как добропорядочные члены церкви. Что думаете вы, сударыни? Предстань эта развратница перед судом нашей сплоченной пятерки, разве отделалась бы она тогда приговором, который вынесла ей коллегия судей, да благослови их Господь? Убей меня, я того не думаю!

— Говорят, — заметила другая, — преподобный

Димсдейл, ее духовный наставник, был уязвлен в самое сердце таким скандалом в его приходе.

— Судьи, конечно, люди боголюбивые, — присоединила свой голос третья клонящаяся к закату матрона. — Но было бы куда правильнее припечатать каленым железом лоб этой Эстер Принн. Вот такое клеймо заставило бы мадам содрогнуться, не сомневаюсь. А так, какое дело этой вертихвостке до того, что там прицеплено к ее платью! Прикрой это брошкой или еще какой-нибудь языческой побрякушкой и гуляй себе по городу как ни в чем не бывало!

— И все же, — робко вступила в беседу молодая женщина, державшая за руку ребенка, — прикроет она знак или нет, все равно он до скончания дней будет жечь ей грудь!

— Да что мы все о знаках — на лбу или на платье — какая разница! — вскричала еще одна из женщин, самая безобразная и самая неумолимая из этих доморощенных судей. — Она нас всех опозорила и заслуживает смерти! Разве это не справедливо? Есть, точно есть, как в Писании, так и в своде законов. И пусть сердобольные судьи пеняют на себя и рвут на себе волосы, когда собственные их жены и дочери пойдут по ее стопам и пустятся во все тяжкие!

— Помоги нам Господь, благочестивые женщины, — воскликнул стоявший в толпе мужчина, — если нет в наших женах добродетели иной, нежели та, что рождена страхом перед виселицей. Уж слишком вы жестокосердны! А теперь хватит болтать — затвор в двери повернулся, и вот она, госпожа Принн собственной персоной!

Дверь тюрьмы распахнулась, и первой, подобная черной тени на ярком солнечном свете, явилась угрюмая, зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом — знаком его должности — в руке. Фигура эта всем видом своим знаменовала и воплощала мрачную суровость пуританского законодательства, которое он и призван был применять к преступнику неукоснительно и со всею строгостью. Державшая жезл левая рука пристава была простерта вперед, в то время как правой он касался плеча молодой женщины, понуждая ее тем самым двигаться. Уже стоя в дверях, жестом, исполненным достоинства и свидетельствующим о силе характера, она отвела его руку и словно по собственной воле шагнула навстречу толпе. На руках она держала дитя, младенца месяцев трех от роду, который моргал и отворачивал личико от слишком яркого света, ибо до той поры знаком ему был лишь

тусклый сумрак узилища.

Когда молодая женщина — мать ребенка — уже в полной ясности предстала перед толпой, первым ее побуждением, как это казалось, стала потребность прижать дитя к груди, не столько в приливе материнских чувств, сколько из-за желания прикрыть некий знак, запечатленный на ее платье — прикрепленный либо пришитый к нему. Но в следующее мгновение, справедливо решив, что одно свидетельство позора не может служить прикрытием другому его свидетельству, она, ловчее подхватив ребенка, уложила его у себя на руках и, вспыхнув горячим румянцем, но сохраняя на лице горделивую улыбку, не смущаясь обвела взглядом толпу своих сограждан и соседей. На лифе ее платья вырезанная из красной ткани и обрамленная затейливой вязью вышитого золотой нитью орнамента сияла и переливалась буква «А»[16]. Выполнена она была столь мастерски, с таким изобилием фантазии, что казалась изысканным украшением, замечательно подходящим одеянию, сшитому в соответствии с модой и вкусами того времени, но далеко превосходившему пределы роскоши,

---

[16] Примечания: 16

«А» — первая буква английского слова adulteress — прелюбодейка.

дозволяемой принятыми в колонии порядками.

Молодая женщина была высокого роста и обладала фигурой поистине, можно сказать, идеальной. Ее темные волосы, пышные и густые, блестели на солнце и словно отражали солнечный свет, а лицо, помимо правильности черт и замечательного цвета, делавших его прекрасным, отличалось особой выразительностью, которую придавали благородный лоб и вдумчивая глубина черных глаз. У женщины этой был вид настоящей аристократки, леди в понятиях того времени, когда признаками аристократизма в женщине считалась не столько изящная и хрупкая грация, как видится нам это сейчас, сколько степенность и достоинство. Что же до Эстер Принн, то никогда не выглядела она большей аристократкой в старинном понимании этого слова, чем в тот момент, когда выходила из двери тюрьмы. Те, кто знал женщину, ожидал увидеть ее померкшей и униженной, были удивлены и даже изумлены, став свидетелями сияющей красоты ее, будто ореол несчастья и позор лишь сделали ее еще краше. Хотя чуткий наблюдатель, возможно, и приметил бы в ее облике следы скрытого страдания. Ее наряд, который она сшила в тюрьме специально к этому

случаю и который подсказали ей ее фантазия и обуявшее ее вдруг настроение отчаянной и дерзкой смелости, отличался яркой и живописной оригинальностью. Но особенно приковывала все взоры, преображая Эстер Принн так, что все — и мужчины, и женщины, казалось, увидели ее впервые, АЛАЯ БУКВА, сиявшая в своем прихотливом узоре на груди. Как некое заклятие, буква эта отделяла Эстер от всех прочих людей, как кокон, окружая особой аурой.

— Неплохо она иглой владеет, ничего не скажешь, — заметила одна из стоящих в толпе женщин. — Ну кто другой, кроме такой бесстыжей потаскухи, набравшись наглости, посмел бы это свое умение людям в глаза тыкать! Что это, подруги, как не насмешка, брошенная в лицо почтенным судьям, и не попытка похваляться тем, что эти достойные джентльмены выбрали ей в наказание!

— Вот сорвать бы с ее цыплячьих плечиков, — пробормотала самая злобная из старых дам, — богатое платье! Что же до красной буквы, которой она так забавно его изукрасила, то лучше б я пожертвовала ей для этой цели клочок теплой фланелевой тряпки, которой я больное место обертываю, когда ревматизм одолевает!

Все приличнее было бы!

— Ой, потише, соседушки, — прошептала ее молодая товарка, — негоже ей вас слушать, ведь каждый стежок в этой вышивке ей болью в сердце отзывается!

Суровый пристав взмахнул жезлом:

— Дорогу, добрые люди! Именем короля дайте пройти! — крикнул он. — Освободите проход, и я обещаю вам расположить госпожу Принн так, что каждый, будь то мужчина, женщина либо ребенок, сможет любоваться смелым ее нарядом, начиная с этой минуты до часу пополудни! Да благословит Господь добродетельных жителей колонии Массачусетс, где беззаконие бывает выявлено и выставлено на позор! Вперед, мадам Эстер, покажите всей площади вашу Алую букву!

В толпе зевак образовался проход, и вслед за приставом, сопровождаемая нестройной вереницей насупленных мужчин и непреклонных женщин, Эстер Принн двинулась к месту своего наказания. Ватага бойких и любопытных школяров бежала впереди процессии. Мало что понимая из происходящего помимо того, что их на полдня освободили от занятий, дети то и дело оглядывались, чтобы поглазеть на женщину, на ее ребенка и на позорный знак у нее на груди. В те

дни расстояние от дверей тюрьмы до рыночной площади было небольшим. Однако, учитывая то, что приходилось терпеть женщине на всем протяжении пути, его следует признать значительным, ибо вопреки горделивой ее осанке, каждый шаг откликался в ней болью от обращенных на нее взглядов, словно самое сердце ее было вырвано и брошено под ноги собравшимся, чтобы его пинали и топтали. И все же натура наша устроена с учетом некоего условия, чудесного и благодетельного, поскольку позволяет оно нам испытывать самую острую боль не в тот момент, когда она охватывает нас, а главным образом потом, когда является уже в воспоминании. Благодаря этому свойству часть мучительного испытания своего Эстер Принн прошла с видом почти безмятежным, приблизившись к подобию эшафота, высившегося на западном краю рыночной площади едва ли не под сводами самой старой из бостонских церквей и, казалось, утвердившегося там прочно и надолго.

Эшафот этот являлся неотъемлемой принадлежностью тогдашнего карательного инструментария, той его частью, которая ныне, по окончании жизненного срока двух или трех поколений, сохранила лишь статус исторической реликвии

и традиции, но в свое время считавшейся весьма эффективным способом нравственного воспитания, точно таким же, каким французы во времена террора почитали гильотину. Строго говоря, это был всего лишь помост, над которым высилась особой конструкции рама, плотно обхватывавшая голову человека и удерживавшая ее в таком положении, чтобы наказуемый не мог ее опустить, избегнув тем самым взглядов публики. Это сработанное из железа и дерева устройство было идеальным воплощением наивысшего позора, которому можно подвергнуть человека, ибо нет унижения горше, чем запрет провинившемуся стыдливо укрыть от взглядов лицо свое, в чем и состояли смысл и цель наказания. Однако в случае с Эстер Принн, как нередко и в других случаях, приговором ей предписывалось лишь пребывать некоторое время на помосте без того, чтоб шею и голову ее помещали в тиски, не дававшие ей шевельнуться, другими словами, от самой дьявольской и безобразной части наказания она была избавлена. Осведомленная в том, что ей предстоит, она поднялась по деревянным ступеням помоста, явив себя таким образом окружающей толпе и вознесясь на высоту мужского роста над улицей.

Случись в этой толпе пуритан какой-либо папист, он мог бы усмотреть в красивой женщине, так живописно выглядевшей в своем одеянии и с ребенком на руках, сходство с образом Богоматери, в изображении коего соревновались между собой прославленные художники. Сходство тут, правда, присутствовало скорее всего по контрасту, потому что если в картинах, символизирующих непорочное материнство, изображено бывает дитя, призванное искупить грехи человеческие, то здесь грех, проникший в самую священную область нашего существования, осквернил ее собой и сделал так, что красота женщины лишь омрачала все вокруг и жизнь представлялась безнадежной для рожденного во грехе младенца.

Картину эту толпа наблюдала со своего рода благоговением, каковое лицезрение вины и стыда ближнего всегда вызывало в людях, прежде чем общество развратилось настолько, чтобы научиться улыбаться там, где следовало бы содрогнуться. Впрочем, свидетели позора Эстер Принн, еще не изжившие в себе простодушия, хотя и были достаточно суровы, чтобы без ропота встретить и казнь ее, будь она приговорена к последней, все же не отличались свойственным

иным общественным укладам бессердечием, когда зрелище, подобное описываемому, становится лишь поводом для шуток. Если б даже и возникло в толпе желание посмеяться над происходящим, оно было бы пресечено и уничтожено торжественным присутствием здесь достойнейших лиц, таких как губернатор и ряд его советников, судья, генерал и городское священство, сидевшие или стоявшие на балконе молитвенного дома и глядевшие оттуда вниз на помост. Коли такие важные лица сочли возможным почтить церемонию своим присутствием без риска уронить свой статус и авторитет, значит, можно было смело и с полным правом счесть исполнение судебного решения вещью серьезной и значимой. Соответственно выглядела и толпа, хранившая вид угрюмый и мрачный. Несчастная виновница старалась держаться бодро, насколько это дозволяло ей ее женское естество, и стойко несла на себе груз тысяч безжалостных, пронзительных взглядов, в особенности на запечатленный на ее груди знак. Вынести это было почти невозможно. Обладая натурой пылкой и страстной, она была готова встретить оскорбления и ядовитые реплики, выражающие всеобщее порицание и неприязнь, но глухое молчание расступавшейся

толпы оказалось страшнее. Уж лучше бы неподвижность этих лиц исказила гримаса веселья и издевательской насмешки. Раздайся вдруг грохот от звуков, вырвавшихся из груди каждого в этой толпе — мужчины, женщины или визгливого мальчишки — и слейся все эти звуки в общий хохот, и Эстер Принн могла бы ответить им всем горькой презрительной усмешкой. Но нет, ей предстояло терпеть это свинцовое, тяжелое молчание, и были мгновения, когда ей хотелось издать громкий, отчаянный крик и броситься вниз с помоста, только бы не сойти с ума.

И все же случались промежутки, когда вся картина, в центре которой была она сама, как бы ускользала от ее взора или же меркла, окутываясь словно туманным облаком, превращавшим все вокруг в призрачные тени. Тогда сознание Эстер и в особенности память обретали удивительную живость, рождая иные образы, совсем не те, что являла эта убогая улица городишки, затерянного на краю дикой Западной местности; выплывали другие лица, не те, что взирали на нее из-под надвинутых на лоб островерхих шляп. Воспоминания, пустяковые, мимолетные, случаи времен ее детства и школьных лет, разные игры, ребяческие забавы, ссоры, мелочи ее жизни дома

в юности возвращались вновь, тесня друг друга, мешаясь с воспоминаниями о том серьезном и суровом, что наступило позже, и каждая картина, каждый образ не уступал другому в яркости, словно все они были одинаково важными и ценными или же, напротив, игрушечными, ненастоящими. Возможно, таков был защитный механизм, инстинктивная уловка в попытках уйти от фантасмагории образов и форм окружающей реальности, облегчив тем самым боль от сгибавшей ее плечи тяжкой и неизбывной ноши.

Как бы там ни было, помост, на котором стояла ныне Эстер, служил ей точкой обзора, откуда она могла охватить взглядом весь путь, пройденный ею со времен ее счастливого детства. Стоя на этом ничтожном возвышении, она созерцала вновь родное селение в старой Англии, отчее гнездо свое — это обветшалое строение из серого камня со следами бедности, но с сохранившимся над входом облупленным гербом — свидетельством древности ее рода. Она видела отцовское лицо — залысины на лбу, почтенная седая борода прикрывает старомодные елизаветинские брыжи; видела мать, глядевшую на нее с выражением боязливо затаенной любви на лице, озаренном отсветом былой девической красоты; этот взгляд

сохранился в памяти Эстер и после материнской кончины, наполняя любовью всю ее жизнь и всегда, во всех хитросплетениях ее судьбы служа ей тихим укором.

Себя же Эстер видела лишь отражением в зеркале, в котором можно было разглядеть и другое лицо — мужчины, несшего на себе бремя лет, бледное, тонкое лицо ученого с глазами, воспаленными от света лампы, неизменно служившей ему в долгие часы чтения объемистых ученых фолиантов. Но затуманенный взор этих глаз странным образом обретал силу и зоркость, когда владелец их вознамеривался проникнуть в душу человека. Фигура этого кабинетного и монастырского затворника, как это ясно вспоминалось Эстер, была несколько асимметрична — левое плечо немного выше правого. И вслед за этим воспоминанием тут же в памяти возникала путаная сеть узких улочек и проулков с высокими серыми домами, огромными соборами и общественными учреждениями в зданиях старинного вида и причудливой архитектуры — приметы большого города на континенте, где ее ожидала новая жизнь, по-прежнему связанная с кособоким ученым — жизнь новая, но питаемая прежним изъеденным временем, ветхим,

трухлявым материалом, подобно зеленому мху, произрастающему на руинах порушенной стены. А напоследок, вместо череды сменяющих друг друга сцен и образов, опять вернулась грубая простота рыночной площади в пуританском поселении с его обитателями, собравшимися вместе, чтобы пронизывать взглядами ее, Эстер Принн, вознесенную на этот помост и стоящую на нем с ребенком на руках и буквой «А», в причудливом обрамлении золотых нитей сияющей на груди.

Может ли быть такое? Она прижала к себе ребенка с такой страстью, что он пискнул, и, опустив взгляд, вперилась в эту букву и даже тронула ее пальцем, дабы убедиться, что ее позор, как и ее ребенок, самое что ни на есть настоящее. Да! Это теперь ее жизнь, остального же больше не существует.

Глава 3
Встреча

От ясного и мучительного осознания того, что именно она стала объектом всеобщего пристального внимания, женщину с алой буквой на груди отвлекла фигура из толпы, стоявшая в самых задних ее рядах, моментально и всецело захватившая все ее помыслы. Там находился и индеец в туземном своем наряде, но краснокожие столь часто забредали в английские поселения, что появление, да еще в такой момент, одного из них, вряд ли заставило бы Эстер Принн забыть обо всем вокруг. Но рядом с этим индейцем, по-видимому, пришедший вместе с ним, стоял белый человек, одетый в странную смесь платья цивилизованного, европейского, с местным дикарским.

Он был невелик ростом, с лицом, изборожденным морщинами, которые пока что не могли с определенностью свидетельствовать о возрасте. Черты его изобличали ум, отточенный учеными занятиями, чрезмерностью и продолжительностью своей повредившими его физической

форме, что сказалось со всей очевидностью на его облике. При всей небрежности наряда он все же постарался скрыть либо приуменьшить видимую особенность своей фигуры, мгновенно замеченную и Эстер, — неровность плеч, одно из которых было выше другого. И при первом же взгляде на тонкие его черты и легкую неправильность фигуры Эстер вновь судорожно прижала к груди ребенка с силой, исторгшей у несчастного младенца новый крик боли. Однако мать словно не слышала этого крика.

С самого прибытия на рыночную площадь и какое-то время, пока Эстер его не заметила, взгляд мужчины постоянно обращался к ней, поначалу словно в рассеянности, как смотрят люди, привыкшие глядеть главным образом внутрь себя, те, кому нет никакого дела до событий внешнего мира, не имеющих отношения к собственным их душевным движениям. Вскоре, однако, взгляд его стал пристальным и пронизывающим. Ужас, исказивший его черты, скользнув по лицу, подобно змее, на секунду мелькнул в его взгляде. Лицо его потемнело от волнения, которое он мгновенным усилием воли сумел в себе подавить, и теперь выражение лица его могло показаться исполненным спокойствия. Одно

мгновение — и конвульсия боли, исказившая черты, их покинула, нырнув в глубь естества его и там себя исчерпав. Когда мужчина встретил устремленный на него взгляд Эстер Принн и понял, что она его узнала, он, медленно и спокойно подняв палец, покачал им в воздухе, после чего приложил к губам.

Затем, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, он со всею вежливостью и предупредительностью осведомился:

— Не будете ли любезны просветить меня, сэр, кто эта женщина и за что подвергают ее подобному позору?

— Вы, видимо, человек пришлый, дружище, — ответствовал горожанин, с любопытством оглядывая вопрошавшего в его дикарском наряде, а также первобытного его спутника, — иначе вы, несомненно, слыхали бы о миссис Эстер Принн и греховных ее деяниях. Они вызвали большой скандал в приходе преподобного Димсдейла, среди его паствы, уверяю вас.

— Вы были совершенно правы, — согласился его собеседник, — когда заключили, что я человек пришлый. Не по своей воле став скитальцем и испытав череду печальных злоключений на море и на суше, я долго томился в плену у пле-

мени язычников, обретающихся к югу отсюда, а ныне доставлен этим вот индейцем сюда с целью избавить меня от плена за определенную мзду. Так расскажите же мне, умоляю, об этой Эстер Принн, если я не перепутал имя; чем оскорбила она всех и что привело ее на этот эшафот?

— Думаю, сердце ваше возликует, дружище, — изрек горожанин, — от отрадного сознания, что после долгих мытарств и пребывания в диких дебрях вы наконец оказались в краю, где беззаконие бывает выявлено и наказано, как это происходит сейчас на глазах у всего народа и правителей его у нас в хранимой Господом Новой Англии! Да будет вам известно, сэр, что женщина сия являлась супругой некоего высокоученого человека, англичанина по рождению, но долгое время проживавшего в Амстердаме, откуда уже довольно давно он замыслил перебраться, связав свою судьбу с нами, жителями Массачусетса. С этим намерением он отправил сюда жену, вперед себя, так как самого его задержали в Амстердаме дела. Прожив здесь в Бостоне года два или несколько меньше и не имея известий о высокоученом своем супруге мистере Принне, молодая его жена, оставшаяся без должного попечения и руководства и предоставленная лишь собствен-

ным дурным помыслам и заблуждениям…

— Ага! Понял вас, — с горькой усмешкой прервал его новоприбывший. — Правда, столь высокоученый, как вы его охарактеризовали, джентльмен, несомненно, должен был бы почерпнуть из книг и знание подобных закономерностей и прискорбные примеры их проявлений. Так кто же, коли будете вы любезны открыть мне на это глаза, сэр, является отцом младенца, которого сейчас женщина эта держит на руках и которому, судя по его виду, никак не больше трех-четырех месяцев от роду?

— Сказать по правде, дружище, это остается загадкой, а прорицателя, способного ее разгадать, пока не нашлось, — отвечал горожанин. — Мадам Эстер наотрез отказывается сообщить его имя, и судьи наши тщетно ломают головы, пытаясь найти ответ. Может так случиться, что виновник сейчас присутствует здесь и наблюдает это печальное зрелище, не узнанный никем, кроме Господа, о коем он, по-видимому, напрочь забыл.

— Высокоученому мужу, — вновь улыбнулся собеседник, — надлежало бы самому прибыть сюда и постараться проникнуть в эту тайну.

— Такое вполне приличествовало бы ему, будь он жив, — отвечал горожанин. — Однако сейчас,

уважаемый, судейское сообщество Массачусетса, заключив, что молодую и красивую эту женщину, несомненно, сильно искушали, коварно подталкивая к падению, а супруг ее, весьма вероятно, покоится в морской пучине, не решилось применить к ней самую суровую меру, предусмотренную нашим законодательством, и подвергнуть смертной казни. По великой милости своей и храня добросердечие, судьи приговорили миссис Принн всего лишь к трехчасовому стоянию на позорном помосте и ношению впоследствии до самого окончания земного ее поприща позорного знака на груди.

— Мудрый приговор! — заметил новоприбывший. — Он делает знак позора на ее груди живым примером и предостережением от соблазна греха. В этом качестве он может служить и после ее кончины, будучи вырезанным на надгробии ее. И все же как горько сознавать, что сообщник этой женщины в греховном деянии не стоит сейчас бок о бок с ней на эшафоте! Но он будет найден! Будет, будет!

Мужчина любезно поклонился словоохотливому своему собеседнику и шепнул что-то индейцу, после чего оба стали пробираться через толпу.

Все это время Эстер Принн, стоя на своем воз-

вышении, не сводила глаз с незнакомца, и взгляд ее был столь пристален, что, казалось, полностью исключал для нее все прочее в этом мире, кроме них двоих — ее и его. Но встреча с ним наедине, наверное, была для нее страшнее этой их встречи под лучами полуденного солнца, жегшего ее и без того горящее от стыда лицо, когда она, стоя с зачатым во грехе ребенком на руках и позорным знаком на груди, встречала взгляды толпы, собравшейся, как на праздник, дабы лицезреть черты, которым более пристало отражать мирное пламя домашнего очага либо угадываться под покровом, прикрывающим голову благочестивой жены во время молитвы в храме.

При всем ужасе ее позора присутствие на нем тысяч свидетелей виделось ей неким укрытием. Уж лучше стоять здесь, когда их разделяет множество людей, чем встретиться с ним лицом к лицу, когда никого нет рядом. Многолюдье вокруг было для нее едва ли не спасением, и она страшилась минуты, когда окажется лишенной этого спасительного средства.

Погруженная в эти мысли, она не услышала голоса, раздавшегося у нее за спиной, пока голос этот несколько раз не повторил ее имени, громко и раскатисто пронесшегося над площадью.

— Обрати свой слух ко мне, Эстер Принн!

Уже было упомянуто, что помост, на котором стояла Эстер Принн, располагался под балконом, а вернее сказать, открытой галереей молитвенного дома, и балкон этот сейчас нависал над ней. С этого балкона провозглашались обычно выпущенные властями указы и судебные предписания, что делалось торжественно, с соблюдением всех церемоний, положенных тогда подобным общественным событиям.

Сюда, дабы наблюдать описываемую нами церемонию, прибыл и сам губернатор Беллингем с почетным эскортом из четырех стражников, стоящих теперь с алебардами в руках по бокам от его кресла. Шляпу губернатора украшало темное перо, плащ, отороченный узорчатой каймой, прикрывал камзол из черного бархата. Опыт прожитых лет и нелегких испытаний оставил отпечаток на морщинистом лице его. Для роли главы и представителя всего сообщества колонии он подходил как нельзя лучше, ибо рождением своим и теперешним состоянием колония обязана была не энергии порывистых юнцов, а строгой, хорошо продуманной и выверенной умеренности действий и угрюмой мудрости, которую приносит возраст, достигающий столь

многого именно потому, что не имеет склонности давать воли воображению и чрезмерным надеждам. Прочие видные особы, окружавшие ныне кресло главного правителя, отличались тем выражением достоинства, которое хранили лица, причастные к власти, в эпоху, когда все ее институты почитались священными и учрежденными чуть ли не самим Создателем. Являлись они, безусловно, людьми добропорядочными, мудрыми и справедливыми. Однако трудно было бы из всего рода человеческого выбрать особ менее способных судить оступившуюся женщину, разобраться в мешанине добра и зла в ее сердце, чем эти суровые мудрецы, к которым обратила сейчас лицо свое Эстер Принн. Казалось, она в полной мере ощущала, что какое бы то ни было сочувствие она может снискать лишь в более простых и милосердных душах людей из толпы, ибо, подняв взгляд к балкону, несчастная побледнела и задрожала.

Голос, воззвавший к ней, принадлежал преподобному и достославному Джону Уилсону, старейшему священнослужителю Бостона, человеку высокообразованному, какими было большинство тогдашних его собратьев по призванию, и при этом доброму и снисходительному.

Последние качества, впрочем, были в нем не столь явны, как его мыслительные способности, ибо являлись для него не предметом гордости, а постыдной чертой, которую следовало скрывать, пряча поглубже. Стоя сейчас в маленькой шапочке, из-под которой венчиком выбивались седенькие завитки волос, и мигая серыми своими глазами, более привычными к сумраку кабинета, чем к слепящим и безжалостным солнечным лучам, он казался ожившей гравюрой, из тех, что предваряют текст в старинных фолиантах богословских трудов и молитвословах, и в силу этого сходства вряд ли мог он сейчас претендовать на право разбираться в вопросах вины, страстей и душевных мук человеческих.

— Эстер Принн, — произнес священник, — я спорил с молодым моим собратом, под чьим духовным попечением тебе посчастливилось пребывать, — тут мистер Уилсон опустил руку на плечо бледного молодого человека рядом, — пытаясь убедить этого благословленного Господом юношу в том, что именно ему следует говорить сейчас с тобой перед ликом Господним, мудрыми и справедливыми властями нашими и перед всем честным народом касательно мерзости и скверны твоего греха. Зная лучше, чем знаю его я,

твой нрав, он способен вернее рассудить, какими доводами и какими словами — мягкими или же, напротив, грозными и жесткими — можно было бы пересилить твою неуступчивость и твое упрямство, с тем чтобы ты прекратила утаивать имя соблазнителя, приведшего тебя к прискорбному твоему падению. Но он возражал мне (со свойственным молодости мягкосердечием, хотя в других отношениях юноша сей мудр не по летам), доказывая, что было бы насилием над самой природой женщины заставить ее выносить на яркий солнечный свет, да еще перед таким внушительным скоплением народа, сокровеннейшие сердечные тайны, хотя на самом-то деле, в чем я и старался всеми силами его убедить, позор греха заключен в его совершении, а вовсе не в признании в нем перед людьми. Что скажешь ты на это теперь, брат Димсдейл? Кому — тебе или мне надлежит позаботиться о душе несчастной грешницы?

Тут собравшиеся на балконе достойные и облеченные властью особы шепотом принялись обмениваться репликами, и общее мнение их выразил губернатор Беллингем, обратившийся к молодому священнику авторитетным тоном, властность которого умерялась лишь уважением

к сану:

— Достопочтенный мистер Димсдейл, ответственность за душу этой женщины возложена на вас. Стало быть, именно вам и надлежит принудить ее к раскаянию и, как следствие и доказательство последнего, к столь необходимому признанию.

Прямота и недвусмысленность такого обращения заставили взгляды всех присутствующих устремиться к преподобному мистеру Димсдейлу, питомцу одного из знаменитейших английских университетов, прибывшему в наши дикие лесные края во всеоружии современных знаний с намерением щедро поделиться ими с местным населением. Его красноречие и пылкость веры уже выдвинули его в первые ряды служителей церкви. Внешность его была в высшей степени примечательна: благородный высокий лоб, большие карие глаза, глядевшие с меланхолическим выражением, и губы, в минуты, когда он не сжимал их намеренно, трепетно чуткие и подвижные, что свидетельствовало как о его чувствительности, так и большом запасе самообладания и умения обуздывать свои порывы. Никак не сочетаясь с природными его дарованиями и достижениями в науках, весь вид его в эту

минуту говорил о настороженности, растерянности и даже некотором испуге, какой испытывает человек, который сбился с пути и способен обрести легкость и спокойствие, лишь полностью погрузившись в глубь души своей, почему мистер Димсдейл, когда то дозволяло ему его служение, спешил уединиться в кабинете, где и исследовал туманные закоулки своей души и потайные ее движения, чтобы потом явиться обновленным и свежим, благоухая росной ясностью мысли в своих проповедях, действовавших, как уверяли многие, подобно речи самого ангела небесного.

Таков был молодой человек, коего преподобный мистер Уилсон и губернатор представили на всеобщее обозрение, настоятельно попросив попытаться раскрыть тайну женской души, священной даже в мерзостном осквернении, которому ее подвергли. Двусмысленность и сложность его задачи заставили щеки молодого человека побледнеть, а губы — слегка подрагивать.

— Обратись к этой женщине, брат мой, — сказал мистер Уилсон, — это важно, как сказал высокочтимый губернатор наш, для ее души и тем самым для твоей собственной!

Преподобный мистер Димсдейл склонил голову, как казалось, в безмолвной молитве, после

чего выступил вперед.

— Эстер Принн, — сказал он, перегнувшись через балконные перила и направив взгляд в самую глубину ее глаз, — ты слышишь, что говорит сей благочестивый человек, и знаешь условие, по которому я выполняю долг свой. Если сознаёшь ты, насколько успокоительна и целительна для земного искупления твоего греха, а значит, и для спасения души твоей может быть сия правда, я заклинаю тебя высказать ее, открыв имя согрешившего вместе с тобой и вместе с тобой мучимого сейчас раскаянием. Да не обманут тебя ложно понятая жалость и чувство к нему, ибо, поверь мне, Эстер, с какого бы высокого места он ни сверзился сейчас, встав рядом с тобою на этом позорном помосте, это будет легче для него, чем до скончания дней таить в сердце свою вину! Что может сделать для него твое молчание, кроме как соблазнить, а вернее, заставить усугубить грех еще и лицемерием? Небо даровало тебе откровенный позор, чтобы ты могла тем самым торжествовать победу над злом внутри тебя и скорбью снаружи. Страшись отвести от уст того, кто, возможно, не имеет в себе мужества принять ее, горькую, но целительную чашу, которую сейчас принимаешь ты!

Благозвучный низкий голос юного пастора звенел и прерывался. Не столько смысл его слов, сколько глубокое чувство и искренность, с какою он их произносил, отозвались в сердцах всех слышавших эту речь, вызвав в них единодушное сочувствие. Даже и несчастный младенец, прижатый к груди Эстер, испытал на себе действие этого голоса, потому что взгляд его, дотоле пустой и рассеянный, теперь обратился к мистеру Димсдейлу, а ручками своими ребенок с невнятным, но, видимо, выражавшим удовлетворение курлыканьем потянулся к нему. Такой победительной проникновенностью обладала эта речь священнослужителя, что собравшиеся не могли не поверить в то, что Эстер Принн не замедлит произнести сей же час грешное имя виновника своего позора или же он сам, какое бы положение, низкое или высокое, он ни занимал, сию же минуту ощутит властную и неодолимую потребность подняться на эшафот.

Но Эстер лишь помотала головой.

— Не испытывай границы милосердия Господнего, женщина! — вскричал тоном более резким, нежели ранее, преподобный Уилсон. — Даже дитя твое обрело голос, чтобы подкрепить данный тебе сейчас совет. Выговори это имя, и раскаяние

твое может оказаться достаточным, чтобы снято было с твоей груди алое клеймо!

— Никогда! — отвечала Эстер Принн, глядя не на мистера Уилсона, а в самую глубь смущенных глаз молодого его собрата. — Клеймо это слишком глубоко выжгло мне кожу и въелось в сердце! Вам не снять с меня клейма. И я готова терпеть эту муку за нас двоих!

— Скажи это имя, женщина! — раздался холодный и суровый голос из толпы. — Скажи и подари отца своему ребенку!

— Нет, не скажу! — произнесла Эстер.

Побледнев как смерть, она все же сумела ответить так хорошо знакомому ей голосу:

— А девочка моя пусть уповает на Небесного Отца своего, раз имени отца земного ей не дано узнать!

— Не желает говорить… — пробормотал мистер Димсдейл. Перегнувшись через перила и прижав руку к сердцу, он с волнением ждал ответа женщины, и теперь сделал шаг назад, испустив тяжелый вздох. — Поистине поразительно, сколько сил и великодушия может заключать в себе женская натура! Не желает говорить.

Почуяв безвыходность положения при таком состоянии ума несчастной преступницы, стар-

ший из священников, готовый к подобному развитию событий, обратился к толпе с пространной речью о грехе в разных его обличьях и ипостасях, то и дело возвращаясь к позорному буквенному клейму, его смыслу и цели. Он так ярко живописал его, так долго, с час или более, округлые и громогласные периоды его речи, проносясь над головами, проникали в самую душу каждому и охватывали воображение многих с такой силой, что возникали уже видения самого ужасного свойства, а алый цвет позорного клейма начинал казаться едва ли не порождением адского пламени.

Между тем Эстер Принн оставалась на своем пьедестале позора, сверкая глазами, но всем видом своим выказывая безразличие. В это утро она вынесла все, что только способна вынести природа человеческая; поскольку не в ее характере была привычка избегать страданий, падая в обморок, душа ее могла укрыться, лишь спрятавшись под тяжким и грубым панцирем безразличия, в то время как все физические функции ее организма, оставаясь незатронутыми, действовали в полную силу. В этом состоянии неумолимо грохочущий голос священника не достигал ее ушей. Она пыталась успокоить ребенка, под конец

ее мучительного испытания оглашавшего все вокруг жалобным плачем; делала она это механически, по-видимому, нисколько не сочувствуя ребенку. Все с той же неумолимой суровостью ее препроводили в узилище, и она скрылась из глаз за окованной железом дверью под перешептыванья тех, кто углядел яркий отсвет, которым на секунду озарила темный тюремный коридор сиявшая на ее груди алая буква.

Глава 4
Разговор

По возвращении Эстер Принн в тюрьму, она, как это было замечено, впала в состояние необычного беспокойства и возбуждения, чем заставила тюремщиков следить за ней с особой бдительностью, на случай, если ей вздумается лишить себя жизни или она сгоряча, в припадке безумия, так или иначе повредит ребенку. Поскольку с приближением ночи стало окончательно ясно, что все попытки утихомирить ее уговорами и угрозами тщетны, тюремщик мистер Бракет решил пригласить к ней доктора.

Последнего молва считала весьма искусным во всех видах врачевания, принятых христианским миром, а сверх того, перенявшим у дикарей их науку лечить с помощью целебных лесных трав и кореньев. Надо признать, что совет опытного лекаря в данном случае был и вправду нужен — и не только в отношении Эстер, но и ее младенца, который вместе с материнским молоком, казалось, напитался и ее тревогой, тоской и отчаянием. Ребенок корчился от боли, словно

маленькое его тельце являлось воплощением того страдания, которое в этот день пришлось на долю его матери.

Вслед за тюремщиком в мрачный застенок вошел тот приметной наружности человек, чье появление в толпе так приковало к себе внимание носительницы алой буквы. Он был помещен в тюрьму не как подозреваемый в каком-либо преступлении, но потому что в ней властям было всего сподручнее его держать, пока шли переговоры с индейскими старейшинами о выкупе за него. Звался этот человек Роджером Чиллингвортом. Впустив его в камеру, тюремщик на мгновение задержался в ней, приятно удивленный вдруг наступившей тишиной, потому что, едва увидев этого человека, Эстер Принн совершенно замерла, притом что младенец все еще продолжал плакать.

— Окажи милость, дружище, оставь меня наедине с пациентом, — сказал доктор. — Уверяю тебя, почтеннейший, что сумею внести покой в сей дом и сделать так, чтоб Эстер Принн отныне стала более послушной и покладистой.

— Ну, — отвечал мистер Бракет, — если вы, ваша милость, сумеете этого добиться, я признаю в вас великого и искусного лекаря. По правде

сказать, женщина эта мечется как одержимая, и я уже был готов взяться за плеть, чтобы изгнать из нее дьявола!

Незнакомец вошел в камеру с невозмутимым видом, свойственным людям той профессии, к которой, отрекомендовавшись, себя причислил. Вид этот он сохранил и когда тюремщик ушел, оставив его с глазу на глаз с той, чей взгляд, прикованный к нему в толпе, свидетельствовал о близком их знакомстве. Первой заботой его стала лежавшая на тюремной койке малышка, чьи громкие крики заставляли врача отложить все другое и незамедлительно заняться ею. Он внимательнейшим образом осмотрел ее и затем извлек из-под плаща и раскрыл кожаный саквояж. Внутри оказались какие-то снадобья, одно из которых он размешал в чашке воды.

— Мое изучение алхимии, — заметил он, — и жизнь, которую я более года вел среди людей, искушенных в благотворных свойствах самых обычных растений, превратили меня в лекаря более искусного, чем многие дипломированные врачи. Возьми это, женщина! Пусть ребенок — твой, а не мой — ни по голосу, ни по виду моему не сможет он принять меня за отца, из твоих рук получит это питье!

Эстер отпрянула от чашки с напитком. Лицо ее выразило негодование и тревогу.

— Неужто замыслил ты мстить невинному младенцу? — прошептала она.

— Глупая женщина! — отвечал незнакомец. Голос его звучал холодно, но ровно. — Зачем мне мстить несчастному незаконнорожденному! Это очень хорошее лекарство, и будь это мой ребенок, да, будь он не только твоим, но и моим, я не нашел бы сейчас для него средства лучше.

И так как Эстер все еще не могла взять себя в руки, он сам дал ребенку выпить лекарство. Оно подействовало очень быстро, принеся облегчение. Всхлипы маленькой пациентки стали тише, судороги и метания постепенно прекратились, и через несколько минут, как это бывает у маленьких детей, когда их отпускает страдание, малышка погрузилась в безмятежный сон. Доктор же, вполне доказавший теперь свое право так именоваться, переключил свое внимание на мать. Спокойно и тщательно он посчитал ее пульс, посмотрел в глаза, заставив сердце ее сжаться, таким холодным и чужим показался ей теперь этот некогда столь знакомый взгляд, а проделав все это и, видимо, удовлетворенный осмотром, он принялся готовить другое питье.

— Хоть чудодейственные снадобья, годные на все случаи жизни, мне и неведомы, — сказал он, — но, живя в глуши среди дикарей, я узнал многие их секреты, и вот один из них. Состав этого лекарственного средства раскрыл мне один индеец в награду за те уроки, что я преподал ему, почерпнув их в учении Парацельса. Выпей это! Возможно, снадобье принесет успокоение меньшее, чем принесла бы чистая совесть. Но ею поделиться с тобой я не могу. Однако бурю страстей в тебе лекарство это усмирит, действуя подобно маслу, пролитому на бушующие волны.

Он передал чашку Эстер, принявшей ее из его рук со взглядом строгим и не то чтобы боязливым, но вопросительным. Она покосилась на спящую девочку.

— Я думала о смерти, — сказала Эстер, — и желала бы умереть. Я и молилась бы об этом, если б подобало таким, как я, обращаться к Господу с молитвой. И все же, если чашка эта несет смерть, прошу, прежде чем я отпила из нее, подумай хорошенько. Гляди, вот она уже возле самых губ моих!

— Выпей же, — с прежним хладнокровием отвечал мужчина. — Неужели ты так плохо знаешь меня, Эстер Принн, что считаешь спо-

собным на поступки столь жалкие? Если б даже и таил я в себе мысль о мести, то не лучше ли было бы оставить тебя в живых, нежели давать тебе, с клеймом позора на груди, средство от всех невзгод и страданий?

С этими словами он направил свой длинный указующий перст на грудь Эстер, и от этого жеста алая буква, казалось, разгорелась ярче и жгла с новой силой. Заметив, как содрогнулась Эстер, он улыбнулся:

— А раз так, живи с этой ношей, которая отныне предназначена тебе, и пусть видят твой позор все мужчины и тот, которого звала ты некогда своим мужем, и собственный твой ребенок. В помощь такой жизни прими сейчас этот напиток!

Эстер Принн послушно осушила чашку и по знаку умелого лекаря опустилась на кровать, где спало ее дитя, в то время как мужчина, пододвинув к себе единственный в камере стул, сел возле нее. Не без трепета следила она за всеми этими приготовлениями, чувствуя, что вот сейчас, когда он выполнил все то, что заставили его выполнить либо человеческий долг, либо особая утонченная жестокость, он скажет ей слова, которые только и может сказать глубоко оскорбленный человек.

— Эстер, — сказал он, — я не спрашиваю те-

бя, как могло случиться, что ты сорвалась в эту бездну, а вернее будет сказать, поднялась на эшафот позора, на котором я тебя увидел. Причина проста. Она в моей безумной прихоти и в твоей слабости. Что я, старый книжный червь, потративший лучшие годы в попытках насытить свою неустанную жажду знаний, мог иметь общего с юностью и красотой, подобной твоей красоте! С рождения отмеченный уродством, как мог я заблуждаться напрасно, теша себя мыслью, будто дары ума способны заслонить физическое несовершенство и увлечь собой фантазию юной девушки! Меня считают мудрым, но, будь мудрецы мудрыми и в собственных поступках, я должен был предвидеть все это с самого начала. Я должен был знать заранее, что, выйдя из мрачных и угрюмых лесных дебрей и оказавшись в этом поселении христиан и едва оглядевшись вокруг, я увижу тебя, Эстер Принн, стоящей перед всем честным народом как воплощение позора. Нет, с первого же момента, когда мы, новобрачные, рука об руку спускались по ступеням старой церкви, должен я был заметить зловещий свет, маячивший в конце пути, свет, отбрасываемый огненным знаком на твоей груди!

— Тебе известно, — возразила Эстер, которая

при всей подавленности своей не смогла вытерпеть последнего жалящего укола, — что я всегда была откровенна с тобой, что не скрывала отсутствия в моем сердце любви к тебе и никогда не притворялась.

— Верно. В этом и состояло мое безумие, как я уже признал. Но до той поры жизнь моя была пустой, а мир вокруг казался таким безрадостным. Сердце мое, готовое вместить столь много, стыло в одиночестве, не согретое теплом домашнего очага. Я так мечтал разжечь в нем огонь! Разве такой уж нелепой была надежда, что простое счастье, доступное всем людям, возможно и для меня, пожилого, угрюмого уродца. Вот почему, Эстер, я впустил тебя в свое сердце, в самую потаенную глубь его, мечтая согреть тебя ответным теплом.

— Я поступила с тобой очень дурно, — пробормотала Эстер.

— Мы оба поступили очень дурно в отношении друг друга, — отозвался он. — И первым это сделал я, когда осквернил твою расцветшую юность, втянув ее в странный, противоестественный союз с моим увяданием. И потому я, как человек, недаром много лет посвятивший размышлениям и философии, не строю никаких планов мести.

Мы с тобой квиты, и обиды наши на чашах весов уравновешены. Однако, Эстер, на свете живет человек, дурно поступивший с нами обоими! Кто он?

— Не спрашивай меня! — отвечала Эстер Принн, гордо и прямо глядя ему в глаза. — Этого ты не узнаешь никогда!

— Не узнаю, говоришь? — подхватил он с угрюмой улыбкой. — Никогда не узнаю? Поверь, Эстер, не много есть предметов в мире видимом, а также в невидимом глазу мире мысли, которые не открылись бы человеку, до конца и без остатка посвятившему себя разгадке тайны! Ты можешь прятать свой секрет от назойливого любопытства толпы. Можешь утаивать его от служителей церкви, от судей, даже если бы они захотели вырвать у тебя признание силой и поставить сообщника рядом с тобой на эшафоте. Но я начну дознание иначе и с чувствами, им неведомыми. Я стану искать этого человека, как искал истину в книгах, и почувствую его приближение, ибо между нами есть сродство и внутренняя связь. Мне передастся его дрожь, и я содрогнусь сам, внезапно и нежданно. Рано или поздно он окажется у меня в руках!

Глаза на морщинистом лице ученого мужа

так сверкнули, что Эстер Принн прижала руки к сердцу из страха, что он сможет прочесть таящееся там имя.

— Так не откроешь мне его имя? Это его не спасет! — заключил он так уверенно, будто не сомневался в том, что сама судьба толкнет злодея в его руки. — Пусть и не носит он в отличие от тебя позорного знака на своей одежде, знак этот запечатлен у него в сердце, и, будь уверена, я сумею его прочесть. Но не бойся за него. Не думай, что я вознамерился вмешиваться в правосудие Божье и забирать себе золото — в алхимии. У Неба есть право на наказание, которому, несомненно, он подвергнется. Равно не собираюсь я брать на душу грех, передавая его власть предержащим и вершителям суда человеческого. Не воображай, что я замыслил лишить его жизни или репутации человека достойного, которой он, как я понимаю, обладает. Пусть себе живет и благоденствует! Пусть наслаждается, если ему это удастся, пустыми почестями. Все равно он попадет ко мне в руки!

— Ты поступаешь, по видимости, милосердно, — сказала испуганная Эстер. — Но такое милосердие наполняет мое сердце ужасом!

— Об одном только я попрошу тебя, бывшую

мою жену. Ты, хранящая в секрете имя своего любовника, сохрани также и мое! В этом краю ни одна душа его не знает. Так пусть же ни одна душа не узнает и от тебя, что было время, когда ты называла меня мужем. Здесь на этой дикой окраине мира я разобью свой шатер и обрету пристанище, ибо в других местах я всего лишь странник, чуждый всему, что занимает людей на земле, в то время как здесь обитают женщина, мужчина и ребенок, связанные со мной тесными узами, не важно, любви или ненависти, добра или зла! Ты сама и все, что связано с тобой, принадлежите мне, Эстер Принн. Мой дом там, где живешь ты и где живет он. Но не выдай меня!

— Зачем это тебе? — спросила Эстер. Неизвестно почему тайный этот договор пугал ее, заставляя сжиматься сердце.

— Возможно, затем, — отвечал он, — что не желаю я запятнать себя бесчестьем именоваться мужем неверной жены. А возможно, причина и не в этом. Тебе довольно будет знать, что цель моя — жить и умереть в безвестности. И потому пусть все вокруг считают, что муж твой умер, так и не подав о себе вестей. И не выдай меня отныне ни словом, ни жестом, ни даже взглядом. А особенно страшись выдать эту тайну человеку, с которым

была в связи. Если же ты нарушишь это условие, берегись! Его репутация, положение, сама жизнь его будут в моих руках! Берегись!

— Я сохраню твою тайну, так же как сохраняю его, — сказала Эстер.

— Поклянись! — потребовал он.

И она произнесла клятву.

— Ну а теперь, миссис Принн, — произнес престарелый Роджер Чиллингворт, как он отныне будет именоваться, — я оставлю тебя наедине с твоим ребенком и алой буквой. Как велено тебе, Эстер? Обязал ли тебя приговор не снимать знака этого и во время сна? Не одолевают ли тебя тогда ужасные видения и кошмары?

— Зачем ты так изводишь меня насмешками? — в отчаянии воскликнула Эстер. — Может, ты как тот Черный Человек, что бродит по окрестным лесам? Может, ты выманил у меня это обещание, чтобы уж наверняка погубить мою душу?

— Не твою душу! — отвечал он, вновь улыбнувшись. — Нет, не твою!

Глава 5
Эстер за рукоделием

Окончился срок тюремного заключения Эстер Принн, и двери тюрьмы распахнулись, выпустив ее на солнечный свет, равно светящий всем и каждому в этом мире, но, как показалось больному измученному ее воображению, имеющий лишь одну цель — поярче осветить алую букву на ее груди. Быть может, первые ее шаги, когда, всеми покинутая и одинокая, ступила она за порог тюрьмы, дались ей тяжелее и показались мучительнее пути на эшафот и уже описанного нами ее пребывания там, когда выставлена она была на позор, чтоб каждый мог показывать на нее пальцем. Тогда помощью ей явились необыкновенная жизнестойкость и неукротимая сила духа, позволившие превратить это постыдное событие в своеобразное мрачное торжество. К тому же стояние на эшафоте было случаем совершенно особым, из тех, какие встречаются в жизни только раз, а потому, чтобы пережить их, можно и нужно призвать на помощь все свои силы, предназначенные служить человеку до

конца его дней.

Самый закон, осудивший ее, этот безжалостный гигант, при всей строгости и суровости своей умеющий не только карать железной рукой, но и поддержать в нужную минуту, помог ей тогда вынести муку позора. Теперь же одинокий выход ее из тюремных врат знаменовал собой начало обычной жизни, вести которую можно было лишь опираясь на обычные свои каждодневные возможности, и ей предстояло либо терпеливо сносить эту жизнь, либо пасть под ее тяжким бременем. Заимствовать у будущего, чтобы как-то продержаться сейчас, в настоящем, она не могла. Завтрашний день сулил лишь новые испытания, как и послезавтрашний, и следующий за ним, — все они не меньше нынешнего будут безмерно печальны, заставляя скорбеть, что родилась на свет; и придется ей нести тяжкую ношу без всякой надежды когда-либо сбросить ее, и скорбь, помноженная на стыд, будет все тяжелее. На все уготованные дни ей суждено превратиться лишь в безликий символ, на который будут указывать пальцем священники и моралисты, видя в ней живой пример и яркое воплощение женской слабости и грехопадения. Юных и чистых научат видеть в ней, женщине с алым знаком позора

на груди, в ней, дочери почтенных родителей, в ней, матери младенца, которому тоже предстоит стать женщиной, в ней, тоже некогда бывшей чистой и невинной, всего лишь порождение, орудие и образ греха. И надгробным памятником ей станет один позор, который будет неотступно преследовать ее, сопроводив и в могилу.

Может показаться удивительным, что в то время как перед ней был открыт весь мир, поскольку условия приговора не запрещали ей покидать пределы далекого, затерянного в глуши пуританского поселения, — она была вольна вернуться в родные края или же предпочесть им любую другую страну, где, приняв новое имя и новый облик скрыть свою личность и начать жизнь поистине новую, притом что убежищем ей могли стать и дикие лесные дебри вокруг, где легко было бы ей затеряться среди тамошних жителей, чьим обычаям чужды были осудившие ее законы, — удивительным могло показаться то, что женщина эта предпочла считать своим домом место, где ее подвергли позору. Но существует некая неизбежность, чувство столь властное, что сопротивляться ему бессмысленно. Чувство это, заставляющее нас подозревать в нем нечто роковое, влечет человека туда, где произошло

знаменательное, перевернувшее всю жизнь его событие, оно и понуждает бродить как тень там, где это случилось, и оставаться там либо возвращаться туда вновь и вновь. И чувство это тем сильнее и неодолимее, чем мрачнее было событие, его породившее. Грех Эстер и ее позор вросли корнями в эту землю, связав ее с этой землей воедино. Это стало как бы вторым рождением, более прочно, нежели первое, связавшим ее с землей, где это рождение произошло, превратившим для Эстер Принн лесной край, казавшийся таким неприветливым первым его поселенцам — пилигримам, в родной и единственный для нее дом. Все другие земные пейзажи, даже картины сельской Англии, места, где проходило ее детство и непорочное девичество, она словно передала на хранение матери, в сундук памяти — так убирают подальше старые, уже ненужные платья; пейзажи эти были ей теперь чужды в сравнении с картинами новыми. Звенья привязавшей ее к этому месту железной цепи жгли и жалили в самое сердце, но разорвать эту цепь было невозможно.

К тому же, а несомненно, так оно и было, хоть и скрытым оставалось от нее самой, а выползая подобно змее из гнезда, из самой глубины ее серд-

ца, неизменно заставляло Эстер бледнеть, жило в ней и другое чувство, делавшее ее пленницей этих мест. Здесь жил, ступая по этой земле, тот, которого она полагала связанным с ней союзом, непризнанным на земле, но предназначенным в день Страшного суда привести их рука об руку к алтарю небесному, чтобы связать их на веки вечные для совместного искупления. Вновь и вновь искуситель душ человеческих соблазнял ее этой идеей, потешаясь той отчаянной радостью, с какой она хваталась за нее, чтоб потом тут же пытаться ее отринуть. Она тщетно пыталась избавиться от нее, заталкивая поглубже, в тайники души. То, в чем она заставляла себя видеть причину своего продолжающегося пребывания в Новой Англии, было наполовину правдой и наполовину самообманом. Здесь совершила она грех и здесь же должна понести земное свое наказание стыдом, ежедневная мука которого постепенно очистит ее душу, возвратит утерянную чистоту, освященную страданиями, которая станет еще чище, чем прежде.

Вот потому Эстер Принн и не покидала этих мест. На окраине поселения, на полуострове, отделенный от всех других жилищ находился крытый соломой домишко. Прежний его обитатель, вы-

строив дом, вскоре его оставил, удрученный как бесплодием окружающей не поддающейся обработке земли, так и невозможностью общения с людьми, уже вошедшего в привычку у первых поселенцев. Дом стоял на берегу, открывая вид на море и на лесистые склоны гор к западу. Рощица кургузых низкорослых деревьев, какие только и могли выжить на том полуострове, не столько скрывала этот домик от посторонних, сколько намекала на то, что есть в нем что-то, что видеть нежелательно, а может, даже предосудительно. В этом тесном и одиноком домишке на скромные свои сбережения и с разрешения властей, не спускавших с нее глаз, и поселилась Эстер Принн с ребенком, моментально придав этому месту оттенок печальной сомнительности. Дети, слишком маленькие, чтобы понять причину неблагосклонного отношения местных жителей к этой женщине, подкрадывались к дому и видели ее фигуру у окна, склоненную над шитьем, или же стоящую в дверях, или занятую работами в маленьком садике, или же бредущую по тропе к поселку; различив алую букву на ее груди, они тут же разбегались, охваченные непонятным страхом.

Та, у которой не было никого, кто осмелился бы

появиться с ней рядом, тем не менее не бедствовала, ибо владела искусством, которое даже в этом суровом краю всегда могло прокормить ее саму и не знавшего горя ее ребенка. Это было тогда, как и теперь, единственное доступное женщине искусство рукоделия. Буква на ее груди, так мастерски и с такой выдумкой украшенная причудливым орнаментом, служила отличным и наглядным образчиком умения, которым с удовольствием воспользовались бы и придворные дамы, не побрезговавшие бы добавить к своим богатым расшитым золотом нарядам то или иное полное изящества украшение, вышедшее из-под ее рук. Конечно, угрюмая простота, столь характерная для пуританской моды, заставляла колонисток редко прибегать к услугам Эстер. Но вкусы эпохи, тяготевшие к самым искусным произведениям такого рода, не могли не повлиять на наших суровых предков, о чем свидетельствуют и многие из сохранившихся с того времени нарядов — видимо, трудно оказалось совсем уж не поддаться искушению. Публичные церемонии, сопровождавшие, например, посвящение в духовный сан или приведение к присяге новоиспеченных судей — словом, все, что могло подчеркнуть торжественность момента, когда важное лицо является

перед народом, из соображений политических выполнялось в формах хорошо продуманных и исполненных мрачноватой роскоши. Пенистые сборки брыжей, узорчатые ленты перевязей, украшенные богатой вышивкой перчатки считались необходимейшей принадлежностью облеченных властью государственных мужей; ношение их людьми, отмеченными богатством или высоким статусом, поощрялось, в то время как людям простым подобные излишества закон запрещал. На церемониях похорон — как для убранства покойника, так и для нарядов скорбящих, создания многообразных ухищрений, подчеркивающих мрачность траурной одежды или белоснежную чистоту ее, — для всего требовалось искусство Эстер Принн. Детская одежда, которой в те времена придавали большое значение, также давала ей возможность заработать на жизнь своим трудом.

Постепенно, но довольно скоро работы Эстер Принн вошли в моду. Из сочувствия ли к женщине, чья судьба сложилась так несчастливо, или из извращенного любопытства, наделяющего подчас ложным значением вещи самые простые и незначительные, а может, и по какой-то другой неуловимой причине, которой раньше, как и

теперь, иногда оказывается достаточно, чтобы кто-то вдруг получил то, чего другой добивается долго, но тщетно, или же просто потому, что Эстер действительно по праву заняла место, на которое ни у кого не было права, но Эстер вскоре стала получать столько заказов, сколько могла и хотела выполнить. Возможно, чье-то тщеславие находило особое удовольствие наряжаться для торжественных случаев в пышные наряды, выполненные руками грешницы, видя в этом как бы знак смирения, но работы Эстер украшали и брыжи губернатора, и перевязи людей военных, и облачения священников, и чепчики младенцев; они истлевали на телах покойников в гробах. Но никогда ее вышивка не украшала белоснежную фату невесты. Исключение это служит доказательством беспощадной суровости, с какой общество продолжало осуждать ее грех.

Эстер не стремилась к большому заработку. Собственная ее одежда всегда была из самой грубой и простой темной ткани, украшенной одной лишь алой буквой, носить которую ей повелел рок. Зато одежда, которую она шила ребенку, отличалась несомненной и причудливой изысканностью, подчеркивающей то впечатление неуловимой воздушной прелести,

которое так рано стала производить внешность подрастающей девочки. Одевая так ребенка, Эстер могла преследовать и иную цель. Но об этом позже. Кроме этого маленького излишества, которое она тратила на наряды ребенка, все, что не требовалось для пропитания, Эстер отдавала на нужды благотворительности, одаривая тех, кто был, возможно, менее несчастен, чем она, и кто подчас оскорблял протянутую ему руку помощи. Много часов, которые она охотнее бы посвятила упражнениям в своем искусстве, она отдавала изготовлению простой и грубой одежды для бедняков. Вероятно, она видела своеобразное искупление в том, что занимается столь грубой работой, вместо того чтобы с тихой радостью предаваться любимому делу. Питая страстную, по-восточному безудержную любовь ко всему прекрасному, она была лишена возможности удовлетворить ее чем-нибудь иным в жизни, кроме занятия тонким рукоделием. В этом занятии выражалась и исчерпывала себя страстность ее натуры. И Эстер подавляла в себе эту страсть, считая удовлетворение ее, как и прочие радости, чем-то греховным. Эта борьба с самой собой, с неуловимыми движениями души своей, нам, как это ни прискорбно, видится чем-то противоесте-

ственным, чрезмерным и отнюдь не покаянным.

Итак, Эстер Принн получила возможность быть причастной жизни вокруг. Обладая природной энергией и столь редким талантом, она не могла быть полностью отвергнута обществом, пометившим ее, однако, зна́ком, сильнее чем каинова печать. Всякое ее соприкосновение с жизнью вокруг заставляло ее вновь и вновь ощущать свою чужеродность. Каждый жест, каждое слово или даже молчание тех, с кем она вступала в общение, намекало или даже впрямую показывало ей, что она изгой и отделена от всех прочих, словно прибыла из иных сфер или обладает телом и органами чувств иными, чем у остальных. Оставаясь чуждой им, их законам и правилам, она находилась рядом с ними, как бесплотный дух, прилетевший к родимому очагу, но невидимый и неслышимый, не способный более ни разделить с домашними их радости и улыбнуться вместе с ними, ни скорбеть с той же печалью, что и они. А если б и удалось этому невидимке как-то проявить к ним сочувствие, это вызвало бы в людях лишь ужас и отвращение. Вот и ее уделом, кажется, стало теперь вызывать у окружающих лишь эти чувства вкупе с толикой горького презрения. Тогдашний век не отличался особой деликатно-

стью, и положение ее, о котором она никогда не забывала, всякий раз старались ей еще и напомнить, сделать наглядным, чем вызывали острый приступ боли, бередя незажившую рану. Облагодетельствованные ею бедняки, как мы уже упоминали, оскорбительно отталкивали ее руку, когда она пыталась им помочь. Высокородные дамы, в чьи дома приводило Эстер ее занятие, имели привычку то и дело огорчать ее язвительными, полными тайной злобы уколами, этой алхимией ядовитых брошенных как бы вскользь намеков или даже открытых выпадов, в которой так искушены женщины и которая действует на измученное страданием сердце подобно горстке соли, брошенной на открытую рану. Эстер научилась держать себя в руках и отвечала на эти проявления злобы лишь краской, вдруг неудержимо заливавшей ее обычно бледные щеки, после чего еще глубже замыкалась в себе.

Жестокий неумолимый приговор, вынесенный ей пуританским судом, мучил Эстер Принн тысячью разнообразных способов. Священники останавливались на улице, чтобы обратиться к ней со словами увещевания, что неизменно собирало вокруг толпу — хмурую, но тут же принимавшуюся осыпать насмешками несчастную

грешницу. Когда она входила в церковь с надеждой увидеть обращенную и к ней субботнюю улыбку Творца, о ней и о ее грехе нередко начинали говорить с амвона. Она стала бояться детей, потому что те, не зная, в чем она провинилась, заразились от родителей подозрительным к ней отношением и смутно чувствовали, что с этой женщиной, молча, скорбно и всегда одиноко, если не считать ребенка, проходящей по улице, связано что-то страшное. Дав ей сперва пройти и удалиться на достаточное расстояние, они начинали преследовать ее, громко выкрикивая слово, ничуть не терявшее для нее своего оскорбительного смысла оттого, что произносили его невинные, не ведающие этого смысла детские уста. Казалось, позором ее полнится воздух и сама природа вопиет о нем — о грехе ее шелестит листва, шепчет летний ветерок, ревет зимняя буря. Еще одной, особой мукой становились для нее взгляды людей несведущих, незнакомых с ее историей. Когда при встрече те с любопытством бросали взгляд — а они непременно это делали — на алую букву на ее груди, страдание охватывало ее с такой силой, что ей стоило большого труда не прикрыть букву рукой. Но и привычные взгляды, брошенные на этот знак людьми местными,

были для Эстер по-своему мучительны. Холодная обыденность этих взглядов невыносимо терзала ей сердце. Короче говоря, му́ка от постоянно обращенных на нее взоров не оставляла Эстер никогда; она не притуплялась, а наоборот, с каждым днем становилась все острее. Но иногда, хоть и очень редко, может быть, раз в несколько месяцев, Эстер ловила взгляд, брошенный на позорную ее отметину, который, как ей вдруг начинало казаться, приносил облегчение — словно человек этот брал на себя часть ее ноши. Но тут же боль возвращалась и даже усиливалась, словно мстила за грех минутной паузы. Но одна ли Эстер согрешила?

Необычные и мучительные переживания, которые уготовила ей судьба, не могли не повлиять на ее воображение, и, будь Эстер не столь крепкой духом или же не обладай она столь развитым умом, влияние это было бы еще больше. Но, меряя шагами свое одинокое жилище, свой маленький мирок, в который была заключена, Эстер не могла отрешиться от странного ощущения, будто алая буква на ее груди одарила ее особой проницательностью, став как бы новым органом чувств, умеющим распознавать грех в душах других людей. Верить в это ей было страшно, однако

не верить она не могла, и открытия, ею таким образом совершаемые, наполняли сердца ужасом. Что это? Уж не злой ли дух, жертвой которого она наполовину стала, нашептывает ей помимо ее воли, что чистота — это всего лишь внешний покров, ложь, отбросив которую увидишь пылающую алую букву не только на ее, Эстер Принн, груди, но и на груди многих и многих? Неужели должна она поверить этим смутным, но таким настойчивым откровениям и признать их правдой? Из всех ее ужасных переживаний это было самым страшным.

Оно озадачивало и пугало, являясь вдруг в обстоятельствах самых неожиданных, но являясь ясно и отчетливо. Бывало, алый позор на ее груди вдруг начинал подрагивать и трепетать, когда она встречала достойного деятеля церкви или судью, известного своим благочестием и справедливостью, человека, которого окружающие почитали чуть ли не ангелом. «С каким злом столкнула меня судьба?» — мысленно вопрошала Эстер. И, нехотя подняв глаза, не видела никого доступного зрению, кроме этого ангела во плоти. Или же ей чудилась странная общность между нею и какой-нибудь почтенной матроной, женщиной, как считалось, самых строгих правил,

на протяжении всей своей жизни хранившей снежный холод в сердце. Что между ними может быть общего? А иногда электрическим ударом проносилось в мозгу: «Смотри, Эстер! Вот твоя подруга». Подняв взгляд, она встречалась глазами с юной девушкой, робко поглядывающей на алую букву и, тут же заливаясь краской, отворачивающейся от нее, будто чистоту ее мог осквернить этот мимолетный взгляд. О враг рода человеческого, чьим талисманом стал этот роковой знак, неужто не оставишь ты несчастному грешнику, юному или в зрелых летах, ничего, что мог бы он счесть достойным почитания? Такая утрата веры была бы самым печальным из всех последствий греха. Так пусть же доказательством того, что жертва собственной слабости и жестокого закона Эстер Принн не окончательно испорчена, станет настойчивость, с какой она пыталась продолжать верить, что нет более великой грешницы на этой земле.

Простые люди, склонные в те мрачные времена к ужасным историям, рассказывали историю Эстер Принн так, что нам она теперь видится страшной легендой. Они не желали признавать в алой букве всего лишь выкрашенную в обыкновенной посудине тряпку, а считали ее по-

рождением адского пламени и утверждали, будто ночью, когда Эстер проходит мимо, буква на ее груди вспыхивает и светится красным светом. Надо сказать, что знак этот опалял грудь Эстер такой болью, что, может быть, стоит и признать некоторую правоту подобного рода толков.

Глава 6
Перл

До этой поры мы мало говорили о ребенке, невинном создании, плоде неукротимой греховной страсти, явившемся на свет по непостижимой воле Провидения чудесным неувядаемым цветком. Убитая горем женщина с изумлением замечала, что с каждым днем красота этого цветка становится все ослепительнее, а ум освещает тонкие черты ребенка все ярче и явственнее. Ее Перл! Так назвала она девочку, и не потому, что видом своим та напоминала жемчужину и имела сходство с бесстрастной сияющей безупречной прелестью красотой. Нет, имя девочки говорило лишь о том, какую непомерную цену заплатила мать за нее, отдав все, что у нее было, за это единственное сокровище.

Поистине странно! В то время как люди пометили ее грех алой буквой, так страшно и трагически перевернувшей всю ее жизнь, буквой, обладающей силой запретить всем людям, кроме таких же грешников, как Эстер, выражать ей сочувствие, Господь даровал ей за постыдный грех прелест-

ное дитя, поместив его на опозоренную грудь и показав тем самым, что всякому, связанному с родом человеческим, может быть обещано райское блаженство. Однако такие мысли внушали Эстер не столько надежду, сколько опасения. Зная, что поступила дурно, она не могла верить в то, что плод ее греха может оказаться добрым плодом. День за днем она со страхом вглядывалась в ребенка, следила за его ростом, за тем, как развивается его натура, боясь обнаружить в ней какой-нибудь темный порок — следствие того греха, которому девочка была обязана своим рождением.

Но было ясно, что никаких физических недостатков ребенок не имел. Безупречно стройная фигурка, сила и ловкость, с какими она управлялась со своими еще не развитыми руками и ногами, делали девочку существом поистине небесным; она могла бы резвиться среди ангелов, оставаясь в саду Эдема и после того, как оттуда были изгнаны наши прародители. Ребенок обладал природной грацией, не всегда сопутствующей даже безупречной красоте, а одежда девочки удивительно шла ей и неизменно была ей к лицу. Простых деревенских платьев маленькая Перл не носила. Мать с непонятным упорством шила ей

одежду из самых богатых тканей, какие только можно было достать, и вкладывала всю свою душу, украшая и отделывая наряды девочки. Так блистательна была эта роскошно одетая фигурка, так замечательно оттеняли наряды собственную красоту девочки, что свет этой красоты, окружавший Перл словно ореолом, казалось, отбрасывал отблеск и на темный пол их жилища. Но и в коричневом платьице, порванном и испачканном в буйных детских забавах, Перл была не менее прелестна. Внешность ее обладала удивительной изменчивостью, словно в одном ребенке заключалось сразу несколько детей, от хорошенькой крестьянской простушки до изысканной, полной достоинства наследной принцессы. Но в каждом из этих обликов проглядывала страсть, и все они ослепляли удивительной яркостью, а без этой яркости, бледная и блеклая — это была бы уже не Перл.

Внешняя изменчивость соответствовала богатству ее натуры, как нельзя лучше ее выражая. Характер девочки наряду с разносторонностью обладал и глубиной, но в нем отсутствовало, если только Эстер не напрасно тревожилась, умение приспосабливаться к внешнему миру. Дитя не хотело признавать его правил и установлений.

Рожденный в нарушение великого закона ребенок представлял собой существо с характером, черты которого, может быть, прекрасные или даже блистательные, находились в сумбурном состоянии, общий же узор, который они составляли, обнаружить было бы крайне затруднительно или же попросту невозможно. Эстер объясняла характер дочери тем состоянием, в котором пребывала сама в то время, когда из материи духовной еще только создавалась душа Перл, а из материи физической формировалось ее тело. Нарождавшейся душе ребенка, при всей первоначальной белоснежной чистоте ее элементов, суждено было пройти через горнило страсти, оставившей на ней свой отпечаток — отсюда и яркие всполохи ее натуры, золотые блестки вперемежку с черными тенями, вся эта сумятица красок, которой была отмечена Перл. А более всего сказалась в ней душевная буря, которую тогда пришлось испытать ее матери. Как в зеркале, Эстер теперь видела в ее характере отражение своего неукротимого нрава, отчаянного вызова, который она бросала миру, переменчивости настроения и даже облаков уныния и подавленности, омрачавших тогда ее душу. Сейчас все это освещалось утренним светом юной безмятеж-

ности, но потом, с приближением полуденной зрелости, могло грозить штормами и вихрями.

В те дни в семьях придерживались дисциплины более строгой, нежели теперь. Насупленные брови, резкий окрик, частое применение розги, подкрепленные еще и авторитетом Священного Писания, использовались не просто в качестве наказания за проступки, но и как полезное средство воспитания в ребенке необходимых добродетелей. Однако Эстер Принн, в одиночку воспитывавшая своего единственного ребенка, не могла погрешить излишней строгостью в отношении дочери. Памятуя при этом о собственных ошибках и несчастных заблуждениях, она поначалу старалась нежно, но твердо контролировать поведение ребенка, надзирая за бессмертной душой, вверенной ее попечению. Но задача эта оказалась ей не под силу. Ни добрые улыбки, ни нахмуренные брови не производили на ребенка должного действия, и Эстер вынуждена была самоустраниться, дав возможность ребенку стать игралищем собственных страстей и инстинктов. Прямое принуждение или же запреты, конечно, сдерживали девочку, но ненадолго. Другие же меры, обращенные скорее к уму или сердцу, могли достигать или не достигать цели

в зависимости от настроения Перл в данный момент. Матери Перл, когда девочка была еще совсем маленькой, был уже хорошо знаком тот особый взгляд, который бросала на нее дочь и перехватив который мать понимала, что настаивать, убеждать и даже молить в данном случае дело пустое. Этот строптивый взгляд, умный, но в то же время необъяснимо странный, а иногда и с недобрыми огоньками, вызывал в душе Эстер даже некоторые сомнения — уж подлинно ли человеческое это дитя. Может, это призрак, неуловимое видение — вот сейчас начудит, поиграет в странные свои игры, а потом насмешливо улыбнется и исчезнет. Всякий раз, как в черных блестящих глазах девочки появлялось это выражение, она становилась странно чужой, далекой, неуловимой. Она словно реяла в воздухе, вот-вот улетит, растворится искоркой, неизвестно почему возникшей и куда исчезнувшей. И какая-то неодолимая сила бросала тогда Эстер к ребенку, ей хотелось поймать и удержать этого эльфа, уже изготовившегося к полету, схватить его и крепко прижать к груди, осыпать поцелуями — не столько из любви, сколько из желания убедиться в том, что Перл настоящая, из плоти и крови, ребенок, а не иллюзия, не обманчивое видение.

Но смех Перл, когда мать, поймав, заключала ее в объятия, такой веселый, мелодичный, лишь увеличивал сомнения.

Озадаченная, удрученная этим странным непониманием, непреодолимой преградой, все чаще возникавшей между нею и ее единственным, так дорого доставшимся ей сокровищем, Эстер, бывало, разражалась рыданиями. То, как часто это случалось, сказать невозможно, ибо поведение Перл было непредсказуемым, девочка хмурилась и, сжимая кулачки, глядела на мать — пристально, строго и недовольно. Она могла вдруг вновь рассмеяться, громче прежнего, словно доказывая свою бесчувственность и полную неспособность к жалости. А нередко ее тело вдруг начинали сотрясать горькие рыдания, в которых она изливала свою дочернюю любовь. Этими рыданиями и невнятными уверениями она словно хотела доказать, что у нее есть сердце, готовое сейчас разорваться. Однако поверить в прочность нежных чувств, питаемых к ней дочерью, Эстер было бы затруднительно, ибо порывы их были мимолетны и проходили так же внезапно, как возникали. Размышляя обо всем этом, Эстер чувствовала нечто подобное чувствам человека, сумевшего по какой-то случайности вызвать

призрак, но так и не узнавшего ключевого слова, дающего ему власть над этим новым, так и оставшимся непостижимым существом. Единственно отрадными для нее были часы, когда ребенок мирно и спокойно спал. Тогда мать, обретая некую уверенность, приободрялась и могла наслаждаться безмятежным счастьем, пока ребенок не открывал глазки и в них не зажигался вдруг строптивый огонек — все, малютка Перл проснулась!

Вскоре — и с какой же поразительной скоростью! — Перл достигла возраста, когда дети готовы вступать в общение иное, чем только с матерью, и требуется им больше, чем всегда готовая для них материнская улыбка и милые бессмысленные ласковые слова. Каким же счастьем было бы для Эстер, если б в птичьем гомоне звонких голосов играющих детей могла бы она различить голос любимой своей дочурки! Но и в мире детей Перл была изгоем. Дьявольское отродье, символ и порождение греха, она не имела права находиться среди детей благочестивых христиан. И поистине удивительным было, как нам это представляется, внутренним чутьем она понимала, что сама судьба начертала вокруг нее непреодолимый круг и обрекла ее на

одиночество; словом, Перл отлично осознавала особенность своего положения и отличие свое от всех других детей. С самого освобождения Эстер из тюрьмы любой взгляд, направленный на нее и ее букву, неизбежно задевал и Перл, ибо, когда Эстер выходила в город, девочка непременно была с ней — вначале на ручках, а после, крепко ухватившись за ее палец, семенящая рядом — четыре шажка против материнского одного. Перл видела местных детей на травянистых лужайках возле дороги или у порога их жилищ, видела, как те играли в свои негромкие, как то предписывал им суровый пуританский обычай, игры — разыгрывая сцены то богослужения, то расправы с квакерами или стычки с индейцами и снятия с них скальпов, то каких-то неведомых, но страшных колдовских обрядов. Внимательно глядя на все это, Перл не делала попыток познакомиться. Если с ней заговаривали, она молчала. Ну а если, как бывало иногда, дети окружали ее, Перл охватывала настоящая ярость, и она швыряла в них камни, испуская дикие пронзительные крики, от которых мать бросало в дрожь, так похожи они были на заклятия ведьмы, произнесенные на каком-то никому не известном языке.

Правда и то, что маленькие пуритане, принад-

лежавшие к племени, превосходящему все другие своей нетерпимостью, смутно чувствовали в матери и ребенке что-то неведомое, иноземное, чуждое привычным нравам и отличное от них и потому считали их достойными презрения и даже брани, подчас срывавшейся с их уст. Перл отвечала им яростной злобой, кипевшей в детской ее груди. Проявления этой злобы, вспышки ярости приносили матери Перл даже своеобразное успокоение как более понятные, чем приступы своеволия и капризов, так часто ставившие ее в тупик. Но все же ее охватывал ужас, когда в них она различала туманную тень зла, некогда гнездившегося в ней самой. Перл унаследовала страсть противостоять всему и вся, которой в свое время переполнялось сердце Эстер. И мать, и дочь одинаково были отделены от всех и заключены в круг одиночества. В характере Перл наблюдалась та же нестройность, та же сумятица чувств, которая некогда, до рождения дочери, совлекла с пути истинного и Эстер, но потом под благотворным влиянием материнства как-то упорядочилась и утихомирилась.

Находясь дома или вблизи, Перл особо и не нуждалась в знакомствах. Деятельный творческий дух ее умел, оживляя все вокруг, общаться с

тысячью разных предметов. Так горящий факел поджигает все, к чему его ни поднесешь. Предметы, самые, казалось бы, неподходящие — палка, свернутая тряпка, цветок, никак не меняя своего облика, становились куклами Перл, персонажами действа, разыгрываемого на подмостках ее фантазии. Ее детским голоском говорили все эти разнообразные — молодые и старые — воображаемые персонажи. Торжественно вздымающим свои потемневшие стволы старым соснам, печальным вздохам и стенаниям ветра ничего не стоило преобразиться, как это виделось ее воображению, в престарелых пуритан, а выросшим в их садике безобразным сорнякам — в пуританских детей, которых Перл наказывала, безжалостно топча и вырывая с корнем. Нескончаемо разнообразна была эта череда форм, которых наделял жизнью неутомимый ум девочки, никак не упорядоченный образованием, но ярко вспыхивающий блестками в бурной своей активности. После таких игр девочка падала в изнеможении, но, едва отдохнув, принималась вновь придумывать, населяя мир вокруг фантасмагорией новых образов, вспыхивающих и гаснущих сполохами северного сияния. Такие вспышки фантазии и бурной энергии воображения мало отличали

бы Перл от других одаренных детей, не считая, конечно, того, что, за неимением настоящих товарищей для игр, ей приходилось их выдумывать, полагаясь лишь на собственное воображение, но существовало и еще одно отличие. Заключалось оно в том чувстве враждебности, которое испытывала Перл к порождениям своего ума и сердца. Ни разу в своих играх не создала она себе друга. Словно зубы дракона сеяла она во время игр, чтобы, вырастив армию вооруженных врагов, ринуться в битву с ними. Было бесконечно грустно — и особенно грустно для матери, винившей в этом одну себя, — наблюдать в существе столь юном ясное понимание враждебности окружающего мира и необходимости упражняться и копить силы для противостояния и борьбы с ним, борьбы, которая назревает и непременно будет.

Глядя на дочь, Эстер Принн нередко бросала шитье и заливалась слезами, давая выход своей мучительной тоске в прерывистом, стонущем бормотании: «Отец мой Небесный, если ты все еще мой Отец, скажи, что за существо принесла я в этот мир?» И Перл, услышав эти тоскливые звуки или каким-то иным, более тонким, образом почувствовав страдание матери, обращала к ней свое выразительное прекрасное личико

и понимающе улыбалась улыбкой эльфа, после чего возвращалась к игре.

Следует сказать и еще об одной особенности в поведении девочки. Первым, что привлекло ее внимание в этом мире, было — что бы вы думали? Нет, не улыбка матери, вызывающая обычно у младенца ту первую его полуулыбку, которую потом долго обсуждают, сомневаясь, действительно ли можно назвать улыбкой эту гримасу. Ничуть не бывало! Первым пробудившим интерес Перл предметом, видимо, оказалась — страшно сказать! — алая буква на груди Эстер! Однажды, когда мать склонилась над колыбелькой, младенец, привлеченный мерцающими нитями вышивки и стараясь ухватить букву, протянул ручонку с улыбкой не смутной и неопределенной, а самой что ни на есть настоящей, отчего личико его словно стало старше, приобретя какое-то недетское выражение. У Эстер перехватило горло от волнения, и она невольно стала вырываться — так велика была боль, причиненная ей этими движениями детской ручки. Но, приняв порывистый жест матери за игру, Перл глянула ей в глаза с новой улыбкой. И с этого момента всегда, если только ребенок не спал, Эстер не знала ни покоя, ни материнского счастья. Правда, бывало, что

целыми неделями Перл словно не замечала алой буквы, но затем нежданно-негаданно, как смертельный удар, Эстер пронзал странный взгляд, которым дитя смотрело на злосчастную букву, смотрело и улыбалось.

Однажды Эстер встретила этот лукавый странный взгляд девочки, когда, по обыкновению всех матерей, пыталась увидеть в глазах ребенка свое отражение, и вдруг, как это часто случается с женщинами одинокими и терзаемыми тревогой, ее вдруг обуяла странная фантазия: ей показалось, что в зеркалах черных глаз девочки она увидела не свой портрет, не свое уменьшенное отражение, а другое лицо — полное дьявольской злобы и враждебности, чертами сходное с лицом, которое она так хорошо знала, хоть и редко видела на нем улыбку и совсем никогда — злобу. Будто злобный дух вселился в ребенка и сейчас глядел на Эстер с насмешкой. Множество раз потом к Эстер возвращалось, хоть и не так явно, это страшное видение и мучило ее, терзая сердце.

Однажды летним вечером, когда Перл уже подросла настолько, что могла свободно бегать вблизи дома, она придумала игру — собирать вороха цветов и кидать их — один за другим — на грудь матери, прыгая и пускаясь, подобно эльфу,

в дикий пляс, если цветком она попадала в алую букву. Первым побуждением Эстер было, прижав руки к груди, прикрыть букву. Но из гордости, покорности либо смутного чувства, что невыносимая боль, которую она испытывает, может быть послана ей во искупление греха, она подавила в себе первоначальное желание и сидела, выпрямившись, бледная, как смерть, грустно глядя в горящие глаза ребенка. А цветочная атака эта все длилась, и редко какой цветок не попадал прямо в букву, и все они оставляли на груди Эстер раны, для исцеления коих не было средства в целом мире земном, а возможно, и небесном. Наконец, обстрел прекратился — девочка замерла, глядя на Эстер с этим ее выражением насмешливого злого бесенка, выражения, появлявшегося, или так только казалось Эстер, в непостижимой глубине черных глаз.

— Кто ты такая, дитя? — воскликнула мать.

— Я твоя маленькая Перл! — ответила девочка.

Но ответ свой она сопроводила смехом, пританцовываньем и ужимками бесенка, который вот сейчас возьмет да и метнется в печную трубу и улетит.

— Неужели ты и вправду моя дочь?

Эстер не шутила, а была вполне серьезна, ибо,

зная удивительно проницательный ум ребенка, допускала, что девочка могла и каким-то образом проникнуть в тайну своего происхождения, которую способна сейчас открыть и матери.

— Да, я маленькая Перл! — повторила девочка, по-прежнему прыгая и приплясывая.

— Нет, ты не моя дочка, не Перл! — сказала мать, на этот раз как бы шутя, потому что вопреки ее страданиям на нее иногда находило и шутливое настроение. — Скажи мне, кто ты и кто послал тебя сюда!

— Скажи это сама, мама, — вдруг серьезно произнесла девочка. — Приблизившись к матери, она уткнулась ей в колени. — Ну скажи!

— Тебя послал Отец Небесный! — отвечала Эстер Принн.

Но ответ ее прозвучал неуверенно, и неуверенность эту моментально уловило чуткое ухо девочки. Движимая обычной своей проказливостью или же по подсказке злого духа, она, подняв указательный пальчик, ткнула им в алую букву.

— Нет, не посылал он меня! Нет у меня Небесного Отца!

— Перестань, Перл, что ты! — еле сдерживая отчаяние, воскликнула Эстер. — Разве можно говорить такое! Он всех нас послал в этот мир,

и меня послал, и — самое главное — тебя! Если не он, маленькая ты проказница, то откуда же ты взялась?

— Скажи! Скажи сама! — повторила Перл, теперь уже со смехом, скача вокруг матери. — Это ты скажешь!

Но Эстер была не в силах разрешить эту загадку, теряясь в лабиринте сомнений. С улыбкой и в то же время с содроганием вспомнила она пересуды сограждан, которые после тщетных попыток выяснить имя отца Перл и видя некоторые ее странности, решили, что бедный ребенок, по-видимому, дьявольское порождение, из тех, которых еще с католических времен нечистый с некоей злой целью иногда посылает на землю, вводя во грех их матерей. К тому же вредоносному племени, к какому вопиющий вымысел врагов его, монахов, причислил Лютера, новоанглийские пуритане отнесли и маленькую Перл с ее загадочным происхождением.

Глава 7
Покои губернатора

Однажды Эстер Принн отправилась в дом губернатора Беллингема, чтобы отнести ему выполненную работу — нарядно вышитые перчатки с бахромой, заказанные по какому-то торжественному поводу: хотя превратности выборов и заставили бывшего правителя спуститься на ступеньку-другую вниз по лестнице общественного служения, он все еще занимал видное место среди чиновников колонии и должен был являться на все церемонии в наряде самом пышном и изысканном.

Но доставка перчаток была не единственной причиной, заставившей Эстер искать встречи с лицом столь влиятельным и могущественным; была и другая причина, гораздо более существенная и веская. До Эстер дошли слухи, что часть колонистов, приверженцев самых строгих принципов религии и правил управления колонией, вознамерилась отнять у нее ребенка. Предполагая, как уже упоминалось, что происхождением своим девочка может быть обязана нечистому,

эти благочестивые граждане резонно сочли, что для спасения души матери весьма полезно будет устранить препону на пути ее к добру. Если же, с другой стороны, дитя еще способно, воспринимая уроки благочестия, устремляться к спасению, то оно только радо будет новому своему окружению из лиц более мудрых и более искушенных в правильном воспитании, нежели Эстер Принн.

В числе приверженцев этого плана был и губернатор Беллингем. Более того, он был одним из самых деятельных проводников его в жизнь. Может показаться странным и даже несколько комичным, что дело такого рода, которое в дальнейшем никому бы в голову не пришло предложить вниманию и суду столь высоких и избранных особ, стало предметом широкого обсуждения и споров государственных мужей. Но в те времена первобытной простоты даже вещи куда менее важные и значимые, чем судьба и душевное благополучие Эстер и ее ребенка, как ни странно, считались делами государственной важности и рассматривались в соответствии с законодательством. Не ранее чем в описываемую эпоху, а возможно, именно в этот период спор о собственности на свинью мог вызвать не только яростное столкновение мнений облеченных

властью законников, но и привести к отставке некоторых из них, сильно изменив конфигурацию власти.

Потому полная беспокойства, но также и уверенности в своем праве, что давало возможность состязаться почти на равных общественному мнению, с одной стороны, и одинокой женщине, поддерживать которую могла одна лишь природа, — с другой, Эстер Принн покинула свой домишко, отправившись в путь. Маленькая Перл, разумеется, шла с матерью. Она уже подросла достаточно, чтобы не отставать от матери, а бежать вприпрыжку рядом с нею. С утра до вечера находясь в движении, девочка легко выдержала бы и более длительное путешествие, чем то, которое ей предстояло. Тем не менее скорее из каприза, чем по необходимости, она время от времени просилась на руки, чтобы вскорости столь же требовательно проситься обратно на землю и резво бежать впереди Эстер по травянистой тропе, то и дело спотыкаясь и падая без всякого для себя вреда. Мы уже упоминали яркую, бьющую в глаза красоту девочки, сиявшие блеском черные глаза, отливающие таким же блеском темно-каштановые волосы, которым со временем предстояло стать черными, и замечательный цвет лица. В

ней все было огонь и все порыв. Наряжая ее, мать девочки дала волю своей неуемной фантазии, и на Перл теперь было ярко-красное бархатное платье причудливого фасона, богато отделанное вышивкой и фестонами из золотых нитей. Столь яркий цвет платья мог бы ослабить красоту лица, заставив щеки казаться более бледными, но Перл это не грозило — наоборот, яркость платья была под стать собственной ее яркости, отчего она казалась языком пламени, бегущего по земле.

Но было у этого платья, как и во внешности девочки, свойство, неизбежно и неизменно напоминавшее всякому, глядевшему на нее, о роковом знаке, который Эстер Принн вынуждена была носить на груди. Это была та же алая буква, но в другом обличье, алая буква, наделенная жизнью, ожившая алая буква! Алый знак позора так глубоко прожег все существо матери, что даже мысли ее тяготели к этой форме, и она добросовестно и тщательно воспроизводила это сходство, часами изощряя фантазию в упорных попытках соединить обожаемое ею существо и символ вины, доставлявший ей такие страдания. И так как Перл, по сути, была для нее и тем и другим, попытки отобразить алую букву в самой внешности девочки, в конце концов, увенчались

полным успехом.

Когда наши путники достигли городка, пуританские дети, оторвавшись от игры или же того, что считалось игрой у этих угрюмых недорослей, хмуро переглянулись.

— Гляньте-ка, вон идет та женщина с алой буквой, а рядом с ней, не поверите, бежит и вторая алая буква, точь-в-точь как первая! Пойдем забросаем их грязью!

Но не ведавшая страха Перл лишь нахмурилась, после чего затопала ногами и затрясла кулаком в жестах столь недвусмысленно выражавших угрозу, что ватага детей тут же рассыпалась. Перл яростно бросилась вдогонку, и в этом преследовании так походила на пугающее детей видение не то скарлатины, не то маленького ангела мщения, посланного подрастающему поколению за грехи, — такие громкие злобные крики она при этом испускала, — что сердца убегавших, несомненно, колотились и замирали от ужаса. Одержав победу, Перл спокойно, как ни в чем не бывало вернулась к матери и с улыбкой заглянула ей в глаза.

Без дальнейших приключений добрались они до губернаторского дома. Дом этот был деревянным, выстроенным в стиле, образчики которого

можно видеть и сейчас в старейших из наших городков; замшелые, полуразвалившиеся, они рождают грустное чувство, воскрешая в памяти события прошлого — памятные или давно канувшие в забвение, — все, что было некогда в этих сумрачных залах и что давно минуло. Однако современность освежила вид этих стен, внеся в него веселую ноту, отразившись солнечным блеском в стеклах окон, говоривших об уюте жилища, куда еще не ступала смерть. Дом и вправду выглядел очень веселым — может быть, из-за частичек стекла, вмешанных в штукатурку и заставлявших фронтон здания под косыми солнечными лучами сиять и искриться так, будто его осыпали бриллиантами. Такое сияние больше подходило бы дворцу Аладдина, нежели обиталищу сурового пуританского правителя. Дополнительным украшением зданию служили и странные на вид, но отвечавшие тогдашним вкусам каббалистические знаки и узоры, начертанные по еще сырой штукатурке, но со временем затвердевшие и принявшие прочные формы, призванные надолго являть себя восхищенному взору будущих поколений.

Глядя на этот сверкающий блеск, Перл начала скакать и прыгать, требуя, чтоб все эти сол-

нечные лучики сняли со стены и отдали бы ей — поиграть.

— Нет, маленькая моя Перл, — возразила ей мать. — Солнечными лучами ты должна запастись сама. Добыть их для тебя я не могу.

Они подошли к двери, арку которой с двух сторон окаймляли выступы в форме башенок с решетчатыми оконцами, закрываемыми в случае нужды ставнями. Подняв висевший на двери железный молоток, Эстер возвестила о своем приходе и была услышана одним из слуг губернатора. Слуга этот был англичанином, свободнорожденным, но на семь лет отданным в рабство. В течение этого срока он считался собственностью хозяина и мог быть выставлен на торги и быть проданным, словно бессловесная скотина вроде вола или предмет мебели вроде банкетки. На рабе этом была синяя ливрея, какую полагалось носить слугам тогда и еще ранее — в Англии.

— Дома ли его милость губернатор Беллингем? — осведомилась Эстер.

— Да, разумеется, — отвечал слуга, вытаращив глаза на алую букву, так как, приехав в страну не так давно, он еще не имел случая ее увидеть. — Да, его милость дома, но он занят беседой со священником, а может, с двумя, а также и лекарем.

Видеть его сейчас невозможно.

— И все же я войду, — сказала Эстер, и слуга, возможно, посчитав решительность, с какою это было сказано, а также сверкающий знак на груди женщины доказательствами высокого ее положения, никак не воспротивился.

Таким образом, Эстер и Перл были впущены в холл дома. Сообразуясь с особенностями строительного материала, климата, а также жестких правил общественной жизни, губернатор Беллингем внес некоторые изменения в план дома, но в целом выстроил его таким, каким полагалось быть дому состоятельного джентльмена в родной Англии. В глубину его тянулся просторный, солидный холл, имевший сообщение более или менее прямое с прочими помещениями. Один его конец освещался оконцами входных башен. На другом конце свет был более ярким и шел из полуприкрытой гардиной большой стеклянной двери, подобной таким, какие описываются в старинных книгах. Рядом в глубокой нише находился удобный, с мягкими подушками диванчик. На диванчик был брошен том ин-фолио, «Английские хроники» или иное солидное произведение. Сделано это было с той же целью, с какой мы ныне разбрасываем на столе в прихожей красивые

пестрые книжки — чтобы ненароком забредший гость мог, листая их, скоротать время в ожидании хозяина. Мебельным убранством холла служили тяжелые дубовые стулья, спинки которых украшала резьба в виде цветочных гирлянд, и точно такого же стиля стол, относящийся к эпохе Елизаветы или даже более ранней — фамильное достояние, перевезенное сюда из отчего дома губернатора. На столе — в знак уважения к традициям доброго гостеприимства старой Англии и их сохранения — стояла объемистая оловянная кружка, на дне которой, если б Эстер решилась бросить туда взгляд, еще заметны были остатки пенистого эля.

На стене висели портреты аристократических предков Беллингема, одни изображены были в латах, другие — в парадных костюмах с пышными брыжами. Лица предков на портретах неизменно отличали строгость и суровость выражения, превращавшего все эти портреты в какое-то подобие призраков или духов почивших почтенных мужей, которые и глядели теперь с суровым неодобрением на ныне живущих, гневно осуждая как дела их, так и досуг. Посреди дубовых панелей взгляд невольно привлекали висевшие там рыцарские доспехи, но в отличие

от портретов не перешедшие Беллингему по наследству, а изготовленные искусным лондонским оружейником в год, когда Беллингем перебрался в Новую Англию. Там были стальной шлем, кираса, латы, прикрывающие шею, плечи и голени, а также стальные рукавицы и чуть ниже меч. Все предметы, в особенности шлем и нагрудные латы, начищенные до блеска, сверкали так, что отбрасывали отсвет на пол. Висели доспехи не для забавы и не в качестве красивой игрушки — губернатор не раз надевал их в торжественных случаях, на воинских парадах и учениях. Более того, в них ему случилось возглавлять полк, принимавший участие в Пеквотской кампании. И хотя Беллингем получил образование юриста и имел привычку говорить о Бэконе, Коке, Нуа и Финче как о своих собратьях по профессии, новой его родине потребовалось превратить его не только в государственного мужа, могущественного чиновника, но и в рыцаря.

Маленькая Перл, которую блеск доспехов увлек не меньше сияющих искр фронтона, застыла, глядясь в зеркало начищенного до блеска нагрудника.

— Мама! — вскричала она. — Я вижу тебя! Гляди! Гляди!

Чтобы успокоить девочку, Эстер взглянула на свое отражение в этом стальном зеркале, и первое, что бросилось ей в глаза, была алая буква, выросшая благодаря выпуклой поверхности, сильно искажающей пропорции, до гигантских размеров. Буква теперь выделялась, как что-то самое в ней главное, заслоняя и заменяя собой все ее черты. Перл тыкала пальцем, указывая на такое же отражение на шлеме, и улыбалась матери все той же столь знакомой понимающей улыбкой, еще и усиленной эффектом увеличения настолько, что Эстер Принн всерьез засомневалась, что в зеркале смеется ее дочь, а не проказливый бесенок, принявший облик девочки.

— Пойдем, Перл! — сказала Эстер, увлекая дочку прочь. — Пойдем взглянем на этот чудесный сад. Наверное, там растут цветы гораздо красивее тех, что в лесу.

Перл поспешила к дальнему окну в нише, откуда открывался вид на подстриженную лужайку, окаймленную жалким подобием кустарника. Казалось, скудная неплодородная почва Новой Англии и суровые условия выживания заставили владельца оставить всякие попытки предаваться здесь столь любимому англичанами искусству садоводства. Повсюду виднелись капустные ко-

чаны, а тыква протянула свои плети через всю лужайку, поместив один из своих гигантских плодов непосредственно под окно холла, как бы предупреждая губернатора о том, что ничего более ценного и прекрасного, чем эта округлость, растительный мир Новой Англии произвести не в силах. И все же на лужайке ухитрились вырасти яблони и несколько кустов роз, возможно, потомки тех, что сажал здесь еще преподобный мистер Блэкстон, первый поселенец полуострова, легендарная личность, до сих пор разъезжающая по страницам местной хроники на своем буйволе.

Увидев розы, Перл громко заявила, что непременно хочет сорвать красную розу, и никак не желала успокоиться.

— Тише, малышка, тише! — унимала ее Эстер. — Не надо так кричать. Я слышу голоса в саду. Сюда идет губернатор и с ним еще люди!

И правда, на дорожке показались джентльмены. Перл, не желая слушать уговоры матери, крикнула во все горло и тут же осеклась — не из желания внять, наконец, материнским увещеваниям, а из столь свойственного ей живого любопытства к новым людям.

Глава 8
Девочка-эльф и служитель церкви

Губернатор Беллингем в свободного покроя одежде и удобной шапочке — из тех, которые носили в прошлом пожилые джентльмены, по всей видимости, показывал гостям свои владения, расписывая и то, какие улучшения и нововведения в них он намерен произвести. Широкий круг пышных брыжей, который по моде, сохранившейся еще с царствования короля Якова I, подпирал его седую бороду, придавал его голове сходство с головой Иоанна Крестителя на блюде. Впечатление неуклонной строгости и суровости, которое производили его лицо и весь облик, уже тронутые морозным дыханием старости, вряд ли сочеталось с обилием приятных и удобных вещей, которыми он себя окружал и которые явственно свидетельствовали о склонности его к мирским радостям. Но было бы ошибкой полагать, что суровые наши предки, привыкшие говорить и думать о жизни человеческой как о череде испытаний в непрестанной борьбе с пороками и

о необходимости превыше всего ставить долг, во имя которого следует раз и навсегда отречься от всех благ, а если придется, и от самой жизни, на самом деле считали постыдным отвергать удобства, радости жизни и даже роскошь, если на то представлялся случай. Подобные взгляды никогда не проповедовал и почтенный пастор Джон Уилсон, чья белая как снег борода колыхалась сейчас над плечом губернатора, в то время как обладатель ее рассуждал о том, что, по его мнению, груши и персики способны произрастать в климате Новой Англии и что при должном старании можно заставить виноградную лозу оплести садовую ограду с южной ее стороны и усеять ее багряными гроздьями.

Вскормленный щедрой грудью англиканской церкви престарелый священнослужитель давно воспитал в себе закономерный вкус ко всему удобному и приятному, и каким бы строгим ни выглядел он на кафедре или в своих выступлениях перед прихожанами, осуждая таких преступников, как Эстер Принн, сердечная доброта и благожелательность, которые Уилсон проявлял в частной своей жизни, снискали к нему более теплые чувства, чем те, что питала местная паства к тогдашним его собратьям.

За губернатором и мистером Уилсоном следовали еще два гостя — преподобный Артур Димсдейл, памятный читателю по той роли, которую он с такой неохотой сыграл, выступив с краткой своей речью, когда Эстер Принн стояла на позорном помосте, а рядом с ним — старый Роджер Чиллингворт, человек весьма искусный во врачевании, за два-три года до этого обосновавшийся в городе и ставший не только другом молодого священника, но и его лечащим врачом, ибо здоровье юноши в последнее время сильно ухудшилось, подорванное неумеренным и чересчур самоотверженным исполнением пасторского долга.

Губернатор, шедший впереди своих спутников, поднялся на одну-две ступеньки к двери холла и, приоткрыв створку, очутился совсем рядом с маленькой Перл. Фигура Эстер Принн оставалась в тени гардины.

— Что видим мы здесь? — воскликнул губернатор Беллингем, с удивлением глядя на возникшее перед ним алое видение. — Клянусь, не встречал ничего подобного со времен суетной моей юности, когда считал великой честью быть приглашенным ко двору короля Якова на королевский маскарад. Там в пору праздников такие

видения буквально роились. Мы называли их детьми Владыки буянов. Но как проникла эта гостья ко мне в дом?

— И правда, — подхватил добрый мистер Уилсон. — Как зовется птичка со столь ярким оперением? Она похожа на солнечный лучик, огнем горящий в витражном окне, как это видится мне в воспоминаниях. Огонек этот, помнится, был так ярок, что отбрасывал блики — красные и золотые — даже на пол церкви. Но это было давно, еще на родине. Прошу тебя, девочка, поведай нам, кто ты и что за странная фантазия заставила твою матушку так необычно нарядить тебя? Да христианское ли ты дитя? Знакома ли с катехизисом? А может, ты из племени эльфов и фей, которое, как мы полагали, осталось для нас в прошлом вместе с другими папистскими реликвиями веселой старой Англии?

— Я мамина дочка, — отвечало алое видение, — меня зовут Перл.

— Перл? Жемчужина? Скорее тебе пристало бы зваться Рубин, или Коралл, или Красная Роза, на которую ты так похожа цветом, — сказал старый священник, протягивая руку в тщетной попытке потрепать Перл по щеке. — Но где же твоя мать? А-а, понятно: это же незаконное дитя, судьбу

которого мы обсуждали, а вот, полюбуйтесь, и несчастная мать ребенка, Эстер Принн!

— Что я слышу! — воскликнул губернатор. — Впрочем, мы могли бы догадаться, кто мать этого ребенка. Ее тоже следовало бы обрядить в красное, как истинную блудницу вавилонскую! Однако заявилась она к нам вовремя, и мы немедля обсудим это дело.

Губернатор Беллингем, а за ним и гости через стеклянную дверь ступили в холл.

— Эстер Принн, — возгласил губернатор, вперив свой неизменно строгий взгляд в женщину с алой буквой на груди, — в последнее время нас занимает один вопрос, касающийся тебя. Обсуждению подлежит следующее: по совести ли мы, люди влиятельные и с положением, поступаем, доверяя бессмертную душу твоего ребенка воспитанию и руководству женщины оступившейся, падшей, оказавшейся в бездне греха и соблазна. Скажи же ты, мать этого ребенка: не полагаешь ли ты, что для блага твоей малышки здесь на земле и для вечного блаженства души ее было бы лучше изъять ее у тебя и, пристойно одев, воспитать в строгих правилах благочестия, преподав ей истины божеского и человеческого закона. Что можешь в этом смысле предоставить ей ты?

— Могу обучить мою маленькую Перл тому, чему научило меня вот это! — отвечала Эстер, коснувшись алого знака на груди.

— Это знак твоего позора, женщина, — возразил суровый служитель закона, — и именно из-за пятна греха, о котором вопиет эта буква, мы и собираемся изъять ребенка из рук твоих!

— И все же, — спокойно, но побледнев как полотно, произнесла женщина, — знак этот преподал мне уроки, как и продолжает делать каждый день и час, и даже в эту минуту. Для меня уроки эти бесполезны, но дочь от них может стать мудрее и лучше.

— Будем действовать осмотрительно, — заметил Беллингем, — и хорошо продумывать наши шаги. Достопочтенный отец Уилсон, я прошу вас проэкзаменовать эту Перл — если уж таково ее имя, — чтобы выяснить, в должной ли мере получает она соответствующее ее возрасту христианское воспитание.

Старый пастор уселся в кресло и хотел было притянуть к себе Перл, поставив между колен. Но девочка, не привыкшая к чужим прикосновениям, ринулась к открытой двери и через секунду стояла уже на верхней ступеньке — похожая на диковинную тропическую птичку в ярком опере-

нии — вот-вот вспорхнет и исчезнет в вышине.

Мистер Уилсон, немало удивленный таким резким проявлением неприязни со стороны девочки, ибо по-стариковски добродушного пастора дети обычно воспринимали с симпатией, все же попытался начать экзамен.

— Перл, — с большой важностью произнес он, — тебе следует проявлять усердие в учении, чтобы в должный срок и в душе твоей засиял бесценный жемчуг. Скажи мне, дитя, известно ли тебе, кто тебя создал?

Разумеется, ответ на этот вопрос Перл был отлично известен, ибо Эстер Принн, дочь набожных родителей, едва поведав девочке о Небесном ее Отце, сразу же принялась просвещать ее, открывая основы и догматы веры, которые ум человеческий, на какой бы стадии зрелости и развития он ни находился, всегда впитывает в себя с жадностью и любопытством. В результате Перл могла показать успехи для трехлетнего ребенка значительные, показав свое знание и новоанглийского букваря, и первого столбца Вестминстерского катехизиса, хотя прославленных этих книг она никогда и в глаза не видывала. Но дух противоречия, в какой-то степени свойственный всем детям и вдесятеро больше

свойственный Перл, сейчас, казалось бы в самый неподходящий момент, взыграл в ней, понуждая либо упрямо сжимать губы, либо начать молоть чепуху. Сперва она стояла, сунув палец в рот, и на вопрос доброго пастыря отвечала молчанием, а потом вдруг выпалила, что ее вообще никто не создавал, а мама сорвала с куста шиповника, что рос возле тюремной двери.

Возможно, фантазию эту девочке подсказали и розовый куст, которым она любовалась, стоя у губернаторского окна, а также куст шиповника, росший возле тюрьмы, мимо которого они проходили, направляясь к дому губернатора.

Старый Роджер Чиллингворт с улыбкой шепнул что-то на ухо молодому священнику. Эстер Принн взглянула на медицинское светило и даже в эту решающую минуту, когда судьба ее висела на волоске, не могла не поразиться ужасным переменам в чертах, столь ей знакомых, — тому, насколько уродливее он стал, насколько сильнее скрючилась фигура, каким землистым стало его лицо. На секунду взгляды их встретились, и тут же она отвела глаза.

— Ужасно! — воскликнул губернатор, не сразу придя в себя от изумления, в которое повергла его Перл своим нелепым ответом. — В три года

ребенок не знает, кто его создал! Без сомнения, точно так же не ведает она ничего и о душе своей, о том, в каком прискорбном состоянии пребывает она сейчас, и о печальной ее участи в будущем.

Схватив Перл, Эстер прижала ее к груди, с вызовом и чуть ли не яростью глядя в глаза старого пуританского законника. Одинокая и отвергнутая миром, свято хранившая единственное свое сокровище, которое только и давало силы ей жить, она готова была противостоять всему миру, защищать его даже ценою собственной жизни.

— Господь подарил мне дитя! — вскричала она. — Он дал мне ее взамен всего, что было у меня отнято вами! Она мое счастье! Не меньшее, чем му́ка, которую она в себе несет! Перл — моя опора в жизни, и она же мое наказание. Разве не видите вы, что и она тоже алая буква, но буква, которую я люблю, и потому способная карать меня за мой грех в миллион раз сильнее! Вы не отнимете ее у меня! Лучше смерть!

— Бедная моя страдалица, — произнес не чуждый милосердия священник. — О твоем ребенке будут хорошо заботиться, несравненно лучше, чем способна это делать ты.

— Господь поручил ее моим заботам, — в отчаянии твердила Эстер. — Не отдам! — И тут,

повинуясь внезапному порыву, она обратилась к молодому священнику мистеру Димсдейлу, которого до этого момента словно не замечала. — Скажите слово в мою защиту! Вы были моим духовником, вам была вверена душа моя, вы знаете меня лучше, чем эти люди! Ребенок останется со мной! Скажите им! Защитите! Вы знаете, потому что умеете то, чего не ведают эти люди, умеете сострадать, знаете мое сердце и знаете, что такое право матери и насколько велико оно, если все, чем владеет мать, — это ее единственный ребенок и алая буква! Помогите! Пусть ребенок останется со мной! Помогите!

Услышав эту необычную, громкую и страстную мольбу, мольбу женщины, близкой к безумию, молодой священник выступил вперед. Он был бледен и прижимал руки к груди, как делал всегда в минуты волнения, когда что-то больно ранило его чувствительное сердце. Казалось, он похудел, осунулся, выглядел более изнуренным, чем тогда на позорной церемонии, которой общество подвергло Эстер. Но в печальной глубине его глаз, возможно, из-за точившего его недуга или по другой причине, затаились печаль, смятение и боль.

— В словах этих есть правда, — начал он. Голос

его, чуть дрожащий, был звучен и, эхом отдаваясь от стен, заставлял звенеть гулкую пустоту висевших на них рыцарских доспехов. — И правда не только в словах, но и в чувстве, их вызвавшем. Господь, подарив ей дитя, наделил ее и инстинктивным пониманием его характера и всей его сущности. Так понимать дитя, как понимает его мать, не дано в этом мире ни одной живой душе. Скажу больше, разве не святы узы, связывающие эту женщину и ее дитя?

— Послушайте, достопочтенный отец Димсдейл, — прервал его губернатор, — что вы имеете в виду? Прошу вас дать разъяснение!

— Да, это действительно так, — продолжал свою мысль священник. — Ибо, будь по-другому, это бы означало, что Отец наш Небесный и создатель всего, что ни есть во плоти, с легкостью прощает грехи и не видит особых различий между греховной похотью и святой любовью! Это дитя, плод отцовской вины и материнского позора, вышло из рук Творца, чтобы многообразно влиять на душу той, кто сейчас так искренне и с таким ожесточением отстаивает свое право не разлучаться с ребенком. Дитя это послано ей как благословение, единственное в жизни! И оно же — и об этом сказала она сама — послано ей во искупление,

став ее мукой, болью, пронзающей вдруг неожиданно и сильно даже в минуты робкой радости, болью, повторяющейся вновь и вновь! Разве не это чувство выразила она в наряде бедняжки, так ярко и наглядно напоминающем нам об алом знаке на груди этой женщины?

— Хорошо сказано! — воскликнул добросердечный мистер Уилсон. — Я боялся, что женщина эта задумала подшутить над нами.

— О нет, нисколько! — продолжал мистер Димсдейл. — Чудо, сотворенное Господом и воплощенное в этом ребенке, она, поверьте мне, вполне осознает. Так пусть же осознает она и то, что видится мне непреложной истиной: благодеяние это прежде всего призвано сохранить ее душу, душу матери, и уберечь ее от темной бездны грехов еще более чудовищных, бездны, куда мог ввергнуть ее Сатана! Поэтому так важно, чтобы забота о бессмертной душе ребенка, существа, которому могут быть уготованы как вечное блаженство, так и вечные муки, была бы вверена попечению этой несчастной грешницы, чтобы могла она наставить свое дитя на праведный путь, в то же время ежечасно и ежеминутно помня о собственном падении и видя в этой своей миссии дарованный Господом святой залог роди-

тельского спасения, достигаемого через спасение ребенка. Насколько же счастливее грешного отца может в этом оказаться мать! Вот ради этой ее возможности, а не только ради ребенка давайте оставим все так и на тех местах, как это рассудило Провидение!

— С какой удивительной горячностью вы разъясняете свою позицию, друг мой! — сказал старый Чиллингворт, улыбнувшись молодому священнику.

— И при этом в словах моего юного собрата содержится глубокий смысл, — заметил преподобный мистер Уилсон. — Что скажете вы, достопочтенный мистер Беллингем в ответ на столь проникновенную речь в защиту бедной женщины?

— Речь и вправду была проникновенной и содержала убедительные доводы, подвигшие нас оставить это дело в его теперешнем состоянии, по крайней мере до тех пор, пока женщина эта не будет замечена в каких-либо новых скандальных поступках. Однако следует позаботиться о том, чтобы вы либо отец Димсдейл должным образом проэкзаменовали девочку в знании катехизиса и чтобы она посещала как школу, так и молитвенные собрания.

Окончив свое выступление, молодой священник отошел чуть в сторону и теперь стоял, наполовину скрытый тяжелыми складками гардины, в то время как тень, отбрасываемая на пол заливавшими его фигуру солнечными лучами, чуть подрагивала в такт отзвукам страстной его речи. Перл, этот дикий и непредсказуемый эльфоподобный ребенок, тихонько прокралась к нему и, сжав его руку, коснулась ее щекой движением еле заметным, но исполненным такой нежности и благодарности, что Эстер при виде этого не могла не задаться вопросом: «Неужели это моя Перл?» Нет, она всегда знала, что в глубине души девочки таится любовь, но проявлялось это по большей части в страстных порывах, за всю ее жизнь смягчаемых, возможно, лишь раза два, той нежностью, которую проявила она сейчас.

Священник, взволнованный — ибо, кроме долго чаемого внимания любимой женщины, ничего нет слаще предпочтения, которое внезапно и повинуясь внутреннему движению оказывает нам дитя, как будто подтверждая этим, что есть в нас нечто достойное любви, — обернулся, положил руку на детскую головку и, чуть помедлив, поцеловал девочку в лоб. Но этот порыв чувствительности, который так внезапно охватил Перл,

длился недолго: она рассмеялась и запрыгала вокруг с такой легкостью, что мистеру Уилсону даже показалось, что ноги ее вообще пола не касаются.

— В ее прыжках, ей-богу, есть что-то колдовское, — поддержал такое мнение и мистер Димсдейл. — Ей не нужно помела ведьмы, чтоб летать по воздуху!

— Странный ребенок, — заметил престарелый Роджер Чиллингворт. — В ней легко угадывается мать. Интересно, способен ли вдумчивый философ, подвергнув исследованию характер девочки, по складу и особенностям его догадаться, кто мог бы быть ее отцом.

— Никоим образом не стоило бы этого делать, — возразил мистер Уилсон. — Грешно было бы искать ключ к разгадке, обращаясь к методам светской науки. Вернее искать этот ключ, постясь и моля Создателя открыть нам эту тайну. А всего лучше не пытаться в нее проникнуть, а ждать, пока Провидение само откроет нам ее. И пусть каждый добрый христианин не чуждается права проявлять отцовскую нежность к этой несчастной покинутой малютке!

Таким образом, по достижении наилучшего для них разрешения вопроса Эстер Принн и Перл

оставили дом губернатора. Но когда они спускались по ступеням, решетчатое оконце вдруг распахнулось и солнце осветило лицо матушки Хиббинс, сестры губернатора Беллингема, злобной женщины, которую несколько лет спустя осудили как ведьму.

— Ц-ц-ц! — зацокала она языком, и тень злобной ее физиономии, казалось, заслонила собой залитый солнцем приветливый фасад дома. — Не хочешь к нам в компанию сегодня ночью? Будет весело в лесу, и я, считай, посулила Черному Человеку, что пригожая Эстер Принн тоже к нам присоединится.

— Передай Черному Человеку мои извинения, — отвечала с победной улыбкой Эстер, — но я должна оставаться дома и блюсти мою маленькую Перл! Если б порешили они ее от меня оторвать, я б охотно пошла с тобой в лес и расписалась в книге Черного Человека, кровью запечатлев там свое имя!

— Мы еще встретим тебя в лесу! — хмуро бросила ведьма, и голова ее скрылась в окне.

И это — если верить в то, что разговор матушки Хиббинс и Эстер Принн и вправду имел место, — является лишним доказательством в пользу мнения молодого священника, так решительно

выступившего против разлучения оступившейся матери с плодом несчастной ее слабости. Уже в столь раннем возрасте ребенок сумел уберечь мать от ловушки, подстроенной Сатаной.

Глава 9
Лекарь

Под именем Роджера Чиллингворта, как это помнит читатель, скрывался человек, решивший, что истинное его имя отныне должно быть предано забвению. Уже рассказывалось о том, как в толпе, собравшейся лицезреть позор Эстер Принн, стоял этот немолодой, измученный скитаниями и чудом избежавший дикарского плена человек, глядя, как та, в ком он надеялся обрести воплощение теплого домашнего уюта, стоит перед толпой живым воплощением греха. Честь и слава ее как матери были брошены под ноги толпе и растоптаны. Ее позором гудела рыночная площадь. Если б до родных ее и товарищей ее прежних беспорочных лет могла донестись весть о ее позоре, пятно это, как зараза, непременно коснулось бы и их, каждого в той мере, в какой он некогда был с ней близок, связан святыми узами родства или дружбы. Тогда зачем же, коль от него зависел выбор, стал бы человек, связанный узами самыми крепкими и самыми святыми с женщиной, ныне падшей, выступать вперед,

заявляя о своем праве на часть наследства, столь нежеланного? И он решил не подниматься на помост и не вставать рядом с ней, чтобы разделить ее позор. Неведомый никому, кроме Эстер Принн, единственный хранитель замка и ключа от ее молчания, он сделал выбор, вычеркнув свое имя из списка произносимых, отринув от себя прежние связи и интересы, исчезнув так решительно, словно и впрямь, как давно уже гласила молва, покоился в океанских глубинах. Достигнув этой цели, он поставил перед собой цель иную, более темную или даже греховную, но требующую от него напряжения всех сил и способностей.

Преследуя эту цель, он и поселился под именем Роджера Чиллингворта в пуританском городишке. Предложить при этом обществу он мог лишь свою ученость и незаурядный ум. Поскольку когда-то занятия его включали в себя изучение медицины, он был не чужд современной медицинской науки и новейших ее достижений, почему и представился врачом, в качестве которого был радушно и сердечно принят жителями городка. Опытные врачи и хирурги в колонии большая редкость. Как нам кажется, большинство медиков не обладали тем религиозным пылом, который заставил прочих колонистов

пересечь Атлантику. Углубившись в изучение телесной природы человека, всех тонкостей строения и функций того удивительного механизма, который зовется человеческим телом, механизма, собранного так искусно и мастерски, что, кажется, будто действует он сам по себе, медики эти упустили из виду духовную составляющую человека и человеческой жизни, утратив к ним вкус и интерес. Так или иначе, здоровье бостонцев в той мере, в какой им обязана заниматься медицина, было до той поры отдано попечению пожилого дьякона, являвшегося также и аптекарем, человека, в пользу которого могли говорить его добродетели и благочестие, но уж никак не диплом врача. Хирургом же и зубодером приходилось изредка выступать другому горожанину, привычным и ежедневным занятием которого было благородное искусство орудовать бритвой в цирюльне.

Вхождение Роджера Чиллингворта в круг подобных профессионалов можно было счесть блистательной удачей. Очень скоро он проявил свои познания в области изготовления старинных лекарств с их сложной многосоставной рецептурой, сочетающей элементы разнородные и отдаленные в комбинациях настолько

хитроумных, что казалось, будто результатом их соединения может стать самый эликсир жизни! Более того, в индейском своем пленении он обрел знание местных трав и кореньев, другими словами, простых снадобий, знание которых не стал скрывать от своих пациентов, веря в благотворность используемых дикарями природных средств не меньше, чем в действие сложных лекарств европейских фармацевтов, рецептура которых разрабатывалась учеными докторами в течение веков.

Будучи человеком образцовым во многих отношениях и уж во всяком случае в строгом соблюдении всех норм и обрядов религии, сей ученый чужеземец вскорости после прибытия выбрал себе в духовники преподобного мистера Димсдейла. Память об успехах в науках даровитого юноши сохранялась в Оксфорде, а самые страстные его поклонники, ставя его чуть ли не вровень с богоданными апостолами, утверждали, что если суждено ему прожить обычный жизненный срок, то труды его во славу еще не окрепшей новоанглийской церкви могут сыграть для нее роль не меньшую, чем роль святых отцов в становлении христианской веры в период ее младенчества. Однако пока что здоровье мисте-

ра Димсдейла обнаруживало явные признаки ухудшения. Близко знакомые с его привычками и образом жизни объясняли бледность молодого священника чрезмерным усердием в ученых трудах, чересчур ревностным исполнением пасторского долга, а более всего постами и бдениями, к которым он прибегал слишком часто, словно из страха, что плотная земная оболочка способна затмить для него лампаду духа. Иные уверяли, что, если мистер Димсдейл и вправду умрет, это будет означать, что земля более недостойна носить его. Сам же он, напротив, с характерной для него склонностью к унижению говорил, что если Провидение вознамерится оборвать его земную жизнь, то только потому, что он оказался недостойным исполнять свою скромную земную миссию. При всем различии во мнениях о причинах его недомогания сам факт этого никто не отрицал. Он худел, голос, все еще громкий и благозвучный, приобрел какие-то печальные обертоны, говорившие о близком телесном упадке, и нередко видели, как молодой человек, внезапно и как бы в испуге от чего-то неожиданного, хватается за грудь, а щеки его краснеют и тут же бледнеют, словно от боли.

Таково было состояние молодого священника,

грозившее перспективой безвременной кончины, затухания только-только разгоревшейся лампады этой новой жизни, когда в городок прибыл Роджер Чиллингворт. Откуда он прибыл, известно было немногим, казалось, упал он с неба либо появился из иных миров, окруженный тайной, которую легко можно счесть и чудом. Вскоре стала известна и его профессия — многие заставали его за сбором трав, видели, как обрывает он лепестки полевых цветов, как выкапывает корешки, ломает ветки деревьев в лесу, словно знающий цену вещам, в глазах обычных людей цены не имеющим. Он говорил о сэре Кенелме Дигби[17] и других знаменитостях, ученые заслуги которых были не менее известны, как о своих знакомых или корреспондентах. Почему же, имея такой вес в ученых кругах, объявился он здесь? Живя в больших городах, вращаясь в высших сферах, что позабыл он в нашем диком краю? Ответом на эти резонные вопросы, согласно верным слухам, стало убеждение, при всей абсурдности своей разделяемое и многими вполне разумными людьми, состоявшее в том, что Небеса совершили чудо, перенеся выдающе-

[17] Примечания: 17

Дигби, Кенелм (1603–1665) — английский политический деятель, известный также своими трудами в области медицины.

гося деятеля медицинской науки из германского университета непосредственно к нам на порог мистера Димсдейла, к двери его кабинета. Люди более здравомыслящие, знающие, что Небо умеет достигать своих целей, не прибегая к сценическим эффектам, которые мы называем чудесами, склонялись к тому, чтобы столь своевременное появление Роджера Чиллингворта приписать руке Провидения.

Мысль эту подкреплял и тот глубокий интерес, который врач с самого начала проявил к молодому священнику. Он избрал его своим духовником и старался всеми способами завоевать его доверие и дружбу. Он выражал глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пастора и торопился начать лечение, уверяя, что чем раньше он это сделает, тем успешнее будет результат. Старейшины, почтенные матроны и молодые девицы из паствы мистера Димсдейла наперебой уговаривали священника испробовать на себе искусство врачевания, так настойчиво ему предлагаемое. Мистер Димсдейл мягко возражал:

— Мне не нужны лекарства.

Но как мог молодой священник говорить такое, если от службы к службе впалые щеки его бледнели, а голос дрожал все жалобнее, когда

хвататься за сердце стало у него уже не случайным жестом, а жестом привычным? Он устал от трудов земных? Он возжелал смерти? Так вопрошали мистера Димсдейла, сурово и с важностью, старейшие священники Бостона, так спрашивали и служители его собственной церкви, ставя ему в упрек, как они сами говорили, грех отказа от помощи, которую так явно несло Просвещение, протягивая ему руку. Он молча слушал уговоры и наконец пообещал посоветоваться с врачом.

— На все божья воля, — сказал преподобный мистер Димсдейл, во исполнение своего обещания беседуя с Роджером Чиллингвортом и обращаясь к нему за советом. — Но я был бы вполне счастлив и доволен, если б мои труды вкупе с моими скорбями, грехами и телесными страданиями в скором времени окончились вместе со мной и все, что было в них земного, оказалось бы погребено в моей могиле, а все духовное вознеслось вместе со мной к вечной жизни. Я предпочел бы это тем упражнениям в вашем искусстве, которое вы собираетесь применять ко мне ради моего блага.

— Ах, — отвечал Роджер Чиллингворт с характерным для него спокойствием, то ли естественным, то ли деланым, — только так и должен говорить молодой священник! Молодые люди,

еще не успевшие глубоко укорениться в жизни, легко с ней расстаются. А люди праведные, которые топчут эту землю, имея в душе Бога, хотели бы отлететь от земли, чтоб вместе с Ним ходить по золотым дорогам Небесного Иерусалима.

— Нет, — возразил молодой священник, хватаясь за сердце и морщась от внезапного приступа боли, — будь я достоин ходить по тем дорогам, я лучше бы остался здесь потрудиться во славу Его!

— Хорошие люди всегда недооценивают себя, — заметил доктор.

Вот так таинственный старый джентльмен Роджер Чиллингворт стал пользовать преподобного мистера Димсдейла как врач. При этом интересовали его не только симптомы болезни, но и его характер, черты и особенности которого он внимательнейшим образом изучал, вглядываясь в них с таким тщанием, что постепенно эти двое, столь различные по возрасту, стали проводить много времени вместе. Дабы укрепить здоровье священника, а также для сбора лекарственных растений, они отправлялись в долгие прогулки по берегу моря, во время которых под плеск и шепот волн или торжественные трубные звуки ветра, веявшего в верхушках деревьев, вели беседы на

самые разные темы. Часто один навещал другого в его уединении — месте неустанных трудов священника, его кабинете. Молодому человеку бесконечно нравилось общество человека, в котором он ясно различал ум, столь глубокий и столь развитый, отличавшийся к тому же такой широтой охвата, что, как это понимал Димсдейл, другого такого собеседника в среде собратьев-священников было не найти. Говоря по правде, он был немало удивлен и даже поражен, обнаружив такие качества во враче. Мистер Димсдейл по самой своей сути был священником и человеком истинно верующим. Все его чувства, душа, весь склад его ума развивались в соответствии с догматами веры, с годами все глубже проникаясь ею. Ни при каких обстоятельствах, ни при каком общественном устройстве мистер Димсдейл не мог бы считаться, что называется, «человеком свободных воззрений». Для спокойствия души ему необходимы были строгие рамки религиозной догмы. Эти железные рамки, сковывая его, одновременно и поддерживали, укрепляли. И в то же время с какой-то трепетной радостью и облегчением порою смотрел он на мир как бы глазами своего собеседника, человека иного мировоззрения, отличного от мировоззрения тех, с

кем он обычно общался. Как будто распахнули окно и в мрачную затхлую атмосферу кабинета, где тратил он свою жизнь под тусклым светом лампы или при затемненном шторою свете дня, корпя час за часом среди духоты, буквальной и в переносном смысле, вдыхая плесень старых замшелых книг, вдруг ворвалась струя свежего воздуха. Но дышать этим новым воздухом слишком долго было опасно — он казался чересчур холодным. И священник, а с ним и врач вновь замыкались в пределах, установленных им догматами веры и церковью.

Таким образом, Роджер Чиллингворт внимательно изучил пациента, изучил всесторонне — и его поведение в обычных для него обстоятельствах, когда мысли его шли по тропам давно знакомого круга, и когда он вдруг вырвался за положенные ему пределы, оказываясь вдруг на фоне иного, нового нравственного ландшафта, по-новому обрисовывающего его характер и четче выделяющего его черты. Доктор полагал весьма существенным хорошенько узнать пациента, прежде чем пытаться поправить его здоровье. У человека, имеющего ум и сердце, ход болезни неизменно обретает особенности, порожденные их влиянием и зависимые от особенностей

характера. В случае Артура Димсдейла можно было смело предполагать, что в возникновении его недуга большую роль сыграли пытливый ум, богатое воображение и тонкая чувствительность. Поэтому Роджер Чиллингворт, как искусный врач и человек добрый и благожелательный, старался проникнуть в самую глубь души пациента, разобраться в его жизненных принципах, покопаться в воспоминаниях, делая все это крайне осторожно, подобно искателю кладов, разгребающему завалы забытой пещеры. Мало секретов можно утаить от исследователя, располагающего правом и возможностью вести исследование, а также умением это делать. Тому, чья душа несет бремя тайны, более всего следует избегать тесного общения со своим врачом. Если последний наделен природной мудростью вкупе с чем-то трудно определимым, что мы именуем интуицией, если он не проявляет исследовательского высокомерия, назойливого любопытства или других неприятных черт, если он обладает природным талантом настраивать свой ум на волну, столь близкую пациенту, что последний неожиданно для себя вдруг произносит вслух то, что, как он считал, он только думает, если подобные открытия воспринимаются спокойно

и ведут за собой не слова сочувствия, а лишь молчание, легкий вздох или неопределенный жест, свидетельствующий о том, что сказанное понято, если ко всем этим качествам конфиданта присовокупляются еще и достоинства признанного врача, тогда неизбежно наступит момент, когда душа страдальца раскрывается, изливаясь темным, но прозрачным потоком, вынося на свет свои тайны.

Роджер Чиллингворт обладал всеми или почти всеми из названных выше качеств. Между тем время шло, близкая дружба их, как мы уже говорили, крепла, связь этих двух просвещенных умов становилась все теснее; общение этих двоих включало теперь все сферы науки и мыслительной деятельности человечества, обсуждение вопросов нравственных и религиозных, темы общественной и частной жизни, однако в этих беседах, в которых обе стороны не чурались и проблем самого личного свойства, никакую тайну, существование которой предполагал врач и которую мистер Димсдейл мог бы шепнуть ему на ухо, Чиллингворту не удавалось выудить. Чиллингворт имел серьезные подозрения, что и симптомы своего телесного недуга мистер Димсдейл от него в значительной мере утаивает.

Странной казалась врачу эта скрытность.

Спустя некоторое время друзьям мистера Димсдейла удалось поселить его в одном доме с Роджером Чиллингвортом, о чем тот им ранее намекнул. Теперь ни одна деталь в жизни священника, весь ход и все течение ее не могли укрыться от жадного внимания преданного друга и врача. Когда цель предпринятых усилий была достигнута, город охватила волна радости: чего уж лучше можно было придумать для благополучия священника, не считая брака с какой-нибудь цветущей юной особой, преданной и близкой ему духовно и потому способной стать верной женой. Но последнее — шаг, к которому его непрестанно склоняли, по-видимому, не имело будущего, ибо Артур Димсдейл отвергал все предложения такого рода, словно безбрачие являлось непременным и важнейшим условием принятой им священнической миссии. И поскольку мистер Димсдейл, как это явствовало, по собственной воле обрек себя на то, чтобы есть невкусный хлеб свой за чужим столом и зябнуть всю жизнь, ибо такова судьба всех тех, кто предпочитает греться у чужого очага, казалось самым мудрым и разумным решением, если благожелательный и спокойный старый врач, так по-отцовски и в то же время

почтительно относящийся к молодому пастору, как никто другой дарящий его своей любовью, будет всегда рядом.

Друзья наши поселились у вдовы, женщины почтенной и набожной, чей дом находился вблизи того места, где впоследствии была воздвигнута достославная Королевская часовня. Сбоку от дома, на бывших угодьях Айзека Джонсона, располагалось кладбище, всем видом своим побуждавшее к раздумьям — занятию, столь любезному как священнику, так и ученому доктору. Добрая женщина, окружив мистера Димсдейла материнской заботой, отвела ему комнаты на солнечной стороне, но с тяжелыми шторами на окнах, с тем чтобы можно было при желании посидеть в полумраке. Стены были увешаны коврами, вышедшими, по слухам, из мастерской самого Гобелена и изображавшими сцены из Священного Писания — историю Давида и Вирсавии, а также пророка Натана. Ковры еще не выцвели, и яркие краски их придавали облику красавицы Вирсавии такую же мрачную живописность, какой дышало и лицо предвещавшего всяческие беды пророка. Здесь священник расположил и свою библиотеку, груды томов, а среди прочего переплетенные в пергамент труды отцов церкви,

наследие раввинов и ученых монахов — все то, что протестантские богословы подвергли поношениям и проклятиям, но к чему не могли не обращаться вновь и вновь.

Другая половина дома была отдана Роджеру Чиллингворту под его кабинет и лабораторию. Оборудование последней, которое современный ученый посчитал бы совершенно недостаточным, включало в себя аппарат для дистиллирования воды и средства изготовления сложносоставных снадобий и смешивания элементов, которым опытный алхимик умел найти наилучшее применение. Так, удобно обосновавшись, наши ученые друзья и зажили — каждый на своей половине, но часто наведываясь друг к другу.

Как было уже сказано, самые проницательные из друзей мистера Димсдейла разумно приписали сложившуюся ситуацию воле Провидения, внявшего наконец неустанным моленьям многих — в церкви, дома и в тайниках души — и решившего помочь исцелить молодого пастора. И однако следует сказать о том, что часть городского сообщества постепенно начала видеть отношения мистера Димсдейла и таинственного доктора в несколько ином свете, ведь когда невежественная и неискушенная толпа пытается

составить собственное мнение о тех или иных вещах, очевидность нередко их обманывает. Но если она, как ей обычно свойственно, судит исходя из внутреннего чутья, так, как подсказывает ее большое горячее сердце, то выводы, к которым она приходит, нередко отличаются такой точностью и глубиной, что кажутся истиной, подсказанной нам какими-то высшими силами. В случае, о котором идет речь, люди ничем не могли подкрепить свое предубеждение против Роджера Чиллингворта. Однако существовал некий престарелый ремесленник, живший в Лондоне в тот период, когда случилось там убийство сэра Томаса Овербери, то есть лет за тридцать до описываемых событий, и ремесленник этот утверждал, что встречал тогда в Лондоне нашего доктора в обществе доктора Формана, знаменитого мага и колдуна, которого считали причастным к убийству Овербери. Причем наш доктор носил другое имя, а какое, ремесленник вспомнить не мог. Двое-трое других граждан намекали на то, что, будучи в плену у индейцев, искусный доктор пополнял свои знания и оттачивал мастерство, участвуя в заклинаниях местных жрецов и дикарских ритуалах, признанных могущественными колдунами и умевших добиваться удивительных

результатов в лечении благодаря искушенности своей в черной магии. Многие, в том числе люди вполне практические и отличавшиеся вполне здравым смыслом, что заставляло прислушиваться к их мнению, утверждали, что за время проживания в городе Роджер Чиллингворт сильно изменился внешне. Поначалу лицо его выражало спокойствие и свойственную ученому задумчивость. Теперь же в лице его появилось что-то уродливое и злое, чего раньше заметно не было, а при внимательном взгляде проявлялось все больше. Высказывалась даже вульгарная идея, состоявшая в том, что огонь, горящий в его лаборатории, зажжен от адского пламени, питаемого сатанинским топливом, копоть от которого и оседала на лице ученого.

Итак, по-видимому, общее мнение склонялось к тому, что преподобный Артур Димсдейл, как человек, отмеченный особой святостью, искушаем либо самим Сатаной, либо его посланцем. Подобное случалось не раз на протяжении всех веков христианства: сатанинский посланник втирается в доверие святого отца и начинает плести козни, пытаясь погубить его душу. Но ни один разумный человек не станет сомневаться в том, за кем останется победа! С неослабной надеждой

следили люди за этой схваткой, ожидая, когда священник с победой выйдет из нее, увенчанный славой, которая ему уготована. Но горько было думать о страданиях, которые приходилось ему претерпевать на пути к триумфу.

Увы! Судя по мраку и ужасу, затаившимся в глубине глаз бедного священника, битва была и вправду жестокой, и конечная победа вовсе не казалась предрешенной.

Глава 10
Лекарь и пациент

Старый Роджер Чиллингворт, от природы человек спокойный и доброжелательный, хотя и не отличался особой пылкостью чувств, но в отношениях с людьми всегда был прям и неподкупно честен. К расследованию своему он приступил, по его мнению, со всей строгостью и беспристрастностью судьи, единственным желанием которого является желание добиться истины, даже в случае, если доказательства эфемерны, подобно линиям и пропорциям начертанной в воздухе воображением геометрической фигуры, а само дело никак не касается ни страстей человеческих, ни зла, причиненного лично ему. Но чем дальше продвигался он в расследовании, тем больше и неодолимее охватывало его увлечение, все крепче сжимали его тиски необходимости — спокойно, но твердо продолжать начатое дело; старик знал, что тиски эти его не отпустят, пока задача не будет выполнена. Он все глубже проникал в душу бедного священника, копая и копая — подобно рудокопу в поисках золота или скорее

могильщику, раскапывающему могилу в надежде найти драгоценный камень, блестевший на груди мертвеца во время похорон, хотя, скорее всего, найдет он только прах и тлен. Горе душе, чьи мечты не взлетают выше!

Порою в глазах врача зажигался опасный синеватый огонек, казавшийся отсветом пламени, горящего в печи, или, скажем, того страшного огня, который, вырвавшись из жутких врат горы, описанной Баньяном, вдруг заиграл на лице паломника[18]. Это значило, что почва, на которой трудился сей неутомимый рудокоп, подавала ему некие обнадеживающие знаки. «Этот человек, — сам себе говорил он в такие минуты, при всей своей кажущейся чистоте и духовности, унаследовал от отца либо матери натуру, полную животной страстности. Так будем же копать дальше в этом направлении!»

Но затем, углубившись в сумрачные глубины души священника, переворошив в ней множество ценных пластов, таких как высокое устремление работать на благо народа, человеколюбие, чистота помыслов, врожденное благочестие, еще и усиленное мыслью, и умственными упражнени-

[18] Примечания: 18

Аллюзия на роман «Путь паломника» английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).

ями, и озарениями свыше, — все это богатство он, видимо, отбрасывал как совершенно ненужный хлам, отворачивался и, разочарованный, начинал копать в другом месте. Он двигался украдкой, осторожными шагами, поминутно оглядываясь — так проникает вор в комнату, где спит, а может быть еще и не спит, человек, охраняющий сокровище, берегущий пуще глаза своего то, что вор вознамерился украсть. Половицы под ногами вора то и дело поскрипывают, одежда на нем колышется, издавая шелест, тень от его находящейся в преступной близости фигуры падает на лицо жертвы. Иными словами, мистер Димсдейл, душевная чуткость которого нередко рождала интуитивные прозрения, иногда смутно ощущал рядом с собой нечто враждебное, желающее вторгнуться и нарушить покой его души. Но старый Роджер Чиллингворт обладал интуицией не менее тонкой, и потому, вдруг вскидывая на него тревожный взгляд, священник видел перед собой лишь своего врача, своего доброго, чуткого, полного сочувствия, но не назойливого друга.

И все же мистер Димсдейл, быть может, лучше бы разобрался в характере своего друга, если б болезненная мнительность, так часто свойственная людям несчастным, не заставляла его с

подозрением относиться ко всем вокруг. Не доверяя людям вообще и друзьям в частности, он не сумел распознать врага, когда тот действительно возник рядом. И мистер Димсдейл продолжал ставшее привычным общение, ежедневно беседуя со старым доктором в своем кабинете или заходя к нему в лабораторию, где отдыхал, наблюдая за тем, как различные травы превращаются в действенные лекарства.

Однажды он стоял возле открытого окна лаборатории и, облокотившись на подоконник, а рукою подпирая лоб, поглядывал на кладбище, разговаривая с врачом, разбиравшим ворох ничем не примечательных растений.

— Где это вы, добрый мой доктор, — спросил священник, покосившись на растения, ибо редко теперь он обнаруживал свою заинтересованность в предмете, — собрали растения, с такими пожухлыми темными листьями?

— Да здесь рядом, на кладбище, — отвечал, не прерывая своего занятия, доктор. — Никогда не видел таких. Я сорвал их на могиле, не имеющей ни надгробия, ни таблички с именем покойного. Лишь эти уродливые сорняки взяли на себя миссию сохранять память о нем. Они выросли из его сердца и, может статься, воплотили в себе

какой-то безобразный секрет, который он унес с собой в могилу, хотя лучше б было исповедаться в нем при жизни.

— Возможно, — заметил мистер Димсдейл, — он искренне желал это сделать, но не мог.

— А почему? — отозвался доктор. — Почему же не сделать того, о чем вопиет сама природа, взывая сознаться во грехе, если само сердце грешника прорастает черными травами — этим знаком утаенного преступления!

— Это все, друг мой, только ваша фантазия, — возразил священник. — Нет такой силы, если я понимаю это правильно, кроме Божественного откровения, которая была бы способна раскрыть, в словах ли, либо знаком тайны сердца человеческого, погребенные вместе с ним! Сердце, виновное в сокрытии подобной тайны, обречено хранить ее в себе до дня, когда раскроются все тайны! Да и в Священном Писании никак не говорится о том, что раскрытие помыслов и деяний человеческих в день Страшного суда задумано в наказание человеку как часть этого наказания. Такой взгляд был бы слишком плоским. Нет, подобные раскрытия, если я верно это понимаю, должны дать мыслящим существам познание, тем самым принеся им глубочайшее умственное

наслаждение. В тот великий день человечество застынет в ожидании момента, когда разверзнется тьма и загадка бытия разрешится. Для полного раскрытия этой тайны и необходимо полное знание всех сердец и всего, что в них таится. И я предвижу, как сердца, хранящие жалкие секреты, о которых вы говорите, в тот последний день раскроются, чтобы выдать эти секреты не через силу, неохотно, а с неизъяснимой, неописуемой радостью!

— Тогда почему же не раскрыть их сейчас? — спросил Роджер Чиллингворт, спокойно окинув взглядом священника. — Почему бы виновным не признаться в своих грехах, не доставить себе такой неизъяснимой радости?

— В большинстве своем они так и поступают, — отвечал священник, хватаясь рукой за грудь с такой силой, будто его терзает боль. — Много, много несчастных страдальцев исповедались мне, и не только на смертном одре своем, но полные жизненных сил, пользующиеся почетом и уважением. И неизменно после таких излияний я видел своими глазами, какое облегчение чувствовали эти грешные мои собратья! Как будто распахнулось окно, и в комнату, где дышали они доселе лишь спертым воздухом с нечистым

запахом греха, ворвались свежие, благоуханные ароматы! Да и могло ли быть иначе? Разве может несчастный, виновный, скажем, в убийстве, предпочесть хранить труп, пряча его в собственном сердце, тому, чтоб поскорее, при первой возможности, избавиться от него, и тогда пусть другие позаботятся о мертвом теле, соблюдая все законы.

— Однако находятся люди, которые все же предпочитают тайны свои скрывать, — спокойно заметил доктор.

— Вы правы, есть такие люди, — отвечал мистер Димсдейл. — Но, не говоря о причинах более очевидных, может быть, молчать их заставляет их натура? Слабость характера? Или же — разве нельзя предположить и такое? — будучи виноватыми, они все же сохраняют в себе стремление послужить во славу Божью и благу людскому и потому страшатся вдруг оказаться в глазах окружающих грязными мерзавцами, неспособными к добру, негодяями, чье темное прошлое невозможно будет искупить никакими благими деяниями. И вот влачат они свои дни в неизъяснимых мучениях, являясь во мнении людей чистыми как первый снег, в то время как души их запятнаны грязью сокрытого преступления, и смыть с себя

эти пятна они не могут.

— Такие люди обманывают себя, — сказал Роджер Чиллингворт с необычной для себя горячностью и даже сопровождая слова свои грозящим жестом перста. — Они боятся принять на себя груз стыда, который по праву должны взвалить на свои плечи. Человеколюбие, стремление послужить во славу Господа, может быть, и живут в их сердцах, но соседствуя, несомненно, с порочными помыслами, путь которым в их сердца проторил их грех, чтоб сеяли они там впредь дьявольские свои семена. Но если взыскуют они трудиться во славу Божью, то как смеют они простирать грязные свои руки вверх, к небесам! А если желают они посвятить себя служению людям, то пусть докажут присутствие в душе совести и силу своего духа, принудив себя к унижению раскаяния. Не станете же вы, мудрый и благочестивый друг мой, доказывать мне, что лицемерной ложью и притворством можно лучше послужить людям и славе Господней, чем богоданной истиной! Люди эти обманывают сами себя, уж поверьте мне!

— Может, и так, — произнес молодой священник равнодушным тоном, словно отмахиваясь от спора, который видится ему несущественным или несвоевременным. Сказать по правде,

он норовил избегать тем, способных сильно взволновать его тонкую и чувствительную натуру. — Лучше скажите мне, мой многоопытный врач, скажите как на духу, усматриваете ли вы пользу, приносимую вашей доброй заботой и лечением хрупкой моей телесной оболочке?

Но прежде чем Роджер Чиллингворт успел ответить, они услыхали звонкий безудержный детский смех, доносившийся со стороны примыкавшего к дому кладбища. Невольно выглянув в окно, открытое в этот летний день, священник увидел Эстер Принн и маленькую Перл, шедших по дорожке мимо могил. Перл была прекрасна, как божий день, но, видимо, находилась в очередном приступе строптивой и злой веселости; когда подобное с ней случалось, взывать к ее сочувствию, жалости, вообще пытаться приструнить ее было бесполезно. Сейчас она без малейших признаков благоговения скакала от могилы к могиле, пока не очутилась возле широкой и плоской украшенной гербом плиты, видимо, над могилой какого-то почтенного человека, может быть, и самого Айзека Джонсона. Вскочив на надгробие, девочка принялась плясать на нем, а когда мать, сначала строго одернув ее, затем стала умолять прекратить и вести себя прилично, девочка

занялась репейником. Набрав полную горсть колючек, она начала цеплять их на грудь матери, окаймляя колючками алую букву. Колючки, как им и положено, держались цепко. Эстер их и не отдирала.

Подойдя тем временем к окну и увидев эту картину, Роджер Чиллингворт хмуро улыбнулся.

— Для этого ребенка, — сказал он, не только собеседнику, но и себе самому, — не существует ни закона, ни почтения к людям уважаемым; приличия и мнения людей, правильные или неправильные, одинаково чужды самой ее природе. На днях, проходя по Спринг-Лейн, я стал свидетелем того, как девочка эта водой из поилки для скота обрызгала губернатора! Что она такое, скажите на милость? Неужто в этом бесенке нет ничего доброго, ничего, кроме зла? Доступны ли ей человеческие чувства? Что управляет ею, ведя по жизни?

— Одна лишь свобода отринутого закона, — отвечал мистер Димсдейл, тихо, словно размышляя вслух. — А есть ли в ней доброе, я не знаю.

Девочка, наверное, услышав их голоса, подняла голову к окну и с сияющей, но хитрой и шаловливой улыбкой швырнула в преподобного отца Димсдейла одну из колючек. Нервный молодой

человек съежился так, что казалось, будто этот снаряд сильно его напугал. Заметив его испуг, Перл в восторге захлопала в ладоши.

Эстер Принн тоже невольно подняла голову, и все четверо, и молодые и старые, молча глядели друг на друга, пока девочка, расхохотавшись, не крикнула:

— Пойдем, мама! А не то вон тот черный старик тебя схватит! Священника он уже поймал! Пойдем, не то он и тебя поймает! А вот маленькую Перл ему не поймать!

И она повлекла мать прочь, прыгая, приплясывая и безумно веселясь среди могильных холмов, так, словно не имела ничего общего с лежавшими под ними людьми, с поколением, ушедшим и похороненным, всякое родство с которым она отрицала. Она казалась существом совершенно новым, состоящим из каких-то иных, неведомых элементов, существом, которому волей-неволей придется разрешить жить по-своему и по своим законам и не вменять ей в вину все ее странности и безумства.

— А вот мы видим женщину, — продолжил Роджер Чиллингворт, — которая при всех своих возможных пороках все же не делает из греховности своей тайны, хранить которую, по вашему

мнению, непосильный груз. Так по вашему мнению, алая буква на груди Эстер Принн делает ее менее несчастной?

— Я и правда в это верю, — отвечал священник. Но так ли это на самом деле, знать доподлинно может только она. На ее лице я видел выражение боли, наблюдать которую тяжело, но я продолжаю считать, что возможность выразить свое страдание приносит облегчение страждущему и что бедной Эстер так легче, чем если бы пришлось скрывать боль в глубине сердца.

Они умолкли, и врач опять занялся своими травами.

— Вы интересовались только что, — наконец заговорил он, — моим мнением насчет состояния вашего здоровья.

— Да, — подтвердил священник, — и очень хотел бы его узнать. Поделитесь им со мной со всей откровенностью — прошу!

— Ну если откровенно и по правде, — сказал врач, не прерывая своего занятия, но опасливо поглядывая на мистера Димсдейла, — то надо признать недуг ваш очень странным, и странен он не сам по себе и не внешними признаками своими, по крайней мере судя по моим наблюдениям. Видя вас ежедневно, добрый мой друг,

месяц за месяцем, следя за переменами в вашем облике, я пришел к выводу, что болезнь ваша весьма серьезна, но не настолько, чтобы грамотный и внимательный доктор не мог надеяться вас излечить. И все же — не знаю даже, как выразиться, болезнь вашу я вроде бы понимаю и в то же время не понимаю.

— Вы, высокоученый сэр, говорите загадками, — произнес священник. Он был бледен и, отводя взгляд, то и дело устремлял его в окно.

— Ну, говоря проще, — продолжал доктор, — и ради бога, прошу прощения, если вас покоробит вынужденная прямота моих слов — ответьте мне как другу, как человеку, которому само Провидение поручило заботу о жизни вашей и физическом благополучии, ответьте на такой вопрос, все ли о вашем недуге мне известно и передано?

— Как можете вы в этом сомневаться! — воскликнул священник. — Было бы глупым ребячеством, призывая врача, скрывать от него какие-то подробности заболевания.

— Так, значит, вы подтверждаете, что рассказали мне все? — спросил Роджер Чиллингворт и, медленно подняв глаза, так и впился в лицо священника пронзительным и пристальным

взглядом. — Хорошо, если так. Но одно вам скажу: тот, кому открыта только внешняя физическая сторона недуга, нередко понимает лишь половину того, что намерен лечить. Телесные проявления болезни, устранением которых мы нередко и ограничиваемся, считая, что только в них одних болезнь и заключается, могут оказаться, в конце концов, лишь симптомом какого-то глубокого недуга, корень которого — сфера духовная. Еще раз прошу простить меня, сэр, если слова мои хоть в какой-то степени кажутся вам обидными, но в вашем естестве больше, чем у кого-нибудь другого из известных мне людей, сторона физическая, телесная, и сторона духовная связаны и переплетены. Ваше тело, можно сказать, проникнуто душой, духом, являющимся как бы его инструментом, орудием.

— Если так, дальнейшие расспросы бессмысленны, — сказал священник, с некоторой поспешностью поднимаясь со стула. — Как я понимаю, лечением больной души вы не занимаетесь.

— И потому болезнь, — продолжал Чиллингворт, не меняя тона и не обращая внимания на слова священника, но, поднявшись и воздвигнув напротив исхудалого, бледного как мел юноши свою низкорослую уродливую темную фигуру, —

или, если угодно, какая-то рана, язвящая вашу душу, будет немедленно проявляться и в телесном вашем состоянии. Так как же врачу лечить ваш телесный недуг? Сможет ли он это сделать, если вы сперва не откроете ему то, что мучит или тревожит вашу душу?

— Нет! Не вам! Не земному доктору открою я свою душу! — пылко воскликнул мистер Димсдейл. Резко повернувшись к старому Роджеру Чиллингворту, он глядел на него теперь, гневно сверкая глазами. — Не вам лечить ее! Если это и вправду болезнь души, то я доверюсь только тому единственному, кто способен лечить больные души. Он, если ему это будет угодно, меня вылечит, если нет — пусть убьет. Пусть сделает то, что в мудрости своей сочтет для меня самым справедливым и лучшим. Кто вы такой, чтобы посметь вмешаться в то, что должно оставаться его делом, чтобы вклиниваться между страдальцем и Господом его!

И с этими словами он бросился вон из комнаты.

— Нет, ход мой был все же правильным, — сказал себе Роджер Чиллингворт, с ухмылкой глядя вслед священнику. — Ничто не потеряно. Мы опять подружимся. Но удивительно, с какой

полнотой человек этот способен отдаться страсти — он же буквально вышел из себя! Туда, где есть место одной страсти, могла проникнуть и другая. Он совершил безумство, этот святоша, со всей горячностью пылкого сердца предавшись страсти!

Восстановить близкие отношения труда не составило, и два друга стали вновь общаться так же тесно, как прежде. Пробыв несколько часов в одиночестве, молодой священник решил, что всему виной его расстроенные нервы, что это они вызвали у него столь некрасивую вспышку ярости в ответ на слова врача, не содержавшие ничего, за что стоило бы извиниться. Он сам поражался той ожесточенности, с какой оттолкнул от себя доброго старика, который всего лишь предлагал ему врачебную помощь, каковую оказывать его обязали долг и просьба самого больного. Терзаемый угрызениями совести, священник не стал медлить и пространными извинениями умолил доктора продолжить лечение, которое хоть и не вернуло ему пока здоровье, но, по всей вероятности, поддерживало хилое его естество, помогая дожить до этого часа. Роджер Чиллингворт охотно внял просьбе друга и продолжил свою заботу о пациенте, наблюдая его и делая для него все, что только можно, но каждый раз после осмотра,

когда мистер Чиллингворт покидал больного, на лице врача появлялась загадочная и несколько недоуменная улыбка. В присутствии мистера Димсдейла врач так не улыбался, но стоило ему переступить порог, отделявший его половину дома от комнат священника, как улыбка эта неизменно возникала.

— Странный случай! — бормотал он. — Надо вникнуть в него поглубже. Связь души и тела этого пациента просто поражает воображение! Я должен разгадать тайну такой неразрывности хотя бы во имя науки!

Однажды случилось так — а было это вскоре после описанной выше сцены, — что преподобного мистера Димсдейла, в полуденный час сидевшего в своем кресле за столом, на котором лежала открытая книга — толстый старинный фолиант, неожиданно сморил глубокий сон. Вполне вероятно, что книга эта относилась к той разновидности литературы, которая содержит в себе нечто снотворное. Глубина сна, в который вдруг среди бела дня погрузился священник, кажется нам тем более странной, поскольку мистер Димсдейл принадлежал к людям, чей сон обычно непродолжителен и чуток. Такой сон легко вспугнуть, легкий шорох — и он упорхнул, как птичка,

перелетевшая с ветки на ветку. Но тут, однако, душа священника совершенно отдалилась от внешнего мира, уйдя в себя так глубоко, что когда в кабинет без каких-либо предосторожностей вошел старый Роджер Чиллингворт, мистер Димсдейл даже не пошевелился. Старый доктор прямиком направился к пациенту и, положив руку ему на грудь, отвел в сторону ворот нижней рубашки, которая всегда оставалась на священнике даже во время осмотра.

Тут уж, конечно, мистер Димсдейл вздрогнул и зашевелился. Помедлив немного, доктор отвернулся. Но какое выражение, полное восторга, ужаса, несказанного удивления, появилось на его лице! Казалось, полнота этих чувств так огромна, так сильна, что лицо не способно их ни вместить, ни удержать, и потому они выплеснулись, выразились в диких жестах, когда он вскинул руки, когда затопал ногами. Увидев старого Роджера Чиллингворта в этот момент его безудержного восторга, можно было бы представить себе радость Сатаны, когда тому удается заполучить в свои пределы очередную жертву, драгоценную душу человеческую, навсегда лишив ее небесного блаженства. Но в отличие от сатанинской радости к восторгу доктора примешивалось и

удивление.

Глава 11
В глубинах сердца

После только что описанного случая общение священника и врача, внешне никак не изменившееся, в действительности приобрело несколько иной характер и уже не было таким, как прежде. Роджеру Чиллингворту путь, ему предстоявший, теперь виделся достаточно простым и ясным, и путь этот отличался от того, каким доктор воображал его ранее. Спокойный, ласковый в обращении, сдержанный мистер Чиллингворт на самом деле, как мы со страхом подозревали, таил в душе бездну зла. Зло это лежало тихо и не давало о себе знать, но сейчас оно встрепенулось, заставив несчастного старика замыслить месть, какой еще ни один смертный не мстил злейшему своему врагу. Превратиться в единственного задушевного друга, человека, которому одному можно поверять все свои страхи, муки совести, слабые попытки раскаяния, былые грехи, возвращающиеся потоком воспоминаний, которые никак не вытравить из памяти! И все эти страдания преступной души, сокрытые от мира, щедрое

сердце которого, сокрушаясь, все же сумело бы простить, откроются теперь ему, безжалостному и непрощающему! И только этот излитый на него темный поток может стать его сокровищем, единственным, что способно утолить его жажду мести.

Застенчивый и чуткий священник был сдержан и тем препятствовал осуществлению плана. Однако Провидение, использующее и мстителя, и жертву по-своему и для своих каких-то неведомых целей, подчас прощающее там, где следовало бы карать особенно жестоко, на этот раз определило такой ход вещей, который доктора, лелеявшего свой ужасный план, удовлетворил, и удовлетворил вполне. Старику было даровано то, что он мог бы даже посчитать откровением. Для выполнения задуманного доктору было не важно, откуда оно — ниспослано ли небом или исходит из совсем иных областей, но с его помощью в дальнейшем общении с мистером Димсдейлом последний ясно виделся доктору не просто как физический объект, так же ясно видел он и его душу, различая каждое ее движение. Доктор становился теперь не только наблюдателем, зрителем, но и главным действующим лицом драмы, разыгрываемой в душе несчастного священника.

Доктор получил возможность играть на струнах этой души. Ударить ли по ним, вызвав дрожь немыслимого страдания? Жертва теперь навеки в его власти, надо только знать главную педаль, приводящую в движение пыточную машину, и доктору отлично известно, где эта педаль. Может, ошеломить его, сковать мгновенным ужасом? Как по мановению волшебной палочки, вырастал кошмарный призрак — один, другой, тысяча призраков разнообразных форм и видов — призрак смерти, и еще более страшный — позора, и все они толпились вокруг священника, тыча пальцами ему в грудь!

Все это делалось так тонко, что священник, хотя его и не оставляло неясное подозрение, что рядом с ним притаилось какое-то зло и не сводит с него глаз, не мог догадаться, что это за зло и в чем оно состоит. Правда, порою он оглядывал с сомнением, ужасом и даже с какой-то горькой ненавистью уродливую фигуру старого доктора. Все его движения, походка, седая борода, все, даже самые обыденные и незначительные его поступки, даже его платье, вдруг начинали казаться Димсдейлу отвратительными и вызывали у него невольное чувство глубокой неприязни. В чувстве этом даже себе самому он не хотел

признаться, и так как причин для подобного недоверия и даже отвращения мистер Димсдейл не видел, он объяснял дурные свои предчувствия тем ядом, каким отравляла его сердце засевшая в нем болезнь. Он заставлял себя не обращать внимания на возникшую антипатию к доктору и, вместо того чтобы положиться на интуицию и прислушаться к внутреннему голосу, старался искоренить в себе все подозрения. И, хоть это и оказывалось невозможным, он почитал своим долгом продолжать эти отношения, внешне по-прежнему дружеские, предоставляя тем самым все новые и новые возможности оттачивать свой план мести доктору — этому заблудшему мстителю, еще более несчастному, чем несчастная его жертва.

Страдая телесным недугом, мучаясь душевной травмой, беззащитный перед происками злейшего своего врага, преподобный мистер Димсдейл приобрел в это время громкую славу, достигнув больших успехов на избранном им духовном поприще. Славу эту он в немалой степени завоевал благодаря своим страданиям, ведь нравственная его чуткость, способность испытывать и передавать эмоции необычайно развились в нем из-за неослабных, день за днем,

и мучительных укоров совести. Популярность его, как молодого священника, еще только росла, но уже затмевала устоявшиеся репутации многих его собратьев по призванию, в том числе и самых видных, посвятивших освоению богословской премудрости больше лет, чем мистер Димсдейл прожил на этом свете, и потому, вполне вероятно, обладавших ученостью более глубокой, нежели наш юный герой. Среди пастырей были люди, наделенные умом большой проницательности и силы, умом непреклонным и крепким, как железо или же гранит, что в сочетании с должной мерой доктринерства и создает тип в высшей степени почтенного, хоть и не очень приятного священнослужителя. Встречались и другие служители Господа — обладавшие истинной святостью люди, взрастившие и воспитавшие ум свой неустанным и кропотливым трудом — чтением книг, неспешными и терпеливыми размышлениями; духовное общение с миром лучшим и высшим — дар такого общения они получили в награду за чистоту помыслов и жизни — делало и их самих существами как бы уже и не совсем земными, хотя пока еще и в смертной, плотской оболочке. Не хватило им только одного — дара, некогда ниспосланного избранным

в Троицын день в виде огненных языков, символизировавших, как нам думается, не столько способность говорить на чужих, неведомых наречиях, сколько умение говорить сердцем, а значит, возможность обратиться ко всем людям на земле и речью своей проникнуть в их сердца. Наши же святые отцы, во всем другом подобные апостолам, были лишены последнего и самого редкого из даров, которым Небо подтверждает пасторское призвание, — дара пламенного красноречия. Напрасно стали бы они пытаться — если б зародилась в них такая мечта — выразить высочайшие истины посредством обыденных скудных слов и образов. Речь их звучала бы невнятно: с высот, где витают эти люди, в земные сердца голосам их не проникнуть.

Надо сказать, что многие черты характера мистера Димсдейла сближали его с людьми такого рода, от природы вовсе ему не чуждыми. Он мог бы подняться к вершинам веры и святости, не препятствуй этому груз преступления и страданий, под тяжестью которого он вынужден был сгибаться и замедлять шаги. Груз этот тяготил его, придавливая к земле, низводя до уровня ничтожнейших из ничтожных, его, одаренного духовным богатством, человека, чей голос,

сложись все иначе, доносился бы до ангелов небесных и они откликались бы ему. Но этот же груз научил его сочувствию грешным собратьям человеческим, сочувствию столь пылкому и искреннему, что сердце его начинало биться с ними в унисон, а боль их, смешавшись с его болью, пронзала тысячи сердец, изливаясь в горестных потоках неодолимо убедительного красноречия. Поражая убедительностью, красноречие его вызывало подчас трепет ужаса. Люди не могли постигнуть силы, повергающей их в этот трепет. Они провозгласили молодого священника чудом святости, воображая его тем рупором, через который Господь шлет свои послания, исполненные мудрости, укоризны и любви. В их глазах даже земля, по которой он ступал, обретала святость. Принадлежавшие к его пастве юные девы, бледнея от восторга, теснились вокруг него и окружали священника благоговением столь сильным и страстным, что, путая чувство свое с верой, считали это чувство достойной жертвой Господу, в чем и признавались открыто у святого алтаря. Престарелые поклонники мистера Димсдейла, наблюдая, как слабеет и хиреет его телесная оболочка, подозревали, что кумир их окажется на небесах ранее их, крепких, несмотря

на возраст, и поручали детям проследить, чтобы прах их упокоился поближе к могиле благословенного Богом пастыря. И это в то время, когда сам мистер Димсдейл, размышляя о своей кончине, возможно, задавался вопросом, вырастет ли трава на могиле человека, проклятого Небом.

Трудно вообразить, как мучило его это всеобщее поклонение. А ведь он так искренне был предан истине, считая все, лишенное ее божественной сути, призрачным, не имеющим цены, мертвенным в своей основе. А тогда что же представляет собой он? Существует ли он на самом деле, или же он призрак, сгусток тумана, туманнее всех других призраков? Как бы желал он высказаться, возгласить истину со своей кафедры громогласно, во всю силу своих легких, признаться людям в том, что он собой представляет, крикнув: «Я, кого вы видите в черном священническом облачении, кто осмеливается подниматься на святую эту кафедру, чтобы, обратив к небесам бледное лицо свое, общаться от вашего имени со Всевышним и Всеведущим, я, в чьей жизни и деяниях усматриваете вы сходство с жизнью и деяниями святого пророка Еноха, я, каждый шаг которого, как вы полагаете, оставляет на земле сияющий след, чтобы идущим моим путем и вслед за мною

легче было бы достигнуть края вечного блаженства, я, в чьи руки вы отдаете младенцев ваших для крещения, я, произносящий слова отходного моления у одра умирающих друзей ваших, шепчущий последнее «аминь», последнее «прости», слабо долетающее до слуха тех, кто покидает этот мир, я, ваш пастор, кому вы верите, кого почитаете, в действительности не кто иной, как грязный лжец!»

Не раз поднимался мистер Димсдейл на кафедру с твердым намерением не спуститься с ее ступеней, прежде чем не скажет слов, подобных только что написанным. Не раз откашливался он и, сделав глубокий прерывистый вдох, готовился вместе с выдохом сбросить с своей души тяжкий груз, тяготивший ее темной тайной. Не раз, да что там, сотни, сотни раз начинал он говорить и говорил. Но что и как он говорил? Он говорил слушавшим, что он порочен, порочнее всех порочных и грешнее всех грешников, что он мерзок сверх всякой меры и можно только удивляться, что праведный гнев Вседержителя до сих пор не испепелил жалкое тело грешника прямо на глазах у его паствы. Можно ли было сказать прямее? Почему не вскочили люди со своих мест, не стащили с кафедры того, кто так ее оскверняет?

Они слушали эти речи и преисполнялись еще большим уважением к пастору. Они понятия не имели об истинном смысле, таившемся в ужасных словах подобного самобичевания.

«Святой юноша! — говорили они. — Сама святость спустилась к нам с небес! Если он в чистой как снег душе своей зрит такую бездну греха, какой же ужасной картиной должна ему представляться моя душа или твоя!»

Священник — при всей искренности раскаяния остававшийся ловким лицемером, отлично знал, как будет толковаться столь туманно выраженное покаяние. Стараясь облегчить свою совесть таким образом, он обманывал сам себя, добавляя к грехам своим новый грех, приносивший ему вместо облегчения стыд еще больший. Он ощущал и сам, что обманывает себя, что, говоря истинную правду, превращает ее в ложь. А ведь по натуре своей он был предан истине, любил ее, ненавидя ложь так, как мало кто ее ненавидел.

Душевные муки заставляли его прибегать к практикам, более приличествующим старой развращенной римской вере, нежели той светлой, обновленной церкви, в которой он был рожден и воспитан. В секретном шкафчике под замком хранил мистер Димсдейл окровавленную плеть,

и часто этот протестант, этот просвещенный пуританин стегал себя по плечам плетью, смеясь горьким смехом и нанося удары тем безжалостнее, чем горше звучал этот смех. Как и многие другие благочестивые пуритане, он взял себе в обычай поститься, но в отличие от них, постившихся, только лишь чтобы очистить тело, приготовляя его к лучшему восприятию исходящего с небес света, мистер Димсдейл постился истово, яростно, чуть не падая от изнеможения. Ночь за ночью он устраивал себе бдения, то сидя в кромешной тьме, то при еле теплящейся лампаде, а иногда, светя себе в лицо ярким светом, разглядывал в зеркале свои черты, тем самым продлевая и усугубляя мучительное свое самокопание, не очищая душу, а истязая ее. В эти долгие, напоенные страданием часы ночных бдений сознание его часто замутнялось и в сумрачном полумраке перед взором его начинали мелькать видения, то туманные, то более отчетливые, они приближались к нему в зеркале. Дьявольские рожи возникали, издевательски скалились, кивали бледному как мел священнику, манили его, увлекали за собой. А порою сонм сияющих ангелов, устремляясь прочь от него, взлетал ввысь, поначалу тяжело, словно ангелов отяго-

щала скорбь, а затем, удаляясь, они становились легче, прозрачнее и исчезали. Потом ему являлись умершие друзья его юных лет; седобородый благочестивый отец его хмурился, глядя на сына, и мать, проходя мимо, отворачивалась. «Мама, туманнейшее из всех призрачных порождений моей фантазии, неужели даже ты не можешь взглянуть на меня с состраданием!» А иногда в ужасном этом хороводе по комнате скользила Эстер Принн рядом с маленькой Перл, одетой в красное. Эстер указывала пальцем на алую букву у себя на груди, а потом палец перемещался, указывая теперь на его грудь.

Никогда видениям этим не удавалось до конца обмануть священника своей призрачностью. Сделав известное усилие, он в любую минуту мог различить их реальность и убедить себя в том, что, не обладая достоверностью таких реальных предметов, как вон тот стол из резного дуба или вон та толстая богословская книга в кожаном переплете с медными застежками, они тем не менее являются самыми реальными и самыми существенными из всех вещей, что его окружают. Невыразимое несчастье жизней, подобных той лживой жизни, которую вел он, состоит в том, что они разрушают самую суть реальности, изымая

из нее все то, чем Небо снабдило ее на радость нам и счастье. Лживому весь мир видится лживым, он для него неуловим и при малейшей попытке ухватить его превращается в ничто и исчезает. А сам лжец, представая в ложном свете, тоже превращается в призрак, как бы исчезая для жизни реальной. Единственно несомненным в мистере Димсдейле была его мучительная глубокая тоска, и только она, выражаясь во всем его облике, и придавала ему реальность. Найди он в себе силы улыбнуться, принять веселый вид, и он попросту исчезнет.

В одну из таких ночей, на весь ужас которых мы лишь намекнули, не решаясь полностью его описать, мистер Димсдейл встал со своего кресла. Одевшись со всей тщательностью, с какой одевался, собираясь на службу, он крадучись спустился по лестнице, отпер дверь и вышел.

Глава 12
Бдение пастора

Бредя словно в полусне, а может быть, и впрямь находясь в сомнамбулическом состоянии, мистер Димсдейл добрался до места, где некогда, к тому времени уже довольно давно, Эстер Принн пережила первые часы своего прилюдного позора. Все тот же помост, или эшафот, за семь долгих лет успевший потемнеть от непогод, выцвести на солнце, расшататься под ногами всходивших на него многочисленных преступников, был все там же, под балконом молитвенного дома. Священник взошел на помост.

Стояла темная ночь начала мая. Все небо, от края и до края, было затянуто облачной пеленой. Стянись сейчас к эшафоту столько же людей, сколько собрало сюда в свое время публичное наказание Эстер Принн, они не различили бы ни лица стоявшего на помосте человека, ни даже очертаний фигуры — настолько плотно все окутывал полночный мрак. Однако городок погрузился в сон. Опасности разоблачения не было. Священник при желании мог стоять так

хоть до утра, дожидаясь, пока не заалеет восток, без всякого риска для себя, кроме, может быть, риска, продрогнув на ночном холоде, подхватить ревматизм, застудить горло и после мучиться кашлем, прерывающим, к огорчению его паствы, его утреннюю молитву и проповедь. Ничьи глаза не видели бы его, кроме глаз того, вездесущего и никогда не дремлющего, который следил за священником, стегающим себя кровавой плетью. Зачем же тогда поднялся он на помост? Не было ли это пародией покаяния? Да, несомненно, так и было, таким раскаянием душа его обманывала самое себя, в то время как ангелы небесные краснели при виде этого и заливались слезами, а приспешники врага рода человеческого, ликуя, хлопали в ладоши. На помост привели его угрызения совести и сильнейшее желание повиниться и раскаяться, в то время как сестра и верная спутница раскаяния трусость неизменно останавливала его, удерживая своей дрожащей рукой в минуты, когда желание толкало его вперед, на самую грань раскаяния. Бедный, жалкий человек! Какое право имеет слабость взваливать на себя бремя преступления! Преступнику требуются железные нервы, чтобы либо уметь снести потом тяжесть свершенного, либо, собрав

всю силу и ярость свою, направить их на благое дело, способное затмить преступление и разом избыть его!

Слабый духом, чересчур чувствительный священник не способен был ни на то ни на другое, и что бы он ни делал, за что бы он ни брался, страх перед небесным возмездием за страшный его грех и бессильное раскаяние, переплетаясь, мучили его душу нестерпимой болью.

И вот когда мистер Димсдейл, стоя на эшафоте, мучился бесполезным своим и бессильным покаянием, его вдруг охватил приступ неимоверного ужаса — ему показалось, что вся вселенная глядит на него, устремляя взор на знак позора на обнаженной его груди, алеющий там, где сердце. В этом месте, и вправду, уже давно сосредоточивалась боль, неотступно вгрызавшаяся в тело. И сейчас невольно и уже не в силах более сдерживаться, он издал вопль, прорезавший ночь, промчавшийся между домами, эхом рассыпавшийся в окрестных горах. Казалось, будто скопище чертей, влекомых бесконечным горем и ужасом, прозвучавшими в этом вопле, превратили его в игрушку и сейчас забавлялись, как мячом, перебрасываясь ею.

— Вот оно! — пробормотал священник, закры-

вая лицо руками. — Сейчас весь город проснется, поспешит сюда и увидит меня на помосте!

Но ничего не произошло. Должно быть, вопль собственным его ушам показался громче, чем был на самом деле. Город не проснулся, а если кто и услышал его со сна, то, верно, решил, что звук этот ему приснился, или приписал его ведьмам, которые в эту пору нередко пролетают над мирно спящими поселками или уединенными домами, когда летят на сатанинский шабаш. Не услыхав никакого отклика, священник отнял руки от лица и огляделся. В одном из окон особняка губернатора Беллингема, расположенного в некотором отдалении от других домов, вытянувшихся в ряд на соседней улице, он вдруг увидал самого старика губернатора, в ночном колпаке и длинном белом шлафроке. Он выглядывал из окна, держа в руках лампу, и казался призраком, внезапно вставшим из могилы. По-видимому, вопль разбудил его и испугал. Больше того, в другом окне того же дома показалась матушка Хиббинс, сестра губернатора. В руках она также держала лампу, и при свете лампы даже на расстоянии было видно, какое злое и недовольное у нее лицо. Высунув голову из-за решетчатого оконного переплета, она щурилась, глядя куда-то вверх. Вне всякого

сомнения, эта почтенная, но столь похожая на ведьму дама, услышав вопль мистера Димсдейла, еще и повторенный многоголосым эхом, приняла за шум, поднятый направлявшимися в лесные дебри злыми силами, — полет, в котором и она, как говорили, нередко участвовала.

Заметив свет губернаторской лампы, старая дама быстро погасила свою и скрылась. Возможно, и она устремилась в облака, во всяком случае, священник более ее не видел. Губернатор же, опасливо обозрев плотный, как мельничный жернов, мрак, отступил от окна.

У священника отлегло от сердца. Однако глаза его вскоре заприметили огонек. Появившись в дальнем конце улицы, он приближался, попутно освещая то придорожный столб, то изгородь, то переплет окна, то водокачку и полную воды колоду, то дубовую арку двери какого-нибудь дома с железным молотком при входе и грубо обструганным порогом. Вид этих хорошо знакомых предметов не помешал преподобному мистеру Димсдейлу увериться в том, что это само возмездие приближается к нему шагами, которые он уже слышал, и что свет фонаря через минуту откроет так долго хранимый им секрет. Когда огонек приблизился, то в отбрасываемом им

светлом круге мистер Димсдейл мог разглядеть своего собрата-священника, а вернее сказать, духовного отца и наставника, а также дорогого друга своего, преподобного мистера Уилсона, который, как догадался мистер Димсдейл, должно быть, возвращался после бдения у одра умирающего. Догадка была справедливой. Добрый старик-пастырь возвращался после молитв о душе почившего час назад и унесенного на Небо губернатора Уинтропа. Отец Уилсон двигался к дому, держа в руке фонарь. Он шел, окруженный светлым ореолом, подобно отмеченным святостью деятелям былых времен, и свет этот озарял во мраке греха его славный путь, как будто почивший губернатор оставил ему в наследство кусочек своей славы, или же то были лучи света далекого Града Небесного, в чьи врата вступал ныне праведник. Неровный свет фонаря и вызвал к жизни описанную выше игру воображения мистера Димсдейла, который теперь улыбнулся, нет, засмеялся над только что пережитым страхом, подумав даже, не сходит ли он с ума.

Когда преподобный мистер Уилсон, одной рукой кутаясь в свой женевский плащ, а другой держа перед собой фонарь, проходил мимо, совсем близко от помоста, священник не удержался

и окликнул его.

— Добрый вечер, достопочтенный отец Уилсон! Поднимитесь сюда, прошу вас, скоротаем часок за приятной беседой!

Бог мой! Неужели мистер Димсдейл и вправду подал голос? На один миг он поверил в то, что на самом деле с губ его слетели эти слова. Но ему это лишь почудилось. Достопочтенный отец Уилсон продолжал так же неспешно шагать вперед по скользкой от грязи тропинке, внимательно глядя себе под ноги, и даже не повернул головы в сторону помоста. Когда мерцающий свет фонаря совсем растворился вдали, по ощущению слабости, вдруг охватившей все его существо, священник понял, что только что пережил мгновения страшной тревоги, своего рода кризис, который инстинктивно пытался преодолеть, обратив в мрачноватую шутку.

И вскоре в строгие ряды его мыслей затесалось осознание нелепости всего происходящего. Он почувствовал, как руки и ноги его сковывает непривычный ночной холод, и усомнился, сможет ли спуститься вниз по ступенькам помоста. Забрезжившее утро застанет его здесь, наверху; в соседних домах начнут просыпаться люди. С рассветом дом покинет первая ранняя пташка и

заметит на эшафоте позора неясные очертания чьей-то фигуры. Разрываясь между испугом и любопытством, человек этот побежит от двери к двери, стуча и созывая народ посмотреть на призрак, как он непременно решит, какого-то недавно упокоившегося преступника. И полетит от дома к дому, хлопая крыльями, темная тревожная весть. Затем, когда утренний свет наберет силу, поднимутся и заспешат к месту происшествия старейшины общины в теплых халатах, почтенные дамы сбегутся, даже не успев сменить ночной наряд. Важные лица, всегда безукоризненно одетые, примчатся растрепанные, словно после ночного кошмара. Старый губернатор Беллингем явится с суровым видом, но со съехавшими на сторону брыжами времен короля Якова, а за ним поспешит и матушка Хиббинс в юбках с приставшим к ним лесным мусором — еще более хмурая, чем после ночной своей скачки.

И добрый отец Уилсон придет; он полночи провел у постели умирающего и будет недоволен тем, что его потревожили в такую рань, прервав сновидения, в которых он общался с прославленными святыми. Старшины и священство его, мистера Димсдейла, прихода, разумеется, тоже будут здесь, и юные девы, так поклонявшиеся

своему духовному отцу, хранившие, как святыню, его образ на белой своей груди, которую не успеют сейчас прикрыть шалью. Словом, все, все выйдут за порог и примчатся сюда, обращая к эшафоту изумленные, испуганные лица. А кого же увидят они в розовых рассветных лучах? Кого, как не преподобного Артура Димсдейла, озябшего до полусмерти, охваченного стыдом, стоящего там, где стояла Эстер Принн!

Переживая эту ужасную воображаемую картину, священник внезапно и, к беспокойному своему смущению, расхохотался. И раскаты его смеха были подхвачены тоненьким смехом ребенка, отчего сердце священника сжала не то щемящая боль, не то радость — он узнал смех маленькой Перл!

— Перл! Малютка Перл! — Вскричал и тут же, понизив голос: — Эстер! Эстер Принн! Это ты здесь?

— Да, это я, Эстер Принн! — отвечала она удивленно, и священник услыхал приближающиеся шаги — женщина сошла с тротуара и подошла к помосту. — Это я и моя маленькая Перл!

— Откуда ты здесь, Эстер? — спросил священник. — Что привело тебя сюда?

— Я была у одра умирающего, — отвечала Эстер

Принн. — Сидела возле губернатора Уинтропа, снимала с него мерку для савана, а сейчас иду домой.

— Поднимись на помост, Эстер, поднимитесь обе — ты и маленькая Перл, — сказал преподобный мистер Димсдейл. — Вы стояли здесь раньше, но меня тогда с вами не было, поднимитесь сюда вновь, и мы встанем здесь втроем!

Женщина молча поднялась по ступенькам и встала на помосте, держа за руку маленькую Перл. Священник тоже взял девочку за руку. И как только он это сделал, в душу ему устремился бурлящий поток другой, новой жизни. Поток этот, хлынув по жилам, наполнил его, словно мать и дитя согрели своим теплом его, замерзшего, застывшего. Их троих будто соединили невидимые узы.

— Отче! — шепнула маленькая Перл.

— Что хочешь ты сказать, дитя? — осведомился мистер Димсдейл.

— Ты и днем будешь здесь стоять со мной и мамой? — спросила Перл.

— Нет, маленькая Перл, — отвечал священник, ибо вместе с возвращением сил к нему вернулся и так долго мучивший его ужас перед публичным признанием. Дрожь этого ужаса — смешанного,

однако, с какой-то странной радостью, он ощутил вновь. — Нет, не в этот день. Я встану здесь вместе с тобой и мамой, но не завтра.

Перл засмеялась и попыталась выдернуть руку, но священник держал ее крепко.

— Еще чуть-чуть постой так, детка, — произнес он.

— А ты обещаешь, — спросила Перл, — держать меня и маму за руку утром?

— Утром нет, Перл, — сказал священник. — В другой раз.

— А когда «в другой»? — не унималась малышка.

— В день Страшного суда, — прошептал священник, и странным образом вернувшееся к нему осознание своего долга — учить людей истине — заставило его пояснить: — Тогда и только там, перед престолом Судии, — твоя мать, и ты, и я должны будем стоять вместе. А грядущее утро здесь, на земле, вместе нас не увидит.

Перл опять рассмеялась.

Но еще прежде чем закончил мистер Димсдейл, сумрачное небо осветил сияющий свет — сверкнув вдали, он ширился и разливался. Без сомнения, это сияние было вызвано метеором, из тех, что нередко можно наблюдать сгорающими

в разреженных слоях атмосферы. Таким сильным было сияние, что плотная пелена туч, затянувших небесный свод, зажглась и засверкала, словно колпак горящей лампы. Сияние это осветило привычную картину улицы, обозначив все на ней с дневной четкостью, но по-новому: деревянные дома с их выступами и коньками крыш, ступеньками крылец, порогами дверей, траву, пробивающуюся возле порогов, садовые грядки с черной вспаханной землей, колею дороги, еще не наезженную и даже на рыночной площади окаймленную зеленью, — все было видно теперь, и все приобрело неповторимо новый облик, изменив свое значение и свой смысл. А на помосте стоял священник, прижимая руку к сердцу, а рядом с ним Эстер Принн с мерцающей на груди вышитой буквой и маленькая Перл — как символ и соединяющее их звено. Они стояли освещенные этим странным торжественным сияющим светом, казалось, предназначенным открыть все тайное, чтобы наступающий день соединил наконец тех, кто принадлежал друг другу.

Во взгляде Перл мелькало что-то колдовское, и когда, поднимая голову, она глядела на священника, на лице ее появлялась шаловливая улыбка, которая так часто придавала ей сходство с эль-

фом. Отняв свою руку у мистера Димсдейла, она указала на что-то на противоположной стороне улицы. А он, прижав к груди обе руки, устремил взгляд на небо, в точку зенита. В те времена пролет метеора или прочие природные явления, случающиеся с регулярностью меньшей, нежели восход и закат солнца или луны, обычно воспринимались как чудо из чудес, как откровения неких высших сил. К примеру, сверкнувшее вдруг в солнечном небе копье, пламенеющий меч, лук и пучок стрел предвещали якобы стычку с индейцами. Знаком близящегося чумного мора считалось алое свечение неба. Вряд ли случалось в Новой Англии, начиная с первых в ней поселений и вплоть до времени Революции, какое-либо знаменательное событие, доброе или же, наоборот, несчастное, о котором жителей не предупреждал бы некий видимый знак такого рода. Нередко знак этот замечали многие. Но чаще, однако, вера в подобные предзнаменования опиралась лишь на слова какого-нибудь одного-единственного свидетеля, увидевшего нечто сквозь цветистое увеличительное стекло собственного воображения и потом, уже задним числом, получившего из увиденного представление о нем как о чуде. Как величественно это убеждение в том, что судьба

народов может быть явлена на небесном своде и разгадана в наблюдениях за этими таинственными и страшными иероглифами. Необъятные размеры сего свитка не смутят Провидение и никак не помешают ему начертать недрогнувшей рукой роковой знак. Вера в подобные предзнаменования ценилась нашими праотцами как залог и доказательство того, что по-детски слабая и неокрепшая еще республика находится под особым, неусыпно строгим, но любовным попечением небесных сил. Но что сказать, если на том же необъятном небесном листе кто-то видит откровение, обращенное непосредственно и только к нему одному? В таком случае мы расценим это не иначе как признак глубокого умственного расстройства, вызванного болезненной самоуглубленностью, длительным тайным страданием, затмившим для человека весь мир и расширившим его «я» до пределов вселенной, когда уже и сам небосвод видится всего лишь страницей, годной для написания душевной его истории и будущей судьбы!

Вот почему лишь душевным недугом и болезненным помутнением зрения священника мы считаем тот факт, что, подняв глаза к небу в точке зенита, он увидел там огромную букву «А», очер-

тания которой горели тусклым красным светом. Конечно, это мог быть и метеор, просвечивавший в этом месте сквозь облако, но вряд ли имел он при этом такую форму, какую придало ему воображение грешника, или же виделся он столь нечетко, что другой грешник мог прочесть бы его и вовсе по-своему, как символ иного греха.

Душевное состояние мистера Димсдейла в этот момент отличала одна особенность — устремляя взгляд в точку зенита, он в то же время видел, что маленькая Перл пальцем указывает на Роджера Чиллингворта, стоявшего поодаль от эшафота. Священник словно видел его, хотя глаза его неотрывно глядели на чудесное явление буквы. Чертам лица доктора, как и всем предметам вокруг, свечение метеора придавало какой-то новый облик и новое выражение, а может быть, доктор просто неосторожно приоткрыл то, что в другое время так тщательно скрывал, — ненависть, которую он чувствовал к своей жертве. Казалось, зарево, зажегшее небо и осветившее всю землю, напоминало Эстер Принн и священнику о Страшном суде, а Роджер Чиллингворт, стоявший неподалеку со злорадной ухмылкой на лице, — это сам враг рода человеческого, поджидающий свою добычу. Так выразительна была

его ухмылка, так потрясла она священника, что ему почудилось, будто она осталась начертанной на темном своде небесном даже после того, как метеор, сверкнув, исчез, моментально утянув за собой в небытие улицу со всем, что на ней было.

— Кто этот человек, Эстер? — еле выговорил священник: от ужаса он почти онемел. — Меня от него бросает в дрожь! Ты его знаешь? Я ненавижу этого человека, Эстер!

Но она, помня свою клятву, молчала.

— Говорю тебе, лицо его меня повергает в трепет! — продолжал священник. — Кто это такой? Неужели ты не поможешь мне? Когда я гляжу на него, меня неизвестно почему охватывает ужас!

— Пастор, — произнесла малютка Перл, — я могу сказать тебе, кто это.

— Скажи поскорее, дитя! — сказал священник, приближая ухо к самым губам ребенка. — Скорее! Скажи это как можно тише, шепотом!

Перл прошептала ему на ухо нечто осмысленное и похожее на внятную речь лишь внешне, а по существу являющееся чепухой, абракадаброй, которой, часами балуясь, могут развлекаться дети. Так или иначе, но даже если в сказанном ею и содержались какие-то тайные сведения о Роджере Чиллингворте, то были они на языке

эрудиту-священнику неизвестном и лишь усилили его замешательство. Девочка-эльф.

— Так ты смеешься надо мной? — пробормотал священник.

— Ты струсил, ты поступил нечестно! — отвечала девочка. — Ты не пообещал держать меня и маму за руку завтра утром!

— Достопочтенный сэр! — вскричал доктор, успевший за это время приблизиться к помосту. — Благочестивый мистер Димсдейл, неужто это вы? Вот история так история! Мы, люди науки, так глубоко зарываемся в книги, что за нами нужен глаз да глаз. Бодрствуя, мы грезим, во сне способны ходить! Пойдемте, добрый сэр, друг мой, пойдемте, молю вас, разрешите мне проводить вас домой!

— Как вы узнали, что я здесь? — боязливо вымолвил священник.

— Даю вам честное слово, — отвечал Роджер Чиллингворт, — что я не имел об этом ни малейшего понятия. Я добрую половину ночи провел у одра почтенного губернатора Уинтропа, употребляя все мое слабое умение, чтобы облегчить его страдания. Он отправился в лучший мир, ну а я — к себе домой, когда по пути вдруг увидел этот странный свет. Пойдемте со мной, преподобный

отец, умоляю, иначе вы не сможете служить утреннюю субботнюю службу. Нет, вы только подумайте, как будоражат ум эти книги! О книги, книги! Вам, добрый сэр, надо заниматься поменьше, давать себе отдых, а не то эти ночные кошмары совсем вас одолеют!

— Я пойду с вами, — сказал мистер Димсдейл.

Понурый, замерзший, совершенно разбитый, словно очнувшийся после дурного сна, он отдался в руки доктора и позволил себя увести.

Однако на следующей же службе, в субботу, произнося проповедь, он говорил так ярко и с такой силой, будто само Небо вдохновляло его и предсказывало слова, слетавшие с его уст. Не одна душа, а многие, многие души, как говорят, были наставлены на путь истинный этой проповедью, за что всю жизнь потом были признательны мистеру Димсдейлу, испытывая к нему глубочайшую благодарность. Но когда он спускался с кафедры, поджидавший его седобородый сторож протянул ему черную перчатку, которую священник признал своей.

— Ее сегодня утром нашли, — сказал сторож, — на позорном помосте, куда грешников ставят. Сатана ее туда подбросил, так я думаю. Грязную шутку с вашим преподобием сыграть вздумал. Но

глуп он, как всегда. Глуп и слеп. Руке человека безгрешного скрываться под перчаткой ни к чему!

— Благодарю вас, добрый друг мой, — сказал священник тоном серьезным и спокойным, хотя душа его содрогнулась, ибо такими путаными были воспоминания о прошлой ночи, что он почти готов был поверить, что все произошедшее ему почудилось. — Да, кажется, это и правда моя перчатка.

— Ну а если Сатана посмел, ваше преподобие, выкрасть ее у вас, — с невеселой улыбкой заметил старый сторож, — то вам уж надлежит ему впредь спуску не давать, обходиться с ним круто, без перчаток! А слыхали вы, ваше преподобие, какое знамение ночью явлено было? Огромная алая буква на небе, буква «А». То есть «ангел», мы так это поняли. Ведь добрый наш мистер Уинтроп, губернатор, прошлой ночью скончался, к ангелам отошел. Видно, об этом знамение и известить нас было послано.

— Нет, — отвечал священник. — Ничего такого я не слыхал.

Глава 13
И вновь об Эстер

Во время своей последней и такой необычной встречи с мистером Димсдейлом Эстер Принн поразило состояние священника, то, как печально он изменился. Он казался совершенно подавленным и безвольным. Душевные силы оставили его, уступив место почти детской слабости. Мужчина, некогда мощный и гордый, рухнул и теперь, согбенный, еле влачился, припадая к земле, не смея поднять головы, притом что природный ум его не пострадал, а даже приобрел бóльшую остроту, особую зоркость, породить которую могла только болезнь. Зная цепь обстоятельств, скрытую от всех других, Эстер готова была прийти к заключению, что, помимо понятных и закономерных мук совести и раскаяния, мистера Димсдейла ныне гнетет, не давая ему покоя, какой-то страшный, тяжкий груз, который он обречен нести, не смея скинуть его с плеч. Помня, каким раньше был этот несчастный, сокрушенный горем человек, она не могла не ощутить волнения, не отозваться всей душой на то, с какой дрожью ужаса он

молил ее, отверженную, помочь ему выстоять против того, в ком инстинктивно чуял врага. Более того, она решила, что он имеет право на ее помощь и всяческое содействие. В долгой своей оторванности от общества она утратила привычку соизмерять свои представления о добре и зле с представлениями общепринятыми и полагалась в этом только на себя. Эстер чувствовала — или так ей казалось — что за священника она ответственна, как не ответственна ни за кого другого и ни за что другое в мире. Все узы, соединявшие ее с людьми, все нити, из чего бы ни были они сотканы — из шелка, цветочных стеблей, золотой канители, — теперь были порваны. Осталась только одна связь — железная связь совместно совершенного преступления, ее порвать не могли ни она, ни он. И, как все узы, связь эта вела за собой обязательства.

По сравнению с тем временем, когда мы только познакомились с ней, а позор ее только начинался, положение Эстер Принн теперь несколько изменилось. Шли годы. Перл исполнилось теперь уже семь лет, а ее мать, женщина, на чьей груди сверкала в причудливом своем обрамлении алая буква, давно уже примелькалась среди жителей города. Как это нередко бывает в тех случаях,

когда кто-то, с одной стороны, выделяется из толпы, с другой же — ничем не мешает другим и не приносит им вреда, в общине теперь возобладало другое отношение к Эстер. К чести нашей надо сказать, что людям, если только не побеждает в них эгоизм, больше свойственно любить, чем ненавидеть. Ненависть же в случаях, когда ее не подпитывает новое раздражение и не мешает новая вспышка враждебности, постепенно и потихоньку может даже перейти в любовь. Но Эстер Принн ничем не раздражала горожан и не докучала им.

Она не вступала с ними в борьбу, а покорно, не жалуясь, подчинялась самому худшему. Она не задавалась вопросом о справедливости, не требовала воздаяния за свои страдания, не заискивала перед людьми и не напрашивалась на жалость. За нее говорила и безупречность поведения в течение всех этих лет, когда ее с позором отлучили от общества. Не имея ничего, что можно потерять или к чему стремиться, ничего не желая и не думая ни о какой выгоде, эта странница могла продолжать путь, движимая лишь собственной добродетелью.

К тому же не оставалось незамеченным и то, что, не прося для себя ничего из мирских благ,

кроме как права дышать и зарабатывать на хлеб для себя и маленькой Перл усердием рук своих, Эстер спешила оказать сестринскую помощь всем, кому могла быть от этого польза. Никто с такой готовностью, как она, не откликался на просьбу о милостыни, даже если ожесточивший сердце свое нищий вместо благодарности за еду, регулярно приносимую к его порогу, или платье, сшитое руками, достойными обшивать монарха, кидал ей издевательскую злую шутку. Когда в город прокралась чума, никто не проявлял такой самоотверженности, как это делала Эстер. Где бы ни случалась беда — общая или с отдельным человеком, первой являлась эта отщепенка, являлась и была на месте. Она приходила не гостьей, а по праву близкого человека в дом, омраченный несчастьем, как будто угрюмый сумрак и есть та единственная среда, в которой ей пристало общаться с соплеменниками. И в этом сумраке мерцала вышитая буква, даря покой и уют своим нездешним светом. И хоть повсюду ее считали знаком греха, она превращалась в луч света возле постели страдальца. И свет этот озарял даже муки и, преодолевая грань времени, страдалец знал, куда направить путь, и летел туда, где меркнул земной свет, а другой, будущий, уже

сиял вдали. Что бы ни случилось, натура Эстер проявлялась во всей своей теплой щедрости; она была неисчерпаемым источником нежности к каждому страждущему, неутомимо даря ее даже самым неуступчивым. Ее отмеченная позорным знаком грудь служила самой мягкой подушкой для головы, жаждущей прислониться. Эстер сама себя назначила сестрой милосердия, или же, вернее будет сказать, назначила ее на эту должность тяжелая рука окружения, когда ни она, ни мир вокруг об этом и не думали. И буква стала символом ее предназначения. С такой готовностью дарила она помощь, так неутомима была в служении людям, что многие отказывались признавать в букве «А» ее первоначальный смысл. Они считали, что «А» означает able (сильная, умелая) — такая сила исходила от Эстер Принн.

Но оставалась она в домах, лишь пока в них было от горя темно. Едва дома эти озарялись солнцем, она исчезала и тень ее таяла за порогом. Такой нужный и необходимый близкий человек уходил, даже не оборачиваясь и не ожидая благодарности тех, кому она так ревностно служила и чье сердце, может быть, было полно благодарности. Встречая их на улице, она не поднимала головы и не отвечала на приветствия. Если же

они решались ее окликнуть, она указывала пальцем на алую букву и проходила мимо. Это могло быть и гордыней, но столь похожа она была на униженность и смирение, что отношение к ней общества постепенно смягчилось. По своему характеру общество деспотично и способно наотрез отказывать в простой справедливости там, где справедливости этой требуют как своего законного права, но также часто оно может даровать и нечто большее, нежели простая справедливость, когда просят так, как любят деспоты, взывая о милости. Видя в поведении Эстер Принн именно такого рода просьбу, общество склонялось к тому, чтобы проявить к бывшей своей жертве бóльшую благосклонность, чем она надеялась снискать или, может быть, даже заслуживала.

Законодатели, а также умудренные учением мужи признали влияние добродетелей Эстер позже, нежели все другие. Предрассудки, которые они разделяли с последними, подкреплялись и усиливались в них железной логикой разума, что делало эти предрассудки устойчивее и въедливее. Однако и у них день ото дня все заметнее разглаживались суровые морщины и выражение неподкупной строгости на лицах со временем обещало смениться чуть ли не благосклонно-

стью. Но это относилось к видным деятелям общины, которых само их положение обязывало стоять на страже общественной нравственности. В частной же своей жизни люди совершенно простили Эстер Принн ее слабость, нет, больше того: они увидели в алой букве не напоминание о единственном ее грехе, за который она так долго и тягостно расплачивается, а знак, говорящий о многочисленных добрых ее деяниях. «Видите вон ту женщину, отмеченную вышитым знаком? Это наша Эстер, наша городская знаменитость, которая так добра к беднякам, так помогает недужным, так облегчает жизнь калекам и убогим!» Правда, по извечной человеческой склонности видеть дурное и горячо осуждать его в других они шептались об ужасном произошедшем некогда скандале. Но те же самые люди относились к алой букве на груди Эстер, как к кресту на груди монахини. В их глазах он наделял Эстер своего рода святостью, оберегая ее от всякого рода зла и опасностей. Очутись она в воровском притоне, она и там бы осталась чистой и незапятнанной. Рассказывали, и в это верили многие, что однажды, когда индеец нацелил стрелу прямо в знак на груди Эстер, стрела коснулась знака, но упала на землю, не поранив обладательницу.

Но на саму Эстер этот знак, а вернее, положение ее в обществе, на которое он указывал, имел влияние сильнейшее и ни с чем не сравнимое. Все легкое и изящное в ее характере давно выжгла эта пылающая головня, и оно опало увядшей листвой, оставив лишь голый и жесткий ствол, вид которого способен был оттолкнуть, имей она вокруг себя близких друзей. Такие же изменения претерпела и ее привлекательная внешность. Возможно, частично виною этому была намеренная строгость ее платья, а частично — подчеркнутая скромность и сдержанность манер. К тому же было невыносимо жаль, что ее густые роскошные волосы были либо коротко острижены, либо спрятаны под чепцом так плотно, что ни единый локон никогда не выбивался на свет божий. Все это являлось причинами, но не главными, главная же заключалась в том, что не было в лице Эстер ничего, что призывало бы любовь, не было в фигуре, по-прежнему безупречной и прекрасной, как статуя, того, что побуждает заключить ее в объятия, а грудь Эстер больше не казалась прибежищем, в котором могло бы угнездиться теплое чувство. Нечто важное покинуло ее, то, что ранее делало ее женщиной и помогало всегда оставаться ею. Так нередко бывает с

женщинами, чью судьбу и характер изменяют выпавшие на их долю испытания, если последние отличаются особой жестокостью. Останься такая женщина нежным цветком — и она погибнет. Ну а если женщина выживет, нежность будет либо вытеснена, либо, хотя внешне это никак не проявится, нежность эта загнана будет глубоко внутрь, в самые недра ее существа, да так, чтобы не смела даже выглядывать наружу. Последняя версия кажется нам более всего отвечающей истине. Та, что некогда являлась женщиной, но перестала ею быть, может опять вернуть свое женское естество, преображенная неким волшебным прикосновением. Впоследствии мы узнаем, испытала ли Эстер Принн подобное прикосновение и преобразило ли оно ее.

Многое в холодной мраморности теперешней Эстер следует отнести к изменившимся обстоятельствам ее жизни, в значительной степени сосредоточившейся отныне не в сфере страстей, а в сфере умственной. Оставшись один на один со всем миром, одинокая и никак не зависящая от общества, да еще обязанная воспитывать и охранять маленькую Перл, без надежды вернуть себе былое положение, притом что она и не желала этого, с презрением отвергая такую возможность,

она выбросила звенья сломанной цепи. Законы общества ничем не сковывали ее ум. Ведь это было время, когда разум человеческий, едва обретя свободу, деятельно расширял для себя пространство, проникая в сферы, до того наглухо закрытые и запретные для него в течение столетий. Мужи, владеющие мечом, сокрушили знать и королей. Другие мужи, еще более храбрые, сокрушили и переиначили — не буквально, но теоретически, в сфере, наиболее ими освоенной, — всю систему старозаветных верований, мнений и предубеждений, тесно связанных с устарелыми законами. Эстер Принн впитала в себя этот дух. Она обрела свободомыслие, в значительной степени утвердившееся на другой стороне Атлантики, но которое наши предки, если б проведали о нем, сочли бы преступлением куда более страшным, чем то, о чем гласила алая буква. Ей в уединенный домик на побережье являлись мысли, не смевшие посещать обитателей других жилищ Новой Англии, призрачные гости, которые, постучись они в иную дверь, смутили бы хозяйку как опасные.

Примечательно, что люди, весьма свободные в мыслях, нередко демонстрируют совершенную покорность по отношению к законам и запретам,

налагаемым на них обществом. Они довольствуются мыслью как таковой, не помышляя облечь ее в плоть и кровь реального действия. Так происходило и с Эстер. И все же, если б не явилась к ней из мира духов маленькая Перл, все могло бы сложиться по-другому. Тогда Эстер могла бы найти свое место в истории где-нибудь рядом с Энн Хатчинсон, став основательницей той или иной религиозной секты. Могла бы превратиться в пророчицу, и не исключено, и даже наверное, предстала бы она тогда перед строгим судом и, обвиненная в попытках подорвать пуританские основы всего нашего общественного устройства, была бы предана казни. Но волей-неволей большую часть ее мыслей занимало воспитание дочери. С этой подаренной ей судьбой маленькой девочкой в руки ее был передан бутон, которому в будущем предстояло расцвести пышным цветом женственности, бутон, который надо было вопреки всем бесчисленным трудностям оберегать и лелеять. Все было против Эстер. Ей противостоял враждебный мир. Противостоял характер девочки, в котором было что-то странное, неправильное, заставлявшее помнить о противозаконном зачатии этого плода безумной материнской страсти и побуждавшее Эстер то и

дело горестно вопрошать, на счастье или на горе родилось на свет это дитя.

И те же мрачные мысли вызывала у нее женская судьба вообще. В чем смысл существования женщины, даже самой счастливой? Есть ли в этой жизни ценность? Для самой себя и собственной своей жизни Эстер давно уже решила этот вопрос, ответив на него отрицательно. Склонность размышлять может приносить женщине, как и мужчине, покой, вызывая смирение, но эта же склонность повергает женщин в уныние. Быть может, они чувствуют себя слишком слабыми для выполнения стоящей перед ними задачи. Ведь в качестве первого шага следовало бы разрушить все общественное устройство и в корне переделать его. Затем надо заняться изменением самой природы противоположного пола, искоренить наследственные, ставшие уже сущностными привычки мужчин, чтобы женщина могла по справедливости занять в обществе достойное место. И наконец, даже если все прочие трудности будут преодолены, женщина не сможет воспользоваться плодами этих изменений, если сама не изменится еще более радикально, отчего, возможно, улетучится та эфемерная сущность, в которой и заключается ее подлинная жизнь.

Никаким напряжением умственных сил и никакими упражнениями ума женщине этих задач не решить. Если и можно ей их решить, то только одним способом — предпочтя разуму голос сердца. Как только это произойдет, проблемы улетучатся. А пока Эстер Принн, чье сердце утратило способность биться ровно и размеренно, блуждала в темном лабиринте мыслей, не имея к ним ключа, не зная, куда ступить, то в ужасе шарахаясь от разверзшейся перед ней пропасти, то пятясь при виде трещины в скале. Временами в душу ей даже боязливо закрадывалось сомнение, не лучше ли сразу отправить Перл на небо, предав свое будущее воле Предвечного судии.

Видно, не выполнила своего назначения алая буква.

Однако теперь, после встречи с преподобным мистером Димсдейлом в ночь странного его бдения, мысли ее потекли по иному руслу и сосредоточились на цели, достижение которой было достойно, как казалось, всех ее усилий и жертв. Она стала свидетельницей мучительной борьбы, которую вел, а вернее будет сказать, перестал вести священник. Она видела, что он находится на грани безумия, а возможно, уже и перешел эту грань. Было несомненно, что какой

бы болезненной и стойкой ни была рана бесконечного и тайного его раскаяния, яду туда еще и подливала рука, обещавшая облегчить его боль. Тайный враг под видом друга и помощника не оставлял и постоянно оказывался рядом, не упуская возможности вмешаться, едва деликатный священник давал ему для этого малейший повод. Эстер не могла не задаваться вопросом, нет ли ее вины в том, что священник оказался в ситуации, не предвещавшей ему ничего, кроме зла, и не из-за ее ли трусости, лживости, предательства это случилось. Единственным оправданием ей могло служить то, что не сумела она увидеть иного способа спасти священника, избавив от черного позора, который обрушился на нее саму, кроме как согласиться на план Роджера Чиллингворта и скрывать его имя. Поэтому она и сделала выбор, который, как теперь оказалось, был самым худшим из всех. И она решила исправить свою ошибку, насколько это было еще возможно. Закаленная годами тяжких и безжалостных испытаний, она чувствовала теперь в себе силы противостоять Роджеру Чиллингворту, не спасовать перед ним, как в ту ночь, когда она, задавленная своим грехом, в полубезумии от только что обрушившегося на нее позора, гово-

рила с ним в тюремной камере. Теперь, пройдя трудный путь, она выросла и словно стала выше. Старик же, напротив, как бы уменьшился ростом, став с ней вровень, а может, и ниже, опустившись до низкой мести.

Итак, Эстер Принн приняла решение встретиться с бывшим своим мужем и сделать все возможное для спасения жертвы, ухватив которую, он, по-видимому, держал крепко и не собирался выпускать из рук. Долго искать случая не пришлось. Однажды, гуляя с Перл в безлюдной части полуострова, она заметила старого доктора. Держа в одной руке корзину, а в другой — посох, он бродил, то и дело склоняясь к земле в поисках корней и трав для лечебных своих снадобий.

Глава 14
Эстер и доктор

Эстер велела Перл спуститься к воде и поиграть там с ракушками и морскими водорослями, пока она побеседует вон с тем дядей, что собирает травки. Ребенок тут же упорхнул, как птичка, и, разувшись, стал топотать белыми ножками по кромке прибоя. Время от времени Перл останавливалась и с любопытством заглядывала в лужицы, оставленные на песке отливом, ища в зеркале воды свое отражение. Из воды на нее глядело обрамленное темными кудрями личико маленькой девочки, глядело и улыбалось шаловливой улыбкой эльфа. Не имевшей подружек Перл захотелось взять ее за руку и предложить побегать с ней наперегонки. Но призрачная девочка в свой черед кивнула ей, как бы говоря: «Здесь у меня лучше! Прыгай сюда ко мне, в воду!» И Перл, ступив в лужицу и войдя в воду по колено, увидела там на дне собственные свои белые ножки, а ниже, откуда-то из самой глуби, поднимались и кружились, посверкивая осколками, остатки разбитой вдребезги улыбки.

Между тем мать Перл окликнула доктора:

— Мне надо поговорить с тобой. Это касается нас обоих.

— О, так у мистрис Эстер нашлось что сказать старому Роджеру Чиллингворту! — отозвался он, поднимая голову и распрямляясь. — Пожалуйста, поговорю с превеликим удовольствием! Тем более что со всех сторон до меня доходят такие хорошие новости о вас. Не далее как вчера вечером один мудрый и благочестивый судья, член городского магистрата, говорил со мной о ваших делах, мистрис Эстер. От него я узнал, что на совете обсуждался ваш вопрос и решали, не повредит ли общественной нравственности, если алая буква, которую вы носите на груди, будет с вас снята. И клянусь, что я горячо поддержал такую идею и очень просил этого почтенного человека поспособствовать, чтоб букву эту с вас сняли как можно быстрее.

— Не от милости судей и магистрата зависит, будет ли снят с меня мой знак, — возразила Эстер. — Будь я достойна освободиться от него, знак сам бы с меня спал или изменился так, чтобы означать нечто другое.

— Ну тогда носи его, если считаешь, что он так тебе к лицу, — парировал доктор. — Во всем, что

касается украшений, женщине следует руководствоваться лишь собственной фантазией. Буква так затейливо вышита и так ярко сияет на твоей груди!

Пока он говорил, Эстер не сводила с него взгляда, изумленная и потрясенная тем, что с ним сталось за прошедшие семь лет. И не то чтобы он очень постарел: хотя годы и оставили на нем заметные следы, для своего возраста он выглядел хорошо, сохранив и силу, и живость. Но если помнился он ей человеком со спокойным и вдумчивым лицом ученого, то теперь лицо его совершенно изменило выражение — в нем были настороженность и тщательно скрываемая, глубоко запрятанная ярость. Он пытался маскировать это выражение улыбкой, но улыбка, то и дело мелькавшая на его лице, выходила такой издевательски-насмешливой, что лишь яснее открывала собеседнику черную бездну его души. Иногда глаза старика зажигались красным светом, как будто в груди его тлели угли, которые вдруг от внезапной вспышки страсти разгорались ярким пламенем. Пламя это он спешил погасить, быстро, как ни в чем не бывало принимая прежний вид.

Словом, старый Роджер Чиллингворт мог послу-

жить отличным примером способности человека превращаться в дьявола, если на протяжении долгого времени вел дела поистине дьявольского свойства. Именно это и произошло с несчастным доктором, который в течение семи лет посвящал себя непрестанному препарированию души, истерзанной муками, наслаждался этими муками и еще подбрасывал хворост в костер этих мук, с восторгом раздувая пламя.

Алая буква жгла грудь Эстер Принн. Перед ней была еще одна человеческая руина, и ответственность за эту порушенную судьбу частично лежала на ней.

— Что ты так вглядываешься в мое лицо? — спросил доктор. — Что ты там такое увидела?

— То, отчего хочется мне залиться слезами, только нет на свете слез, полных такой горечи, — отвечала Эстер. — Но довольно об этом. Есть другой несчастный, о котором я хочу говорить.

— А что такое? — вскричал Роджер Чиллингворт с живостью, словно рад был возможности обсудить эту тему с единственным человеком, с которым мог быть тут откровенным. — Не стану скрывать от вас, мистрис Эстер, что мысли мои в этот момент как раз были заняты этим джентльменом. Так что давай, говори, задавай вопросы,

а я отвечу!

— Когда мы в последний раз говорили с тобой, — сказала Эстер, — а тому уж семь лет, ты вырвал у меня обещание сохранить в тайне прежние отношения между тобой и мной. Так как жизнь и доброе имя того человека находились в твоих руках, у меня не оставалось иного выбора, кроме как молчать согласно нашему с тобой уговору. И все же не без тяжких сомнений связала я себя этим обещанием, ибо, сбросив с себя путы обязанностей по отношению ко всем другим, я все же сохраняла долг по отношению к этому человеку и что-то шептало мне, что этим сговором с тобой я долг забываю и человека этого предаю. С того самого дня ты стал с ним неразлучен, никого нет для него ближе, чем ты. Ты всюду следуешь за ним, сторожа каждый его шаг. Ты всегда рядом, спит он или бодрствует. Ты вгрызаешься ему в душу, копаешься в ней, расковыривая рану. Ты вцепился в него, держишь жизнь его в тисках и не даешь вырваться, ежедневно, день за днем, оставляя умирать! Разрешив тебе это, я, безусловно, предала того, кому единственному могла еще остаться верной!

— Да разве был у тебя выбор! — воскликнул Роджер Чиллингворт. — Стоило мне ткнуть паль-

цем в этого человека, и он слетел бы с кафедры и угодил в тюрьму, а может, и на виселицу!

— Уж лучше бы так! — сказала Эстер Принн.

— А какое зло я ему причинил? — вопросил Роджер Чиллингворт. — Больше скажу тебе, Эстер Принн, ни один монарх еще не одаривал своего лекаря столь щедро, чтоб деньги эти оказались достойными той заботы, какой я окружил этого священника. Нет на свете таких денег! Если б не моя помощь, сгорел бы он как свечка уже в первые два года после преступного вашего с ним деяния. Ибо нет в нем сил вытерпеть то, что терпишь ты под гнетом этой твоей буквы, Эстер. О, ведь я мог бы раскрыть тайну! Но довольно! Все, что только может дать врачебное искусство, я израсходовал на этого человека. Тем, что он еще дышит, что еще ползает по земле, он целиком обязан мне!

— Уж лучше бы он умер.

— Да, истинную правду ты говоришь, женщина! — выкрикнул Роджер Чиллингворт, и она увидела, как блеснули его глаза от вырвавшегося вдруг из глубин души зловещего пламени. — Лучше бы он умер! Ни один смертный не терпел еще подобных мук! И все это на виду у злейшего врага своего! Он ощущает мое присутствие. Чувствует

на себе влияние, витающее над ним, как проклятие! Прозревает каким-то особым чутьем, ибо Создатель еще не приводил в этот мир существа более чуткого, что струны его души перебирает рука отнюдь не дружеская, что вглядывается в него любознательный взор, который ищет в нем зло! Ищет и находит! Но ему неведомо, что рука эта и взор этот мои! С суеверием, столь свойственным всей этой братии, он воображает, что находится в когтях дьявола, что это дьявол мучает его ночными кошмарами, мыслями, полными безысходного отчаяния, угрызениями совести и неизбывным раскаянием, сознанием вины и невозможности быть прощенным, посылая ему все это как предвестие того, что ждет его за гробом! Но все это лишь моя тень, не оставляющий его призрак человека, которому он причинил страшнейшее в мире зло, человека, которого теперь и держит-то на земле только этот медленный яд жестокой мести! Да, это так, он не ошибся: возле него трется дьявол — смертный, имевший когда-то человеческое сердце, но превратившийся в дьявола лишь затем, чтоб продлить ему эту пытку!

С этими словами несчастный вдруг вскинул руки, и на лице его отразился ужас, словно при

виде чего-то, чему нет названия и что заслонило в зеркале его лицо. Это был один из тех редчайших моментов, когда внутреннему взору человека вдруг предстает его душа, нравственный его облик. Может быть, ранее ему не приходилось так четко и ясно видеть эту картину.

— Разве недостаточно ты его мучил? — сказала Эстер, заметив выражение лица старика. — Разве не отдал он тебе долг свой сполна?

— Нет, нет! Долг этот лишь увеличился! — отвечал доктор уже не яростно, но угрюмо. — Помнишь, Эстер, каким я был девять лет назад? Хоть и встретил я тогда уже осень дней моих и притом не раннюю ее пору, то были для меня тихие, полные размышлений годы, которые я посвящал усердным занятиям, отдавая все силы умножению моих знаний, стараясь направлять их на благо людей. Мало кому удавалось вести жизнь столь тихую, мало кто был вознагражден за это такими дарами, как я. Помнишь меня тогдашнего? Разве не был я, при всей моей, как тебе казалось, холодности, внимателен к людям и их нуждам, разве не заботился о них, довольствуясь для себя лишь малым? Добрый, верный, надежный, пускай и не проявлявший слишком пылких чувств. Разве не было во мне всего этого?

— Было, даже с избытком, и не только это.

— А что сталось со мной теперь? — воскликнул он, впиваясь взглядом в ее лицо и не скрывая злобы. — Я уже сказал тебе, в кого превратился! В дьявола, и кто же меня сделал таким?

— Это сделала я! — проговорила Эстер, содрогнувшись. — Я виновата не меньше, чем он. Почему же ты не мстишь мне?

— Я предоставил это алой букве, — отвечал Роджер Чиллингворт. — Если и это не может отомстить за меня, то я бессилен: большей мести я придумать не могу.

И он с улыбкой указал на букву.

— Она мстила и мстит за тебя! — сказала Эстер Принн.

— На это я и надеялся, — сказал доктор. — Ну а теперь — что ты хотела мне сказать об этом человеке и по этому поводу?

— Я должна открыть эту тайну, — решительно заявила Эстер. — Он должен узнать, кто ты на самом деле. Что может из этого выйти, мне неведомо. Но долг доверия, мой долг человеку, которому я принесла столько несчастья, разрушив его жизнь, будет все-таки выплачен! Ты, конечно, волен уничтожить его доброе имя и положение или сохранить его; возможно, сама жизнь его

в твоих руках. Но я, получившая от алой буквы уроки истины, уроки, которые жгли мою душу раскаленным железом, не вижу более никакого смысла в том, чтобы он влачил свое существование, полное такой чудовищной пустоты, и потому не унижусь, чтобы молить тебя быть к нему милостивым. Поступи с ним как знаешь! Все равно нет ему счастья, как нет и мне, да и тебе тоже! Как нет счастья и маленькой Перл! Нет для нас пути из этой мрачной бездны!

— Я склонен даже пожалеть тебя, женщина! — сказал Роджер Чиллингворт, которого не могло не тронуть и даже не восхитить своеобразное величие такого порыва отчаяния. — Твоей душе присущи были великие задатки. Встреть ты любовь более счастливую, нежели случилось тебе испытать со мной, быть может, зло и не овладело бы тобой. Мне жаль тебя, жаль, что то хорошее, что в тебе заложено, пропало втуне.

— А мне жаль, — возразила Эстер Принн, — что такого мудрого и справедливого человека, как ты, ненависть превратила в дьявола! Сможешь ли ты изгнать ее из твоего сердца и вновь стать человеком? Не ради него одного постарайся сделать это, вдвойне это нужно тебе самому! Прости, и пусть накажет его тот, в чьих руках власть карать! Я

только что сказала, что ни ему, ни тебе, ни мне ничто не поможет выбраться из бездны, в которой мы бредем по бездорожью, плутаем в темной путанице троп, спотыкаясь на каждом шагу о разбросанные вокруг глыбы зла. Нет, для тебя и только тебя одного путь есть, ибо против тебя был совершен страшный грех, который ты можешь простить! Неужели не воспользуешься ты таким редким, только тебе доступным преимуществом? Неужели отвергнешь столь бесценное благо?

— Спокойно, Эстер, спокойно! — сурово прервал ее старик. — Не в моей воле прощать. Моя прежняя вера, давно мной отринутая, сейчас возвращается ко мне и объясняет мне все содеянное нами, за что мы и терпим страдания. Первый шаг ко злу сделала ты, ты посеяла семя зла, и с этого момента все последующее стало мрачной неизбежностью. Но ты, предавшая меня, согрешила лишь тем, что позволила себе поддаться столь обычному обману чувств, я же согрешил тем, что вырвал из рук дьявола и попытался выполнить задачу, находящуюся лишь в его ведении. Такова наша судьба. Пусть черный цветок зла цветет теперь, как ему заблагорассудится. А ты иди отныне своей дорогой и поступай так, как сочтешь нужным.

Он махнул рукой и вернулся к прерванному сбору трав.

Глава 15
Эстер и Перл

Итак, Роджер Чиллингворт, кривобокий старик с лицом, надолго оставлявшим по себе дурную память у всех его видевших, отошел от Эстер Принн и сгорбленный, с опущенной головой побрел дальше. Время от времени он срывал какое-нибудь растение или вырывал из земли корешок и клал в корзину свою добычу. Седая борода его едва не касалась земли.

Какое-то время Эстер провожала его пристальным взглядом, любопытствуя, не засохнет ли нежная зеленая трава под его неверными шагами, не постигнет ли гниль и порча веселые ростки. Да и что за траву он собирает с таким неослабным усердием? Может, и сама земля под его взглядом начинает растить зло, приветствуя его ядовитой порослью доселе неведомых трав, вызванных из недр земных прикосновением этих пальцев? Или же довольно с него и того, что доброе растение от его прикосновения превращается во вредоносный сорняк? Неужели яркое, приветливое солнышко освещает и его фигуру?

Не отбрасывает ли он зловещую тень на землю, по которой проходит, тень такую же уродливую, как он, следующую за ним неотступно? А куда это он идет, и не может ли он провалиться вдруг, уйти в землю, оставив после себя выжженную проклятием пустошь, на которой потом, дай срок, произрастет ядовитый паслен, белена или что там еще из вредных растений лучше всего может разрастаться пышно и неудержимо в этом краю? А может быть, он способен вдруг расправить перепончатые, как у летучей мыши, крылья и, став от этого еще безобразнее, вспорхнуть и унестись в вышину?

«Грех это или не грех, — с горечью сказала себе Эстер Принн, глядя ему вслед, но этого человека я ненавижу!»

Она упрекала себя за это чувство, но преодолеть его в себе или даже ослабить не могла. Попытки сделать это оборачивались воспоминаниями о давно минувших днях в далекой теперь стране, когда он вечерами обычно прерывал свое кабинетное уединение и, выходя к ней, грелся у их домашнего очага и в лучах улыбки своей молодой супруги.

Ему, как он признавался, необходимо было тепло ее улыбки, чтобы оттаять, растопить сту-

жу, сковывающую сердце после долгих часов, проведенных в одиночестве за книгами. Эти картины, которые когда-то виделись ей не иначе как полными счастья, теперь, под влиянием всего, что случилось в ее жизни потом, она вспоминала с ужасом, несравнимым с самыми ужасными из ее воспоминаний. Она поражалась, как могло происходить подобное. Поражалась, как вообще дала себя уговорить выйти за него замуж. Самым большим своим грехом, больше всех других достойным раскаяния, она считала теперь то, что терпела вялые объятия его рук, терпела и отвечала на них, то, что, встречая улыбки его уст и глаз, отвечала на них своей улыбкой. А горше всех обид, причиненных им, казалась ей теперь та обида, то ужасное оскорбление, которое нанес он, убедив в свое время ее, неопытную и не знавшую ничего лучшего девушку, поверить, что с ним она будет счастлива.

«Да, я его ненавижу! — повторила Эстер с горечью еще большей. — Он предал меня. Он причинил мне больше зла, чем я ему!»

Страшитесь, мужчины, добиться руки женщины, не хранящей в сердце своем страстной к вам любви. Вас может постигнуть несчастная судьба Роджера Чиллингворта, когда чье-нибудь прикос-

новение, более страстное, нежели ваше, пробудит в ней чувство, а упрекнуть потом ее можно будет лишь за то спокойное довольство, с которым мирилась она с насильственно надвинутой ей на лицо мраморной маской счастья, вынужденно признаваемой ею за ее собственную теплую плоть. Но Эстер, должно быть, давным-давно искупила свою вину. В чем же вина ее теперь? Разве семь долгих лет мучений под знаком алой буквы, жизнь, полная горечи, не свидетельствуют о ее раскаянии?

Чувства, которые она испытала в те короткие минуты, глядя вслед удалявшейся кривобокой фигуре старого Роджера Чиллингворта, проливают некоторый свет на то, что творилось в душе Эстер и в чем она не призналась бы и себе самой.

Когда старик скрылся, она позвала дочь:

— Перл! Малютка Перл, где ты?

Перл, чья живость не ослабевала ни на минуту, и во время разговора, который мать вела со старым сборщиком трав, находила чем себя развлечь. Поначалу, как мы уже говорили, она затеяла шутливую перепалку с собственным отражением в озерце воды, выманивая отражение наружу, на что воображаемая девочка не рискнула; затем Перл стала прикидывать, как бы ей

самой проникнуть туда, где земля неосязаема, а небо недостижимо. Однако решив, что кто-то из них двоих ненастоящий — либо девочка в воде, либо сама Перл, она обратилась к занятию поинтереснее — делать кораблики из коры березы и, нагрузив их ракушками, пускать в неведомую даль в количествах, превышающих караваны новоанглийских торговых судов. Но большинство ее корабликов гибли, прибитые к берегу. Она поймала за хвост морского конька, выловила несколько морских звезд и положила медузу на солнышко подсушиться. Затем принялась играть с морской пеной на полосе набегавшего прилива — подбрасывать в воздух ее хлопья, потом бежать со всех ног, спеша поймать снежно-белые хлопья, пока они не упали на землю. Заметив на берегу стайку морских птиц, копошащихся и клюющих что-то, шалунья набрала полный фартук камешков, и, прячась за камнями, подобравшись к стайке, вела обстрел этих крошечных морских птичек — очень ловко, из-за укрытия. Одну птичку она почти изувечила — та улетела с перебитым крылом, после чего озорница со вздохом оставила свою забаву, огорчившись, что причинила вред маленькому существу, вольному и необузданному, как морские ветра или как

сама Перл.

Последним ее развлечением стал сбор разнообразных морских водорослей, которые она обернула вокруг шейки наподобие шарфа и сделала из них накидку и шапочку, чем придала себе сходство с русалкой. От матери девочка унаследовала умение наряжаться и придумывать разные костюмы и украшения. И наконец, она взяла пригоршню морской травы и сплела как могла из нее нечто вроде буквы «А» — буквы, которую она постоянно видела на материнском платье. Буква получилась не алой, как у матери, а ярко-зеленой! Склонив головку и прижав к груди подбородок, девочка с любопытством разглядывала сделанное украшение, словно единственное, для чего она была послана в этот мир, — это разгадать скрытый в этой букве смысл.

«Интересно, спросит ли меня мама, зачем я это сделала?» — думала малышка.

И она с легкостью и проворством морской птички, вспорхнув, бросилась на зов матери; и вот она уже, стоя перед Эстер Принн, со смехом и пританцовывая, тычет пальчиком в украшение на своей груди.

— Зеленая буква к твоей детской груди, крошка моя, совершенно не идет. — Помедлив, прогово-

рила Эстер. — И знаешь ли ты, что означает знак, который твоя мама вынуждена носить на груди?

— Да, мамочка, — отвечало дитя. — Это заглавная буква «А». Ты сама показывала мне в букваре эту букву.

Эстер впивалась взглядом в личико Перл, но хотя в черных глазах дочери и заметила столь знакомое ей особое выражение, уверенности, что Перл и вправду нацепила это украшение, понимая, что делает, у нее не возникло. Ее обуревала болезненная жажда выяснить это до конца.

— Так ты знаешь, дитя, по какой причине мама носит эту букву?

— Конечно, знаю, — отвечала Перл, весело глядя в лицо матери. — По той же причине, по какой священник хватается рукой за сердце!

— И в чем же эта причина? — спросила Эстер, усмехнувшись наивности такого сопоставления, но в следующую же секунду лицо ее побледнело от внезапной догадки: «Что общего между этой буквой и сердцем кого-то, кроме меня?»

— Ну, мамочка, я сказала тебе все, что знаю, — сказала Перл, невольно посерьезнев. — Спроси старика, с которым ты только что разговаривала! Вдруг он сможет тебе ответить. Но, правда, мамочка, милая, что значит эта алая буква и зачем

ты носишь ее на груди? И почему священник так часто хватается за сердце?

Обеими руками она вцепилась в руку матери и глядела на нее с глубокой серьезностью, столь не свойственной ее живой и переменчивой натуре. Эстер даже пришло в голову, что, может быть, девочка со всею детской доверчивостью тянется к ней и старается, как только может, выразить свое сочувствие, заслужив в свой черед доверие и сочувствие матери.

Для Перл это было так необычно. До сих пор мать, любя свое дитя со всей силой страсти, которой душа способна одарить единственную свою привязанность, приучила себя к мысли, что ответной любви от дочери стоит ждать не больше, чем ждем мы ее от прихотливого апрельского ветерка, который внезапно, когда ему придет охота, может повеять теплом, но чаще не ласкает, а холодит. Со свойственной ему капризностью он в момент, когда вы доверитесь ему, а он нежнейшим образом целует ваши щеки и ласково треплет ваши волосы, вдруг меняет направление и устремляется куда-то в сторону, оставляя в вашем сердце лишь приятное неясное воспоминание. Но то был всего лишь материнский взгляд на характер ребенка. Посторонние же могли,

заметив некоторые неприятные особенности Перл, составить мнение о ней куда более неблагоприятное. Эстер же теперь вдруг подумала, что отличавшаяся столь ранним развитием и бойким умом Перл, видимо, достигла возраста, когда можно сделать ее своей подругой и доверить часть своих горестей в той мере, в какой это было бы возможно, соблюдая все законы приличия в отношении обеих — родительницы и ее ребенка. В бурном хаосе противоречивых черт Перл проглядывали, а возможно, и были в ней с самого начала — добрые основы — стойкое мужество, неизменная воля, гордость, которую умелым воспитанием можно превратить в чувство собственного достоинства, напрочь отвергающее и презирающее все то, что на поверку оказывается ложью. Она обладала и чувствительностью, хотя пока что проявления чувств бывали у нее и резки, и неприятны, подобно оттенкам вкуса сочного, но покуда незрелого плода.

При таком обилии добрых задатков, думала Эстер, унаследованное от матери зло должно быть уж слишком необоримо, если из шаловливого ребенка не вырастет женщина истинно благородная.

Склонность постоянно размышлять над за-

гадкой алой буквы носила характер у девочки некоего врожденного свойства. Едва жизнь ее приобрела осознанность, стало казаться, что в этом и есть ее предназначение. Эстер нередко думала о том, что, наделив ребенка столь явной склонностью, Провидение, видимо, имело целью справедливое возмездие, но до сих пор ей не являлась мысль о том, что таковой целью могли быть и милость, и благоволение. Если Небеса вложили в сердце Перл веру и доверие, сделав ее не только земным ребенком, но и духом небесным, своим вестником, то может быть, послана она, чтоб избыть то горе, которое камнем лежало на сердце у матери, превращая это сердце в могильную плиту? Чтобы помочь ей преодолеть страсть, некогда бушевавшую в ее сердце, но живую и поныне, шевелящуюся, хоть и запертую, придавленную этой могильной плитой. И вот сейчас она перед ней — маленькая Перл, держащая обеими руками ее руку, заглядывающая ей в глаза, пытливо спрашивающая ее вновь и вновь: «Что значит эта буква, мама? Зачем ты ее носишь? А почему священник так часто хватается за сердце?»

«Что сказать ей? — говорила себе Эстер. — Нет! Нет, если это цена, которую я должна уплатить за ее ко мне доверие, то это слишком дорогая

цена!»

И вслух она произнесла:

— Глупышка Перл! Ну и вопросы ты задаешь! На свете масса вещей, о которых ребенок спрашивать не должен. Откуда мне знать, что творится в сердце священника? А что до алой буквы, то ношу я ее потому, что золотая вышивка очень красива.

За все семь прошедших лет Эстер Принн ни разу не подвергала сомнению значение буквы на своей груди. Это мог быть талисман, знак неусыпного присутствия рядом с ней некоего стража, пускай сурового, строгого, но доброго духа. Но теперь дух этот, кажется, ее покинул, прознав, что, несмотря на неусыпную его стражу, в сердце ее проникло и угнездилось в нем какое-то новое зло, а может быть, зло было старым, которое все еще не удалось изгнать. Личико Перл между тем перестало выражать серьезность.

Однако дитя все не унималось. Два или три раза на обратном пути и несколько раз за ужином и после, когда Эстер укладывала ее в постель, и даже потом, когда, казалось, она уже крепко спит, Перл открывала черные глазки и в них зажигался шаловливый огонек.

— Мама, — спрашивала она, — что значит эта

алая буква?

А наутро, едва проснувшись и оторвав голову от подушки, она задала другой вопрос, так непонятно, непостижимо сочетавшийся в ее сознании с вопросом об алой букве.

— Мама! Мама! Почему священник так часто хватается за сердце?

— Замолчи, непослушная ты девочка! — сказала мать с резкостью, которую раньше никогда себе не позволяла. — Не приставай ко мне с этим, а не то я тебя в темный чулан запру!

Глава 16
Прогулка в лесу

Эстер Принн твердо решила открыть мистеру Димсдейлу, что за человек втерся к нему в доверие, открыть, независимо от того, какую боль это может ему принести и каковы могут быть последствия. Однако несколько дней, когда она пыталась поймать его для разговора на какой-нибудь из его задумчивых одиноких прогулок на побережье полуострова или на окрестных лесистых холмах — такие прогулки, как ей было известно, вошли у него в привычку, — все усилия ее оставались тщетными. Никто не удивился бы и ничем не грозило безупречной репутации священника, если б она явилась к нему в кабинет, в котором и поныне исповедались многочисленные кающиеся грешники, повинные в грехах, возможно, столь же черных, как тот, о котором возвещала алая буква. Тем не менее частично оттого, что она боялась тайного или явного вмешательства Роджера Чиллингворта, а чуткое ее сердце питало подозрения, невозможные для кого-либо другого, частично же оттого, что обо-

им, как ей, так и священнику, необходимо было полной грудью вдыхать свежий воздух, ведя разговор друг с другом, — по этим причинам Эстер и в голову не приходило, что разговор их может происходить не под открытым небом, а в тесном уединении кабинета.

Наконец, ухаживая за больным, к которому для молебна собрались позвать мистера Димсдейла, она узнала, что священник отправился накануне навестить проповедника Элиота среди паствы последних новообращенных — индейцев, и, судя по всему, должен вернуться на следующий день после полудня. Поэтому, подгадав время возвращения священника, Эстер взяла маленькую Перл, свою неизменную спутницу, хотя присутствие девочки отнюдь не всегда было Эстер удобно, и вышла с нею на прогулку.

Когда наши путники пересекли полуостров и ступили на материк, дорога превратилась в узкую извилистую тропинку, которая углублялась в таинственные первобытные лесные дебри. Деревья со всех сторон обступали тропинку черной глухой стеной до самого неба, оставляя лишь туманные кусочки просветов, и Эстер эта картина казалась схожей с внутренними непролазными дебрями ее души. День был холодный и пасмурный, небо

сплошь затянула серая пелена туч, но иногда легкий ветерок чуть-чуть разгонял тучи, и тогда на тропинке появлялись игривые и мерцающие солнечные лучики. Эти веселые, радостные блики были столь робки и мимолетны, что играть предпочитали только вдали, на дальнем конце видимого отрезка тропинки. Слабый солнечный отсвет, едва заметный в хмурой сумрачности дня, как только они приближались, тут же прятался, покидая то место, где только что танцевал, и которое после его исчезновения казалось еще более унылым, так грустно было терять надежду выйти наконец на солнце.

— Мама, — сказала маленькая Перл, — видно, солнышко тебя не любит. Оно убегает и прячется, потому что боится знака на твоей груди. Гляди! Вот зайчик! Вон там играет! Ты здесь постой, а я побегу и поймаю его. Я же ребенок, от меня он не убежит; ведь на моей груди знака еще нет.

— Надеюсь, и потом не будет, дитя мое, — сказала Эстер.

— А почему, мама? — спросила Перл. Она уже собралась бежать, но тут резко остановилась. — Разве знак этот не сам, когда хочет, цепляется к взрослым женщинам?

— Беги, дочка, — отвечала мать, — поймай сол-

нечного зайчика, а то скоро убежит.

Перл ринулась со всех ног, и Эстер улыбнулась, увидев, что девочка и вправду поймала солнечный блик, и сейчас стояла, освещенная солнцем, лучась гордой радостью, запыхавшаяся от бега. Солнце медлило уйти от ребенка, словно блик его был рад найти наконец товарища по играм, и оставалось на том же месте, когда мать уже и сама могла ступить в волшебный солнечный круг.

— Сейчас уйдет, — сказала Перл, покачав головой.

— Вот смотри! — улыбнулась Эстер. — Я могу протянуть руку и тоже поймать солнышко!

Но как только она попыталась это сделать, солнечный блик исчез, хотя, судя по веселому выражению лица Перл и блеску ее глаз, можно было вообразить, что девочка успела впитать в себя частицу света и сможет теперь сама освещать путь, когда они опять вступят в угрюмую тень. Ничто так не поражало Эстер в характере ребенка, как переполнявшая ее свежая внутренняя сила, неизменная бодрость и живость. Девочке совершенно чужда была апатия, которой в те дни подвержены были почти все дети, наследовавшие ее вместе с золотухой от бедствовавших предков. Но может быть, и эту живость

можно было считать болезнью, отражением той безудержной энергии, с которой Эстер боролась со своими бедами до рождения Перл. Прелестная живость девочки вызывала, правда, и некоторые сомнения, так как придавала характеру ребенка какой-то стальной холодноватый оттенок. Девочке недоставало — как недостает некоторым всю жизнь — настоящего горя, чего-то, что глубоко затронуло бы ее, научило бы человечности, способности сопереживать. Но для маленькой Перл оставалось еще время.

— Пойдем, детка, — сказала Эстер, глядя на все еще сиявшую радостным светом и все еще неподвижную Перл. — Посидим немножко в лесу и отдохнем.

— Я не устала, мама, — отвечала девочка. — А ты сядь, если хочешь. Сядь и расскажи мне историю.

— Историю, детка? — удивилась Эстер. — Какую историю?

— О-о, историю про Черного Человека, — сказала Перл. Она теребила платье Эстер и заглядывала ей в глаза серьезно, но как бы с лукавинкой. — Расскажи, как он бродит по этому лесу с книгой — толстой, тяжелой книгой с металлическими застежками, расскажи, как этот безобразный

Черный Человек тычет эту книгу вместе со стальным пером каждому, кого встретит здесь в чаще, и заставляет каждого расписаться в этой книге кровью! А потом он помечает своим знаком грудь такого человека. Тебе тоже встретился Черный Человек, да, мама?

— Кто рассказал тебе эту историю? — спросила мать, узнав в сказанном распространенное в то время суеверие. — Откуда ты ее знаешь?

— От старой дамы, что сидела у камина в том доме, где ты в прошлый раз дежурила возле больного, — отвечала девочка. — Она думала, что я сплю и не слышу, что она говорит. А она рассказывала, что Черного Человека встречали здесь тысячи людей и что все они расписались в его книге и были помечены его знаком. И что злобная матушка Хиббинс тоже с ним встречалась. И, знаешь, мамочка, та дама говорила, что алая буква на твоей груди — это тоже его знак и что буква твоя пылает, когда ты встречаешься с ним в полночь в этом лесу. Это правда, мама? Ты ходишь по ночам с ним встречаться?

— Разве бывало когда-нибудь, чтобы ты проснулась, а меня нет? — спросила Эстер.

— Не помню. Но, мамочка, если ты боишься оставлять меня одну дома, бери меня с собой. Я

была бы рада! Скажи же мне, наконец, правду! Есть такой Черный Человек? Виделась ты с ним? А буква эта — от него или нет?

— А оставишь меня в покое, если скажу? — спросила мать.

— Да, если скажешь всю правду, — отвечала Перл.

— Один раз в жизни я действительно встретилась с Черным Человеком, — сказала мать. — И он пометил меня этой буквой.

Так беседуя, они зашли в лесную чащу, где их уже не мог увидеть никто из тех, кому случилось проходить мимо по лесной просеке. Они присели на густо поросший мхом бугор, некогда бывший гигантской сосной, ствол и корни которой таились в темных лесных дебрях, а верхушка достигала светлого неба. Они сидели в небольшой ложбине, оба склона которой были усеяны палой листвой, а посередине протекал ручей, чье дно тоже устилали мокрые листья. Деревья склонялись над ручьем, и время от времени падавшие в ручей большие сучья преграждали ему путь; тогда вода закручивалась в водовороты и образовывала темные заводи; там же, где бежать ручью было вольготно, сквозь светлую воду просвечивали камушки на дне и искрящийся песок.

Прослеживая глазами путь бегущей воды, они видели, что вблизи вода отражает солнечный свет, но чуть подальше ручей ныряет под сень деревьев и теряется в хитросплетении стволов и густого подлеска, где путь ему то и дело преграждают большие поросшие серым лишайником камни. Казалось, что все эти гигантские деревья и гранитные валуны сговорились спрятать маленький ручей, чтобы никто не мог проследить его путь, а болтливое непрестанное журчание ручья не могло бы выдать сокровенных тайн леса или отразить их на зеркальной глади лесного озерца. Ручей все не умолкал, все журчал, все продолжал свою тихую, умиротворяющую, но невеселую песенку, так похожую на грустный голосок одинокого малыша, чье детство лишено игр и забав с товарищами и он не знает, что такое веселье, живя среди угрюмых взрослых с их печальными заботами.

— Ручеек! Глупый надоедливый ручеек! — воскликнула Перл, немного послушав журчанье ручья. — Почему ты такой грустный? Будь веселее! Перестань вздыхать и хныкать!

Но ручей, вынужденный стремить свой бег сквозь лесную чащобу, знал лишь трудности и тяжкие испытания и рассказывать, и петь мог

только о них и ни о чем другом. Перл и сама была подобна этому ручью, ведь жизнь ее, проистекая из источника не менее таинственного, тоже была омрачена угрюмой тенью страдания. Но в отличие от ручейка девочка ухитрялась танцевать, искриться и болтать, беззаботно и весело.

— Что говорит этот ручеек, мама? — спросила она.

— Если на душе твоей печаль, ручеек может рассказать о ней, — отвечала мать, — как говорит он мне о моей печали! Но довольно, Перл, я слышу, как кто-то идет по просеке и раздвигает ветки. Тебе лучше пойти поиграть, чтоб я могла поговорить с этим человеком.

— Это Черный Человек, да? — спросила Перл.

— Иди, иди, играй! — повторила мать. — Только не уходи далеко. И возвращайся, как только позову.

— Хорошо, мама, — согласилась Перл. — Но если это окажется Черный Человек, можно, я только посмотрю на него и его книгу под мышкой?

— Иди, глупая ты девчонка! — нетерпеливо воскликнула мать. — Никакой это не Черный Человек! Ты сама теперь можешь в этом убедиться. Вот он, за деревьями. Это священник.

— Да, это он! — сказала девочка. — И руку к

груди прижимает! Это он потому так делает, что расписался в книге, да? И Черный Человек пометил его своим знаком? Но почему священник тогда не носит этот знак на груди, как ты, мама?

— Иди же, наконец, а приставать ко мне с вопросами после будешь! — воскликнула Эстер Принн. — Но не заблудись смотри. Гуляй так, чтоб слышать ручей.

Девочка, напевая, отправилась вниз по течению ручья, стараясь, чтоб звонкий ее голосок, слившись с журчанием ручья, сделал пение его не таким унылым. Но журчание ручья звучало все так же безутешно; по-прежнему продолжал он невнятно бормотать, рассказывая нам все ту же горестную, таинственную повесть о былых несчастьях, а может быть, предвещая новые печали, которые ожидают нас в грядущем, если не покинем мы хмурого леса. И Перл, которой за недолгую ее жизнь вполне хватило мрака, потеряла интерес к этому наводящему тоску знакомцу. Она принялась собирать фиалки и анемоны, а потом добавила в букет еще и пурпурных водосборов, росших в расщелинах высокой скалы.

Когда шаловливый ребенок удалился, Эстер Принн подошла на несколько шагов ближе к

лесной просеке, но так, чтобы оставаться в тени деревьев. Она глядела на приближавшегося священника; он был один и опирался на палку, которую срезал по дороге. Выглядел он осунувшимся, слабым, и было видно, что он совершенно пал духом, чего раньше, когда он встречался ей в городе, заметно не было. Горестное его состояние проявилось здесь, в глубоком уединении лесных зарослей, в месте, самом по себе удручающем. В походке его чувствовалась какая-то безнадежность, как будто он не видел смысла в том, чтоб сделать еще хотя бы шаг, и делал шаги через силу, а больше всего хотелось бы ему броситься наземь и, примостившись у ствола ближайшего дерева, лежать так, не шевелясь и ничего больше не желая. Листья, падая, укроют его, мало-помалу засыплет его землей, и превратится он в холмик, а живой или мертвый будет внутри — значения не имеет. Смерть слишком определенна, чтобы желать ее или чтобы избежать.

Никаких видимых признаков мучительного страдания в облике преподобного мистера Димсдейла Эстер не заметила, кроме того, о чем еще раньше сказала Перл: он хватался рукой за сердце.

Глава 17
Пастор и его прихожанка

Как ни медленно плелся священник, но он успел почти пройти мимо, прежде чем Эстер Принн нашла в себе силы привлечь его внимание. Наконец ей это удалось.

— Артур Димсдейл, — произнесла она, сперва тихо, потом громче, но севшим от волнения голосом. — Артур Димсдейл!

— Кто это? — откликнулся священник.

Он подобрался, выпрямился, как человек, внезапно застигнутый врасплох. Напряженно устремляя взгляд туда, откуда шел голос, он с трудом различил под деревьями неясную фигуру в темном. Фигура настолько полно сливалась с серыми сумерками, в которые облачная погода и густая тень от листвы превращали этот послеполуденный час, что было трудно понять, реальная ли это женщина или призрак. Может быть, его преследует нечто вызванное к жизни собственными его неодолимыми мыслями.

Приблизившись на шаг, он вдруг увидел алую букву.

— Эстер! Эстер Принн! — воскликнул он. — Ты ли это? Живая?

— Еще живая, — отвечала она. — И это после семи лет такой жизни, какую я веду! Ну а ты, Артур Димсдейл? Еще жив?

Неудивительно, что оба они подвергали сомнению реальность друг друга и даже собственную, ведь странная эта встреча в легком сумраке так походила на свидание в загробном мире двух душ, некогда тесно связанных, а теперь впервые встретившихся и дрожащих в испуге, ибо, не привыкнув еще к новому своему состоянию, они меньше всего хотят встреч с другими бестелесными существами. Призрак поражен ужасом при виде другого такого же! Ужасаются они и самим себе, и тому, как мгновенно к ним вернулось сознание и теперь они прозревают свою душу и видят всю историю своей жизни так ясно, как можно видеть только в такие необыкновенные минуты. Душа познала себя и свои черты в зеркале преходящего мгновения! Со страхом, трепеща и через силу, словно по одной лишь необходимости, Артур Димсдейл протянул холодную как лед руку и коснулся ледяной руки Эстер Принн. Рукопожатие, даже такое холодное, несколько ослабило тягостную неловкость встречи. Теперь

они могли по крайней мере почувствовать, что живут в одном и том же мире.

Не произнеся больше ни слова, они вместе, рука об руку, будто по молчаливому сговору, отступили под сень деревьев, туда, откуда появилась Эстер, и сели на мшистый бугор, тот самый, на котором Эстер ранее сидела с Перл. Когда они смогли заговорить, то поначалу разговор их был невнятен и незначителен — так могли бы обмениваться мнениями любые случайные знакомые, обсуждая ненастную погоду, грозящую дождем, осведомляясь о здоровье друг друга. Но постепенно, шаг за шагом, они приблизились к самым животрепещущим темам, к предметам самым глубоким и сокровенным. Судьба и обстоятельства развели их, надолго сделав чужими, но стоило начать разговор, как двери распахнулись и порог переступили мысли, подлинно их занимавшие.

Вскоре священник, заглянув в глаза Эстер Принн, спросил:

— Обрела ты покой, Эстер?

Печально улыбнувшись, она бросила взгляд вниз — на букву на своей груди.

— Ну а ты?

— Нет! Нисколько! Одно лишь отчаяние! — от-

ветил он. — Что другое мог я искать, будучи тем, что я есть, и ведя жизнь такую, какую я веду! Если б я был атеистом, человеком без совести, несчастным созданием, которым правят одни лишь грубые животные инстинкты, я, может быть, обрел бы покой, и уже давно. Вернее, я бы его и не терял никогда. Но случилось так, что все лучшее, чем была одарена душа моя, все редкостные способности, которыми Господь меня наделил, стали лишь орудиями моих душевных терзаний. Человека несчастнее меня во всем свете нет, Эстер!

— Люди уважают тебя, — возразила Эстер. — И ты, несомненно, много делаешь для их блага. Разве это не несет тебе утешения?

— Мне только горше от этого, Эстер. Лишь нестерпимее становится горе! — Губы священника искривила страдальческая улыбка. — А что касается блага, которое я якобы им несу и для них делаю, то оно не стоит и гроша. Все это только видимость, обман! Разве может душа погибшего вроде меня нести искупление другим душам, а душа, испачканная грехом, вести души других и призывать их к очищению! Ну а уважению людскому по праву следовало бы превратиться в презрение и ненависть. Ты называешь это утеше-

нием, Эстер, когда я стою на кафедре и вижу лица, обращенные ко мне, глаза, глядящие на меня так, словно от меня исходит божественный свет! Видеть паству мою, жаждущую истины, внимающую моим словам, как святому Евангелию, а потом обратить взор внутрь себя и разглядеть там черную бездну, которую они почитают, перед которой преклоняются! Хочется смеяться и плакать горькими, кровавыми слезами над пропастью между видимостью моей и сущностью. Я смеюсь, и Сатана хохочет вместе со мной!

— Ты несправедлив к себе, — мягко заметила Эстер. — Ты глубоко и в муках раскаялся. Ты отринул от себя грех давным-давно, а теперешняя твоя жизнь незапятнанна, чиста и не менее свята, чем это видится людям. Разве не истинно раскаяние, подкрепленное и засвидетельствованное добрыми делами? И почему же тогда не несет оно мира твоей душе?

— Нет, Эстер, нет! — повторил священник. — Оно несущественно. Оно холодное, мертвое, и помочь мне оно не может. Каялся я достаточно, но настоящего раскаяния мне не дано. Иначе я много лет назад сорвал бы с себя маску фальшивой святости и явил бы себя людям таким, каким предстану перед Судом Всевышнего. Счастливица

ты, Эстер, ты носишь алую букву открыто, на груди, моя же жжет мне грудь тайно! Знала бы ты, какое облегчение после семи лет, наполненных нестерпимыми муками, взглянуть в глаза человеку, сознающему, кто я есть на самом деле! Был бы у меня друг — или даже злейший враг! — к кому в минуту, когда тошнота подступает к горлу от похвал окружающих, а это бывает каждый божий день, можно было бы броситься и увериться в том, что он понимает твою сущность, низость страшных твоих грехов, тогда, возможно, душа моя возродилась бы. Даже малая толика правды спасла бы ее. Теперь же в ней царят ложь и пустота! В ней смерть — и больше ничего.

Эстер Принн взглянула ему в глаза, но говорить не решалась. Однако слушая, с какой страстью рвутся из его груди слова, столь сокровенные, она поняла, что теперь может сказать то, что собиралась и для чего пришла.

— Друг, о котором ты так мечтаешь, с которым ты мог бы сокрушаться о грехе своем, — это я, сообщница твоя по греху! — Она вновь замялась, медля, и, все-таки сделав усилие, выговорила: — И врага такого ты имеешь, он с давних пор с тобой под собственным твоим кровом!

— Что? Что ты говоришь такое? — вскричал

мистер Димсдейл. — Враг! Под моим кровом! Что значат твои слова?

Эстер Принн теперь в полной мере сознавала глубокий урон, который нанесла этому несчастному, допустив, чтобы находился он столько лет или даже одну секунду во власти человека, единственной целью которого было причинить ему зло. Какие бы маски ни надевал этот человек, одним касанием своим, мановением руки умел он возмутить атмосферу, окружавшую столь тонкую и чувствительную душу Артура Димсдейла. Было время, когда Эстер не так близко принимала к сердцу это соображение, а может быть, удрученная собственными бедами, считала судьбу священника не столь уж невыносимо тяжкой. Но с недавних пор, с той ночи, когда она застала мистера Димсдейла за его бдением, чувства ее к нему ожили, а отношение смягчилось. Теперь она с бóльшим вниманием читала в его сердце и не сомневалась, что постоянное присутствие Роджера Чиллингворта, яд его скрытой враждебности отравляют самый воздух вокруг, а его вторжение в физическое и духовное состояние священника, узаконенные статусом врача попытки лечить пациента были вредны и предпринимались с целью жестокой мести. Для этого он беспрестанно

бередил совесть страдальца, мучая его не благотворной, ведущей к исцелению болью, а болью разрушительной, подрывающей его духовные силы. Результатом должно было стать несомненное помешательство и постоянное, на веки вечные отчуждение от добра и истины, признаком которого, по-видимому, является безумие.

Таков был полный крах, к которому она подвела человека, некогда ею любимого, нет, почему же «некогда» — страстно любимого ею и поныне! Эстер чувствовала, что для священника пожертвовать добрым именем и даже умереть, как она и сказала однажды Чиллингворту, было бы предпочтительнее той жизни, которую она ему уготовила. И теперь ей хотелось броситься на сухие листья к ногам Артура Димсдейла и умереть — так тяжело было сознаваться в том зле, которое она ему причинила, когда выбрала для него столь горестный удел.

— О Артур, — вскричала она, — прости меня! Я всегда так старалась быть искренней и правдивой! Правдивость — единственная добродетель, которую я могла сохранять и сохраняла вопреки всему, всем ужасным обстоятельствам, кроме тех, в которых оказалась, когда на карту были поставлены твоя жизнь и твое доброе имя! Вот

тут я уступила *лжи*! Но ложь никогда не приносит добра, даже если *лжешь* под угрозой смерти! Догадался ли ты, что я хочу сказать? Тот старик — доктор — тот, кого зовут Роджер Чиллингворт — был моим мужем!

Одно мгновение священник глядел на нее со всем пылом ярости, которая, мешаясь с многообразием других, более высоких, чистых, сердечных свойств его натуры, таила в себе нечто дьявольское, ту малую часть его души, с помощью которой дьявол надеялся завладеть им полностью и без остатка. Так мрачно и злобно никто еще не глядел на Эстер. Но длилось это страшное преображение недолго. Страдания так ослабили священника, что даже темные чувства, взыграв в нем, тут же угасли. Он бросился на землю и схватился за голову.

— Я мог бы догадаться! — бормотал он. — Я чувствовал! Разве с первой же минуты знакомства и при каждой нашей встрече с ним сердце не внушало мне желания бежать без оглядки? Почему я не слушался его? О Эстер Принн! Как мало внятна тебе эта мука! Какой стыд! Какая низость! Как ужасно, как противно природе раскрывать свое измученное виной, исстрадавшееся сердце тому, кто лишь черпает наслаждение в твоих муках!

Женщина, женщина, ведь виновница всего этого — ты! Я не могу тебя простить!

— Нет, ты простишь меня! — воскликнула Эстер, тоже бросаясь на сухие листья возле него. — Пусть Господь карает! А ты простишь!

В отчаянном и внезапном порыве нежности она обвила его руками и прижала его голову к своей груди, не замечая, что щека его теперь была притиснута к алой букве. Он пытался высвободиться, но тщетно: Эстер не выпускала его, чтобы не встретить опять сурового взгляда. Весь мир — вот уже семь лет — хмурился, глядя на нее, одинокую, и она терпела, не отводила взора печальных своих глаз. Даже небо хмурилось при виде ее, а она жила, не умирала. Но вынести хмурого взгляда этого бледного, слабого, убитого горем грешника, вынести и остаться в живых она не могла.

— Ты простишь меня? — вновь и вновь повторяла она. — Простишь?

— Я прощаю тебя, Эстер! — промолвил, наконец, священник с глубоким вздохом, исторгнутым бездной горестной печали, но не гнева. — Прощаю тебя от всей души. И да простит Господь нас обоих! Не мы самые страшные грешники на земле, Эстер. Есть грешник похуже запятнавшего

свой сан священника! Месть старика чернее, чем мой грех. Ведь он хладнокровно надругался над святыней сердца человеческого! Ни ты, ни я, Эстер, никогда такого не делали!

— Нет, нет, никогда! — шепнула она. — То, что делали мы, было, можно сказать, освящено Небом! Мы так это чувствовали! Мы говорили об этом друг другу! Разве ты забыл?

— Чш-ш, Эстер, тихо! — сказал Артур Димсдейл, поднимаясь. — Нет, я ничего не забыл!

Они сели, взявшись за руки, на мшистый ствол упавшего дерева. Это был мрачнейший час их жизни, час, к которому тайно тяготел, устремляясь так долго, их горький жизненный путь — но было в нем и некое очарование, заставлявшее их продлевать этот час и желать его повторения вновь и вновь. Темный лес окружал их, деревья поскрипывали от порывов ветра. Ветви тяжело качались над их головами, и казалось, что какое-то старое дерево, стеная, рассказывает соседу горестную историю влюбленной пары, сидящей в его тени, или с неохотой пророчит ей зло и в будущем.

И все же они медлили. Какой унылой выглядела дорога, ведшая к городку, где Эстер Принн предстояло влачить и далее свой тягостный груз,

а священнику — сносить насмешку над добрым своим именем! Так пусть же еще минутку продлится этот час. Им казалось, что ни одно золотое искрящееся светлое утро не могло сравниться с этим лесным мраком. Только здесь увиденная его глазами алая буква на груди падшей женщины гасла и не горела огнем. Только здесь увиденный ее глазами Артур Димсдейл, лгавший Господу и людям, мог выглядеть честным и искренним!

Внезапно он вздрогнул.

— Эстер! — воскликнул он. — Вот еще что ужасное может случиться! Теперь, когда Роджеру Чиллингворту стало известно, что ты собираешься раскрыть, кто он есть на самом деле, будет ли он и далее хранить наш секрет? Какую новую месть нам измыслит?

— По характеру он человек очень скрытный, — подумав, ответила Эстер, — а план мести, который он так долго вынашивал и осуществлял, еще и увеличил в нем скрытность. Не думаю, что он выдаст наш секрет. Наверняка придумает новый способ утолить свою темную страсть.

— Ну а я? Как мне жить теперь, дыша одним воздухом со смертельным врагом? — воскликнул Артур Димсдейл, внутренне содрогаясь и прижимая руку к сердцу — судорожный жест, ставший

уже ему привычным.

— Ты больше ни минуты не должен оставаться под одним кровом с этим человеком, — спокойно и решительно заявила Эстер. — Не должен обнажать свое сердце перед этим злодеем!

— Лучше смерть! — подхватил священник. — Но как этого избежать? Разве есть у меня выбор? Что еще мне остается, как не броситься наземь, на эти сухие листья, как в ту минуту, когда ты сказала мне, кто он на самом деле? Зарыться в листья и умереть!

— Увы, во что же ты превратился! — вымолвила Эстер, и глаза ее наполнились слезами. — Ведь это же слабость говорит в тебе, не иначе! Слабость заставляет тебя желать смерти!

— Господь карает меня своей десницей, — возразил подавленный священник. — Карающая десница эта слишком тяжела — ее не побороть!

— Небо смилостивилось бы над тобой, — вмешалась Эстер, — будь у тебя силы принять эту милость.

— Прояви силу ты вместо меня, — сказал он. — Посоветуй, что мне делать?

— Неужто мир так мал и тесен! — воскликнула Эстер Принн, глядя в самую глубь души священника и тем невольно оказывая магне-

тическое воздействие на этого растоптанного, поверженного в прах человека. — Разве вселенная замкнута пределами этого городка, на месте которого еще так недавно была лесная глушь, как дебри, окружающие нас сейчас? Куда ведет вон та дорога? Обратно в городок, скажешь ты? Да, но дальше-то куда? Все дальше и дальше бежит она, углубляясь в чащу, с каждым шагом теряясь, становясь незаметнее, а через несколько миль желтые листья и вообще поглотят, скроют на ней следы белого человека. И там наступит свобода! Короткий путь вырвал бы тебя из мира, где ты был так несчастен, и открыл для тебя возможность счастья. Разве не найдется в бескрайнем этом лесу укромного места, где мог бы ты спрятаться от ока Роджера Чиллингворта?

— Если только в ворохе сухих листьев, Эстер, — с печальной улыбкой отвечал священник.

— Но есть еще и широкие морские пути! — продолжала Эстер. — Они уведут тебя еще дальше. Выбери их, и ты вернешься туда, откуда начал путь, в нашем с тобой одном краю — спрячешься в какой-нибудь отдаленной деревушке или затеряешься в многолюдье огромного Лондона, или в Германии, Франции, сладостной Италии, где уж точно ему тебя не найти и не достать! И что

тебе тогда все эти жесткие, как металл, люди и их мнения! Слишком долго они сковывали в тебе лучшую часть твоего естества!

— Это невозможно! — ответил священник, для которого слова ее были как несбыточный сон. — Пускаться в путь у меня нет сил. Я жалкий грешник и уповать могу лишь на то, чтоб влачить остаток дней моих на земле в том месте, которое мне назначено Провидением. Погубив свою душу, я буду продолжать, насколько смогу, мое служение, спасая души других людей. Я не смею изменить своему призванию и оставить свой пост, хотя и знаю, что когда служба моя подойдет к концу, наградой неверному стражу могут быть только гибель и бесчестье.

— Семь лет горестей сокрушили и раздавили тебя, — с жаром возразила Эстер, твердо намеренная поддержать его, влив в него толику собственной энергии. — Но ты можешь отринуть от себя горе, оставив его позади. Оно не преградит тебе путь, когда двинешься ты по лесной дороге, не утопит своей тяжестью корабль, если ты предпочтешь отправиться за океан. Оставь эти руины позади, оставь несчастье там, где оно случилось. Перестань копаться в нем! Начни все заново! Неужто ты израсходовал все воз-

можности, не выдержав одного-единственного испытания? Неправда! Будущее сулит новые испытания и новые победы. Есть счастье, чтоб насладиться им! Есть добро, чтоб служить ему и его умножать! Смени лживую свою жизнь на жизнь истинную! Будь, если дух твой склоняется к этой миссии, наставником и проповедником среди краснокожих! Или же, если тебе больше это по душе, ученым мудрецом среди мудрейших и просвещеннейших деятелей культурного мира. Проповедуй! Пиши! Действуй! Делай что угодно, только не опускай руки в ожидании смерти! Перестань зваться Артуром Димсдейлом, возьми себе другое имя, лучше, возвышеннее; такое, что можно носить, высоко подняв голову! Зачем тебе хоть день еще проводить в муках, грызущих тебя изнутри, лишающих воли, не дающих тебе даже сил раскаяться! Встань и иди!

— О Эстер! — воскликнул Артур Димсдейл, в чьих глазах на миг загорелся отсвет ее энтузиазма; огонек в них вспыхнул и тут же погас. — Ты предлагаешь бежать человеку, чьи колени подгибаются, чьи ноги не держат! Мне суждено умереть здесь! У меня не осталось сил на то, чтоб войти в широкий, чужой мир, рискнуть идти по трудным его путям одному.

Последние слова его выражали высшую степень уныния сломленного человеческого духа. У него не было сил протянуть руки, чтобы ухватить мелькавшую совсем рядом и так легко достижимую надежду на лучшее будущее.

— Одному, Эстер! — повторил он.

— Ты пойдешь не один, — еле слышно прошептала она.

И этим было сказано все.

Глава 18
В потоках солнечного света

Артур Димсдейл не сводил с Эстер взгляда, в котором искренняя надежда и радость мешались с неким ужасом перед ее отчаянной смелостью, когда она выговорила то, на что он намекал, но произнести не осмеливался.

Однако Эстер Принн, обладавшая характером отважным и деятельным, так долго остававшаяся отверженной, отринутой обществом, выработала в себе широту воззрений, совершенно недоступную священнику. Мысль ее, никем не направленная, бродила по вольным просторам, по запутанным нехоженым тропам в дебрях угрюмых лесов, блуждала во мраке, из которого она сейчас выбралась для этого важного разговора.

Ее разум и чувства сделали обиталищем своим пустынные места, где она гуляла, вольная, как дикарь-индеец в своих лесах. За прошедшие годы она научилась глядеть отстраненно, словно издалека, на признанные законниками и священниками правила и установления, почитая их не больше, чем почитает индеец облачение

священника, мантию судьи, церковь, домашний очаг, не испытывая ни малейшего трепета ни перед виселицей, ни перед позорным столбом. Судьба и ход ее жизни подарили ей свободу. Алая буква служила ей пропуском туда, куда другие женщины не решались ступить. Стыд, отчаяние, одиночество — вот ее наставники; строгие, подчас неумолимые, они учили ее быть сильной, но заставляли и ошибаться.

Священнику же не пришлось изведать опыта вне пределов общепринятых законов, хотя однажды ему и случилось преступить священнейшее из их требований. Но грех его был невольным, совершенным не из принципа, а в порыве страсти. С тех пор он с болезненным рвением внимательнейшим образом следил — не за поступками своими, ибо сдерживать их было легко, но за малейшим душевным движением, за каждой мыслью своей. Находясь на самом верху социальной лестницы, занимая то место, которое эпоха тогда отводила священнику, он тем более был скован путами правил, установлений и законов своего времени вкупе с тогдашними предрассудками. К этому неизбежно принуждал его сан. Как человек, однажды согрешивший, но не утративший совести и потому терзаемый ее муками и

болью все еще саднящей раны, он должен был строже блюсти собственную добродетель, чем тот, кто никогда не знал греха.

Таким образом, согласимся, что для Эстер Принн прошедшие семь лет позора и отверженности явились подготовкой к этому часу. Ну а что Артур Димсдейл? Суждено ли ему вновь пасть, и чем можно было бы тогда оправдать подобное преступление? Ничем, только сломленностью его под гнетом непреходящих и жестоких страданий, помрачением рассудка, затемнением сознания, истощенного угрызениями совести; невозможностью сделать выбор между бегством, а значит, и признанием себя преступником и жизнью, полной лжи и лицемерия. Некоторым оправданием может послужить и чисто человеческая слабость — желание избежать смерти и позора, уйти от запутанных и темных устремлений врага, когда, наконец, на унылом и сумрачном пути несчастного одинокого странника забрезжил вдруг огонек искреннего сочувствия, симпатии, возникла возможность начать новую, истинную жизнь, сбросив с себя тяжкий груз, посланный судьбой во искупление греха. Но суровая и печальная правда состоит в том, что брешь, раз пробитую в душе, в земной нашей жизни заделать невозмож-

но. И остается только быть настороже, охраняя твердыню души своей, дабы враг вновь не проник туда силой или же не предпринял новых атак, отыскав другой, обходной путь, более хитрый, чем тот, что был так успешно выбран им ранее. И вечно будет стоять порушенная стена, и вечно будут слышны возле нее крадущиеся шаги врага, который не забыл своего триумфа и жаждет его закрепить.

Борьбы этой не описать. Довольно будет сообщить принятое священником решение — бежать.

«Если б за все эти семь лет, — думал он, — в памяти моей осталась хоть минута покоя и надежды, я бы устоял ради возможности уповать на милость Господа. Но теперь, когда рок мой доказал свою неизбежность, почему мне, приговоренному преступнику, не вырвать из рук судьбы предложенное ею перед казнью утешение? Ну а если и вправду передо мной лежит путь к лучшей жизни, как уверяет Эстер, то какие блага я теряю, встав на этот путь? И разве смогу я и дальше жить теперь без ее участия, без сильной ее поддержки, без нежности, которую она дарит мне, успокаивая боль! О Ты, на кого я не смею поднять взор! Можешь ли Ты теперь

простить меня?

— Ты должен уйти! — со спокойной уверенностью произнесла Эстер, встретив его взгляд.

И едва было принято это решение, как странная, удивительная радость озарила мерцающим светом измученную, согбенную фигуру священника. Он возрадовался — так чувствует себя тот, кто, выбравшись из темницы души своей, может наконец вдохнуть полной грудью вольный воздух первобытных просторов, не ведающих ни раскаяния, ни уз, налагаемых христианским законом. Дух воспрянул в нем словно в мощном, почти до небес, прыжке, оставив внизу, на земле, все то горе, что не давало ему воспарить все предыдущие годы. Присущая священнику глубокая религиозность заставляла его воспринимать это радостное чувство с неким благоговением.

— Неужели я вновь чувствую радость! — с изумлением воскликнул он. — А я ведь думал, что даже малейший росток радости обречен погибнуть во мне. Теперь же мне кажется, что я, измученный болью, испачканный грехом, полный беспросветной горечи, упал на сухие листья в лесу и поднялся обновленный, полный сил и готовый вновь славить Господа за неизбывное его милосердие!

— Зачем оглядываться в прошлое? — отозвалась Эстер Принн. — Прошлое исчезло! Зачем вспоминать о нем сейчас? Видишь этот знак? Я снимаю его с себя, как будто его и не было никогда на моей груди!

И с этими словами она расстегнула застежку, сняла знак с груди и отшвырнула его в сухие листья. Таинственный знак упал возле ручья у самой кромки воды. Размахнись она сильнее, и буква упала бы в воду, а ручеек понес бы ее дальше, вплетя в невнятное свое бормотание еще одну печальную повесть. Но расшитая золотом буква осталась лежать на берегу, сверкая, подобно оброненному кем-то бриллианту, маня незадачливого путника поднять его, приняв на себя вместе с ним смутное чувство вины, сердечные треволнения и неизъяснимое, неизвестно откуда взявшееся горе.

Скинув с себя позорную отметину, Эстер вздохнула всей грудью, и со вздохом этим душа ее скинула с себя груз стыда и тоски. О, какое восхитительное облегчение! А она и не чувствовала всей тяжести груза, пока не освободилась от него! Следующим же невольным порывом она сорвала с себя строгий чепец, и роскошные волосы, тяжелые, густые, упали ей на плечи, накрыв волной

— темной и в то же время как бы светящейся в своем изобилии, сразу же смягчив черты ее лица и придав им очарование. Щеки ее, прежде бледные, запылали румянцем, и победная красота вернулась словно из безвозвратного прошлого, принеся с собой и девичьи мечты, и надежды, и радостную веру в будущее, пока еще неведомое, и счастье — все это вернулось, очертив этот час волшебным своим кругом. А царивший на земле и в небе сумрак, словно порожденный лишь горестями этих двух смертных сердец, тоже рассеялся, исчез вместе с горестями. Внезапно небо, будто улыбнувшись, пролило в сумрачный лес целый поток солнечного света, озарив радостью каждый зеленый листок и каждую зеленую травинку, обратив в золото желтизну опавших листьев и придав яркий блеск серым великанским стволам деревьев. Все, что раньше было погружено в тень, засияло светом. И свет этот высветил ручей, убегавший теперь не в таинственный лесной мрак, а в таящуюся неподалеку радость.

Так созвучна оказалась природа, эта дикая языческая сила, не ведающая человеческого закона, не просветленная истиной высшего знания, простому счастью двух душ людских! Любовь новорожденная, равно как и воскресшая, оч-

нувшаяся от глубокого сна, должно быть, всегда несет в себе солнце и переполняет душу таким сиянием, что оно, хлынув через край, озаряет весь мир вокруг. А если б лес и сохранил свою мрачность, ее уничтожили бы синие глаза Эстер и такое же сияние глаз Артура Димсдейла.

Эстер взглянула на него, охваченная новой радостной мыслью:

— Ты должен познакомиться с Перл! — воскликнула она. — С нашей маленькой Перл! Ты ведь видел ее — да, я знаю, — видел! — но сейчас ты посмотришь на нее другими глазами. Она странный ребенок. Мне трудно ее понять. Но ты полюбишь ее всей душой, так же как люблю ее я, и посоветуешь мне, как ее воспитывать.

— Думаешь, ребенок будет рад знакомству со мной? — спросил священник с некоторым смущением. — Я привык избегать детей, потому что часто встречал их недоверчивое ко мне отношение. Они словно чураются меня. А маленькая Перл вызывает во мне даже какой-то страх.

— Ах, как жаль! — воскликнула ее мать. — Но она полюбит тебя всем сердцем, как и ты ее. Она тут, рядом. Я позову ее. Перл! Перл!

— Я вижу девочку, — заметил священник. — Вон она — в луче света, на том берегу, подальше.

Так, думаешь, девочка меня полюбит?

Эстер улыбнулась и вновь позвала Перл, стоявшую, как и говорил священник, чуть подальше, на том берегу. Освещенная солнечным лучом, пробившимся сквозь сплетенные ветви, она казалась каким-то солнечным светлым призраком. Луч чуть подрагивал, колебля свет и слегка туманя фигуру девочки, делал ее то реальной, то призрачной: то это был ребенок, а в следующую секунду — призрак в облике ребенка. Услышав голос матери, Перл не спеша двинулась по лесу в ее сторону.

Весь тот час, который мать провела, беседуя со священником, Перл не скучала. Огромный темный лес, пугавший своей торжественной угрюмостью тех, кто входил под его сень отягощенный чувством вины, неся в душе всю скорбь этого мира, стал добрым и веселым товарищем одинокому ребенку. Хмурый с другими, ее он встретил со всей приветливостью. Он угощал ее ягодами зимолюбки-митчеллы, появляющимися осенью, чтобы созреть к весне; сейчас ягоды эти краснели в сухой траве подобно алым капелькам крови. Перл собирала эти ягоды, не смущаясь их горько-кислым вкусом. Малые обитатели лесных дебрей, завидев ее на тропинке, не спешили

скрыться. Правда, куропатка в сопровождении десятка своих птенцов, попыталась угрожающе двинуться ей навстречу, но тут же устыдилась своей тревоги и прокудахтала птенцам не бояться. Одинокий голубь, сидевший низко на ветке, позволил Перл подойти к нему поближе, но издал при этом гортанный звук — не то приветственный, не то опасливый. Белка с верхушки родного своего дерева проверещала что-то, был ли то гнев или так выражалось веселье, сказать трудно, ибо разобраться в настроениях этого вздорного, хоть и милого зверька нам не дано. Впрочем, что-то она произнесла и сбросила на голову Перл орех — прошлогодний и со следами острых ее зубок. Лисица, пробудившаяся от сна при звуках легких шагов Перл по мягкой листве, вопросительно взглянула на девочку, как бы сомневаясь, как лучше поступить — скрыться или продолжить прерванный сон на том же месте. Как говорили, к девочке приблизился даже волк, впрочем, этот слух, по-моему, несколько вышел за грань реальности: подойдя к Перл, он понюхал ее платьице и подставил ей страшную свою голову — чтоб погладила. Так или иначе, но не подлежит сомнению, что старая лесная чащоба и дикие существа, ею вскормленные, ощущали как родственную

дикую природу этого человеческого детеныша.

А девочка здесь словно подобрела и стала мягче, чем казалась, когда шла по окаймленным травой улицам или когда пребывала дома с матерью. Цветы словно догадывались об этом, и каждый из них шептал проходившей мимо Перл: «Возьми меня, о прекрасное дитя! Возьми!» — и чтобы не обижать их, Перл собирала фиалки, и анемоны, и водосбор, и срывала яркие свежие зеленые ветки, которые старые деревья тянули к самым ее глазам. Цветы и зелень она вплетала в волосы, цепляла за пояс, становясь маленькой нимфой, или же маленькой дриадой, или еще каким-нибудь лесным существом из тех, что обитали в лесах в далекие времена. Украшенная так живописным нарядом, Перл услышала голос матери и направилась к ней медленным шагом. Медленным, потому что заметила священника.

Глава 19
Дитя у ручья

— Ты полюбишь ее всей душой, — повторяла Эстер Принн, сидя рядом со священником и глядя вместе с ним на приближавшуюся Перл. — Ну разве она не красавица! Только посмотри, как она украсила себя цветами! Набери она в лесу жемчугов, бриллиантов и рубинов, даже и они не смогли бы сделать ее прекраснее! Чудесный ребенок! И знаешь, лоб у нее твой!

— Да знаешь ли ты, Эстер, — сказал Артур Димсдейл со смущенной улыбкой, — сколько тревог доставил мне этот ребенок, что вечно семенил рядом с тобой! Я думал — о, Эстер, столь постыдна была эта мысль, и как чудовищно этого опасаться! — что мои черты частично повторились в ее личике и повторение это люди не могут не заметить! Но больше она похожа на тебя!

— Нет, нет! Не больше! — возразила мать и нежно улыбнулась ему. — Еще немного, и тебе не придется страшиться того, что мир узнает, чей это ребенок. Но до чего же она красива с этими цветами в волосах! Как будто кто-то из фей, остав-

ленных в нашей милой старой Англии, нарядил ее и выслал сюда для встречи с нами.

Глядя на медленно приближавшуюся Перл, оба испытывали чувство, ранее им неведомое. В девочке воплотилась их связь. Все эти прошедшие семь лет Перл была явлена миру как знак, как иероглиф, несущий в себе тайну, которую они так некрасиво пытались скрыть, — все было выражено ясно, найдись пророк или умелый расшифровщик, способный постигнуть пламенную натуру девочки! Перл объединила собой их жизни. И пускай она плод греха, разве могли они сомневаться, что земные их жизни, как и последующие судьбы, крепко связаны и, образуя единство как материальное, так и духовное, пребудут вместе и в вечности? Подобные мысли, как и другие, нежные, заставляли их взирать на приближавшегося ребенка с трепетным благоговением.

— Когда заговоришь с ней, сделай это как обычно — пусть она не почувствует ни волнения твоего, ни тревоги, — шепнула Эстер. — Наша Перл своенравна, как маленький эльф, и порою ведет себя странно. Особенно не любит она проявлений чувств, которых не понимает, и разобраться, откуда они взялись и какой в них толк,

не может. Но она ребенок любящий. Меня она любит и тебя тоже полюбит!

— Ты даже представить себе не можешь, — сказал священник, искоса глядя на Эстер Принн, — как я боюсь этой встречи и как желаю ее! Но ведь я уже признался тебе в том, что дети неохотно дарят меня своим доверием — они не готовы карабкаться ко мне на колени, шепча на ухо свои секреты. А младенцы, когда я беру их на руки, начинают плакать. Правда, Перл дважды была добра ко мне. В первый раз — ты это отлично помнишь. А во второй — когда ты привела ее в дом сурового старого губернатора.

— И когда ты так храбро выступил в нашу с ней защиту! — подхватила Эстер. — Я это помню, да и Перл тоже. Ничего не бойся! Поначалу она может дичиться и стесняться, но очень скоро полюбит тебя!

Перл уже подошла к самому ручью и стояла на противоположном берегу, молча и пристально глядя на Эстер и священника, по-прежнему сидевших на замшелом стволе дерева. В том месте, где она остановилась, ручей образовывал небольшую заводь, в спокойной воде которой отлично отражалась маленькая фигурка в ее живописном цветочно-лиственном убранстве, и отражение

это казалось тоньше и одухотвореннее реальной девочки. При этом образ, столь схожий с живой Перл, казалось, наделял и ее некоторой призрачностью, передавая ей часть своей зыбкой неопределенности. Было что-то странное в том, как Перл не сводила с них взгляда, как стояла на фоне мрачной лесной стены, но освещенная солнечным лучом, ласково потянувшимся к ней. Внизу в ручье отражалось другое дитя — другое, хоть и то же самое, и тоже омытое золотистым солнечным светом. Эстер охватило неясное, но мучительное чувство какой-то отстраненности от Перл, как будто девочка во время своей прогулки по лесу удалилась из сферы их совместного обитания, а сейчас тщетно пытается вернуться.

Впечатление это было и верным, и неверным: мать и дочка и вправду отдалились друг от друга, но виновницей тут была не Перл, а Эстер. Когда девочка отправилась на прогулку, в круг чувств Эстер был допущен еще один человек, и это изменило все, а вернувшаяся странница Перл не могла найти там для себя привычного и желаемого места и не могла понять, что произошло и что ей теперь делать.

— Мной овладела странная фантазия, — заметил чуткий Димсдейл, — мне привиделось, будто

этот ручей является границей двух миров и что вновь соединиться со своей Перл отныне ты не сможешь. Неужто она и вправду проказливый эльфенок, дух, которому, как учат нас легенды нашего детства, запрещено ступать в текучую воду? Поторопи ее, пожалуйста, прошу тебя, ибо ожидание нестерпимо.

— Иди сюда, деточка милая! — ободрила девочку Эстер и протянула к ней руки. — Как же медленно ты подходишь! Не знала я раньше за тобой такой медлительности. Это мой друг, который и тебе станет другом. Отныне у тебя будет любви вдвое больше! Перепрыгни ручей и иди к нам! Ты же прыгаешь ловко, как олененок!

Но Перл никак не отзывалась на эти ласковые призывы и все стояла на том берегу. Блестя глазами, она переводила упрямый взгляд с матери на священника или устремляла его на обоих сразу, словно силясь рассмотреть и уяснить себе отношение их друг к другу. Непонятно почему, но, почувствовав на себе взгляд этого ребенка, священник невольно сделал ставший уже привычным жест — схватился рукой за сердце. Перл же, наконец проявив решительность, протянула руку, направив маленький указующий пальчик на грудь матери. А внизу, отраженный зеркалом

ручья, солнечный опоясанный цветами образ Перл тоже вытянул пальчик в том же направлении.

— Почему же ты не идешь ко мне, странный ты ребенок! — вскричала Эстер.

Пальчик Перл все еще указывал ей на грудь, девочка насупилась, и хмурый взгляд ее казался тем выразительнее, что контрастировал с детской, почти младенческой мягкостью черт. И так как мать все кивала ей и улыбалась с какой-то необычной праздничной щедростью, ребенок решительно и властно топнул ножкой и еще больше нахмурился. А прекрасное ее отражение в ручье тоже указывало пальцем и, хмурясь, как бы повторило этот жест, усиливая его выразительность.

— Скорее, Перл, или я рассержусь! — прикрикнула Эстер Принн. Привычная к своеволию и капризам дочери в других случаях, теперь она, естественно, хотела, чтоб девочка вела себя лучше. — Прыгай через ручей, непослушная девчонка, и бегом ко мне! Не заставляй меня прыгать тебе навстречу!

Однако Перл, ничуть не пугаясь материнских угроз и не вняв ее мольбам, вдруг впала в какой-то безумный гнев. Яростно размахивая

руками и судорожно дергаясь, она сопровождала этот припадок громкими злобными криками, и лес отвечал ей многоголосым эхом, словно детской беспричинной ярости одинокого ребенка выражала сочувствие сама природа и сонм лесных обитателей, таящихся в дебрях, пытался ее ободрить. По-видимому, гнев Перл отразился и в призрачном, увенчанном и опоясанном цветами ее образе. Он тоже размахивал руками и тыкал пальцем, указывая на грудь Эстер!

— Я понимаю, что ее тревожит, — шепнула священнику Эстер. Она побледнела, хоть и старалась скрыть свое смятение и боль. — Дети не выносят даже малейших изменений в том, к чему привыкли их глаза. Перл не хватает того, что она привыкла видеть на мне!

— Умоляю, — отозвался священник, — если можешь ее угомонить, сделай это! Нет ничего страшнее для меня, чем наблюдать такое буйство у ребенка. Разве что злоба этой старой ведьмы Хиббинс может с этим сравниться, — добавил он с кривой улыбкой. — На прелестном личике ребенка видеть то же выражение, что на морщинистом лице старухи, выше моих сил. Если любишь меня, успокой ее, ради бога!

Вспыхнув, Эстер опять обратила взгляд к Перл,

а потом, покосившись на священника, вздохнула, но прежде чем она успела вымолвить хоть слово, щеки ее вдруг покрыла смертельная бледность.

— Перл, — сказала она печальным голосом, — взгляни вниз, себе под ноги! Вон там! Прямо перед тобой! На этом берегу ручья!

Девочка посмотрела, куда ей указывали. Там лежала алая буква. Лежала так близко к кромке ручья, что в воде отражалось даже золото вышивки.

— Принеси ее сюда! — сказала Эстер.

— Сама пойди и принеси! — ответила Перл.

— Что за ребенок! — вздохнула Эстер. — О, сколько всего могла бы я рассказать тебе о ней! — проговорила она негромко, обращаясь к священнику. — Но если откровенно, в том, что касается ненавистного мне знака, тут она права: мне следует помучиться еще немного, потерпеть всего несколько дней, пока мы не выберемся из этих мест и не станем возвращаться к ним лишь в воспоминаниях. В лесу не спрятать этого знака, но океан примет его у меня из рук и, поглотив, навсегда скроет в своих глубинах!

И с этими словами она подошла к ручью и, подобрав алую букву, прикрепила ее вновь к своей груди. Всего лишь минуту назад, мечтая утопить

букву в океане, Эстер была полна надежд, но вот судьба протягивает ей опять роковой знак, и Эстер охватывает чувство обреченности. Она выбросила его в никуда и целый час дышала полной грудью, и вот опять эта алая беда пылает на прежнем месте! Выходит, что так или иначе, но зло, однажды сотворенное, будет преследовать тебя с постоянством рока. Затем Эстер подобрала тяжелые волны своих волос и спрятала их под чепец. И словно от порчи, которую наводила на нее эта злополучная буква, вся красота Эстер, теплое сокровище щедрой и изобильной ее женственности, ее покинула — так меркнет солнечный свет за серой тучей.

И едва свершилось это печальное преображение, Эстер протянула руку к Перл.

— Ну а теперь ты узнаешь свою маму, дитя? — с тихим упреком спросила она дочь. — Теперь перейдешь через ручей? Когда мама опять печальна и позор ее опять при ней, ты готова признать ее?

— Теперь — да! — воскликнула девочка и, перепрыгнув через водный поток, обеими руками обняла Эстер. — Теперь ты опять моя мама, а я твоя малышка Перл!

И в столь нечастом у нее порыве нежности она притянула к себе голову матери и покрыла

поцелуями ее лоб и щеки. Но тут же, словно повинуясь некоей властной потребности добавлять к радости, которую она дарит, немного горечи, Перл прижалась губами к алой букве, поцеловав и ее тоже.

— Как нехорошо! — воскликнула Эстер. — Вроде хочешь показать, что любишь меня, а выходит, что смеешься надо мной!

— А почему там священник сидит? — спросила Перл.

— Хочет поздороваться с тобой, — отвечала мать. — Подойди к нему, попроси у него благословения! Он любит тебя, девочка, так же как и твою маму. А ты его полюбишь? Он очень хочет познакомиться с тобой!

— Так он нас любит? — спросила Перл, подняв глаза и испытующе вглядываясь в лицо Эстер. — И он пойдет с нами в город? Мы пойдем с ним вместе? Рука об руку? Втроем?

— Прямо сейчас — еще нет, дорогая, — отвечала Эстер. — Но очень скоро он пойдет рука об руку с нами. У нас будут общий с ним дом и очаг, ты будешь сидеть у него на коленях, и он научит тебя очень многим вещам, и будет любить тебя всем сердцем. А ты, ты ведь тоже будешь его любить, не правда ли?

— А он всегда будет хвататься за сердце? — вопросила Перл.

— Глупая девочка, что за вопрос ты задаешь! — воскликнула мать. — Пойди и попроси у него благословения!

Но возможно, из ревности, которую всегда испытывают избалованные дети при появлении опасного соперника, или же повинуясь внезапному капризу взбалмошной своей натуры, Перл не захотела проявить к священнику благосклонности. Мать подвела ее к нему силой, а девочка упиралась и гримасничала как могла, ибо гримас у нее с самого младенчества в запасе было великое множество, но при этом каждая из них, так или иначе, придавала живым чертам Перл выражение строптивое и дерзкое.

Священник, глубоко смущенный и уязвленный таким к себе отношением, понадеялся, что залогом примирения может стать поцелуй. Наклонившись, он поцеловал ребенка в лобик. Но девочка тут же вырвалась из материнских рук и, бросившись к ручью, принялась тереть себе лоб, смывая поцелуй пригоршнями воды, так что спустя немного поцелуй растворился и был унесен потоком, а девочка, стоя поодаль, молча смотрела, как Эстер и священник беседуют, об-

суждая, как им теперь быть.

Пока же роковая встреча подошла к концу. Ложбину надлежало оставить в ее одиночестве посреди темных старых деревьев, шепчущих многоголосым своим шумом о том, что было здесь некогда и что давно прошло, но разобрать, о чем она хочет поведать, не в силах был ни один из смертных. А унылому ручью предстояло дополнить новою повестью тайну, и без того переполнявшую маленькое его сердце печалью, о которой он журчал неустанно, и с новой повестью этой журчание ручья будет так же грустно, как было всегда.

Глава 20
Священник в смятении

Удаляясь от них и шагая по тропинке, священник оглянулся, почти уверенный в том, что увидит, как тают контуры двух фигур — матери и дочки, как растворяются их очертания, сливаясь с сумраком леса, ибо такое разительное изменение жизни ему было трудно признать реальностью. Но Эстер не исчезала — одетая в серое свое платье, она стояла все там же, возле ствола дерева, бог весть когда поваленного бурей и успевшего за долгие годы зарасти мхом настолько, что двое несчастных, обреченных нести на себе тяжесть самой горестной судьбы, могли посидеть там рядом, чтоб хотя бы на час обрести мир и успокоение. И Перл по-прежнему находилась здесь; теперь, когда вторгшийся в их жизнь незваный третий ушел, она с легким сердцем, пританцовывая, бежала от берега ручья, чтобы занять свое законное место возле матери. Значит, все это не сон, и священник не грезил!

Чтоб устранить неясность и освободиться от двойственности впечатлений, так его трево-

жившей, он принялся вспоминать и тщательно обдумывать намеченные им и Эстер планы отъезда. Они пришли к выводу, что Старый Свет с многолюдьем его городов для них предпочтительнее, ибо скрыться в нем будет легче, чем в дебрях Новой Англии или даже всей Америки, где выбирать пришлось бы между индейским вигвамом и одним из раскиданных по побережью европейских поселений. Не говоря уже о состоянии здоровья священника, не способного выдержать трудностей жизни в лесу, его дарования, культура, весь склад его характера говорили, что обитать он сможет лишь в гуще цивилизации среди людей образованных и утонченных; чем выше уровень культуры государства, тем больше оно подходит такому человеку. На выбор их повлияло и то обстоятельство, что в бостонской гавани тогда стоял один корабль, принадлежавший к немалому в те времена числу судов с сомнительной репутацией, не то чтобы пиратских, но не слишком считавшихся с законом.

Корабль этот, незадолго перед тем прибывший из морей, омывающих испанские колонии, через три дня отправлялся в Бристоль. Эстер Принн, чьи обязанности добровольной сестры милосердия позволили свести знакомство с капитаном

корабля и матросами, была уверена, что сможет достать место на корабле для двух пассажиров и ребенка, соблюдая полную секретность, необходимую в такого рода предприятиях.

Священник с живейшим интересом осведомился о точной дате отбытия корабля. По-видимому, на четвертый день, считая от нынешнего. «Весьма удачно!» — сказал он себе. Раскрывать, почему преподобный мистер Димсдейл счел дату удачной, нам не хотелось бы. Тем не менее, чтобы не утаивать ничего от читателя, скажем, что причина заключалась в готовившейся им проповеди, которую ему предстояло произнести через три дня по случаю выборов — важнейшего события в жизни каждого священнослужителя Новой Англии, — что как нельзя лучше подходило для объявления им о сложении с себя пастырских полномочий.

«По крайней мере, — думал этот образцовый служитель церкви, — никто не упрекнет меня в том, что я не выполнил до конца свой долг перед общиной или выполнил его неудовлетворительно!» Грустно, что столь глубокий и проницательный ум мог заблуждаться так жестоко! Мы отмечали и, возможно, еще вынуждены будем отмечать не лучшие свойства священника, но

никогда не проявлялась в нем так разительно его слабость, еле видимое, но несомненное следствие коварной болезни, так давно подтачивавшей его силы и уничтожавшей самую суть его характера. Да и какой человек способен выдержать на протяжении ряда лет собственное двуличие, являясь одним лицом перед собой, другим же — перед всеми остальными! Такое приводит к смятению, когда сам уже не понимаешь, какое из двух твоих лиц истинное!

Возбужденное состояние мистера Димсдейла, в котором он возвращался после встречи с Эстер, придало ему необычайную и непривычную энергию. Лесная тропа казалась ему более заросшей и нехоженой, с еще бóльшими препятствиями, чем раньше, когда он шел по ней к Эстер. Но он перепрыгивал через топкие места, продирался через цепкие ветви кустарников, карабкался вверх по склонам, спускался в овраги и ложбины — одним словом, преодолевал все трудности пути с неослабной живостью, удивлявшей его самого. Странно было вспоминать, каким слабым он себя чувствовал, как то и дело останавливался, едва переводя дух, когда шагал здесь всего два дня назад. Подходя к городку, он стал замечать перемены и в облике давно знакомых, привыч-

ных ему вещей и предметов. Словно видел он их не вчера, третьего дня, а когда-то давным-давно, может быть, много лет назад. А ведь дорога с ее колеями и обочинами была все такая же, дома были все те же, с теми же архитектурными деталями и особенностями, коньками крыш, флюгерами на прежних местах, запечатлевшихся в его памяти. То же касалось и встречных на пути, и привычных примет городской жизни: люди не стали ни старше, ни моложе, не побелели бороды старцев, а дети, ползающие вчера, пока не научились ходить. Трудно было описать, в чем состоит перемена, но в глубине души священник не сомневался, что все изменилось и люди теперь не похожи на тех, которые встречались ему и которых недавно он провожал глазами. Особенно поразила его перемена, произошедшая с его церковью, мимо которой он проходил. Здание показалось ему хоть и бесконечно знакомым, но каким-то странно новым, и мистер Димсдейл колебался, не в силах решить, видел ли он церковь только во сне, или это теперь она ему снится.

Это явление, принимая различные формы, указывало не на какие-то внешние перемены, а на глубокое и важное изменение, произошедшее в сознании человека, когда один день изменил

его так, словно прошли годы. Воля священника и воля Эстер, общая их судьба совершили это изменение. Городок был все тот же, но прежний священник остался в лесу. Друзьям, его приветствовавшим, он мог бы сказать: «Я не тот, за кого вы меня принимаете! Тот — он там, позади, в лесу, в укромной ложбине, возле замшелого поваленного дерева и печально журчащего ручья! Ступайте и поищите вашего пастора там, проверьте, может, эта исхудалая фигура, лицо со впалыми щеками, бледным, изборожденным страдальческими морщинами челом находятся там, сброшенные, подобно старому платью!» Друзья его, несомненно, принялись бы спорить: «Нет, это ты! Ты священник!» И это была бы их ошибка.

Прежде чем мистер Димсдейл успел добраться до дома, он получил новые доказательства полной революции в сфере его мыслей и чувств. И правда, только кардинальными изменениями на шкале его нравственных ценностей и всей системы поведения можно было объяснить странные порывы и побуждения, которые, к изумлению своему, ощущал в себе несчастный священник. Каждый шаг его сопровождало желание совершить нечто дикое и непотребное,

так или иначе дурное, непонятно, преднамеренно ли или невольно, но идущее из глубин, неподвластных нравственной узде. К примеру, ему встретился один из дьяконов его церкви. Добросердечный старик обратился к нему со словами, исполненными отеческой любви, тоном, на какой ему давали право как возраст, так и положение в церковной иерархии, и никак не противоречащим глубочайшему уважению к сану священника и личным его качествам. Это был прекрасный пример подлинного слияния величавой и мудрой старости со скромностью, приличествующей низшему по рангу и по талантам в разговоре с тем, кто выше. Разговор мистера Димсдейла и почтенного седобородого дьякона длился всего минуты две-три, но лишь тщательным самоконтролем и усилиями воли священник сдерживался, не позволяя себе выговорить вертевшиеся у него в голове ужасные богохульства и тем осквернить их общение и беседу о предстоящем клиру праздничном ужине. Он дрожал и бледнел при одной только мысли о том, что язык его самовольно выболтает ужасные вещи, которые норовит произнести, испрашивая у своего хозяина на это согласия и не получая его. Но обуреваемый ужасом, он все же едва удержи-

вался от смеха, воображая, как остолбенел бы почтенный дьякон, услыхав из уст священника подобные нечестивые слова.

Случился и еще один инцидент такого рода. Торопливо шагая по улице, преподобный мистер Димсдейл повстречал старейшую свою прихожанку — в высшей степени набожную и во всех отношениях безупречную престарелую вдову, жившую воспоминаниями о давно покойном муже, умерших детях и почивших друзьях ее молодых лет — воспоминаниями, которыми душа ее полнилась, подобно тому, как полнится кладбище надгробными плитами. Но то, что для иных было бы лишь поводом беспрерывно скорбеть, набожная старушка умела превращать чуть ли не в гордую радость, в чем помогала ей ее вера и чтение Писания, так утешавшие ее более тридцати лет. И поскольку мистер Димсдейл являлся ее духовником, для благочестивой старушки величайшей земной отрадой (а также отрадой и небесной, ибо что есть земное без небесного?) стала эта случайная, а может, и предопределенная судьбой встреча с ее пастором, еще одна возможность насладиться благоуханными толкованиями евангельских истин, произнесенными любимыми устами, внять словам, к

которым обратит она свое глуховатое, но такое чуткое ухо. Но на этот раз мистер Димсдейл, уже приблизив губы к самому уху старой дамы, как на грех и к радости врага рода человеческого, не мог вспомнить ни одного подходящего случаю евангельского текста, а в голову ему лезли лишь короткие, хлесткие и, как ему вдруг показалось, неопровержимые доводы, оспаривающие бессмертие души. Услышь престарелая его сестра по вере эти доводы, и она упала бы замертво, словно ей влили в ухо сильнодействующий яд. Священник потом даже вспомнить не мог, что прошептал ей — наверное, что-то невнятное, чего почтенная вдова понять не смогла, а может быть, благословенное Провидение помогло ей растолковать эти слова по-своему. Несомненно, однако, что, уже отойдя от нее и оглянувшись, священник увидел на морщинистом и пепельно-бледном лице старой женщины выражение благоговейного сияющего восторга — вероятно, отсвета небесного сияния.

Была и третья встреча. Расставшись с престарелой прихожанкой, он увидел девушку, самую молодую в его приходе. Эта девушка была покорена субботней проповедью преподобного мистера Димсдейла, проповедью, которую он произнес по-

сле своего бдения и в которой призывал оставить бренные радости нашего мира ради надежды обрести непреходящее небесное блаженство, сияющее тем ярче, чем гуще видится нам мрак вокруг нас. Мрак этот рассеется от ожидающей нас в конце светлой радости. Девушка эта была прекрасна и чиста, как лилия в райском саду. Священник знал, что в святой глубине своего чистого сердца она боготворит его, украшая белоснежными розами его образ, что теплое чувство ее к нему сродни религиозному поклонению, а поклонение это освящено самой горячей любовью. Не иначе как сам Сатана в этот день увел бедняжку из материнского дома, чтобы на дороге ей встретился этот жестоко искушаемый или же — не побоимся назвать и так — потерянный и отчаявшийся человек!

Когда она приблизилась, князь тьмы нашептывал ему желание подойти к ней поближе и заронить в ее нежную душу семя зла, которому вскоре предстояло пышно расцвести, чтобы дать впоследствии черные плоды. Священник чувствовал свою власть над этой невинной, доверившейся и всецело преданной ему душой, чувствовал, что одним своим нехорошим взглядом он способен осквернить чистоту девушки и

одного его слова будет достаточно, чтобы сбить ее с пути истинного. Но, сделав усилие и напрягая волю, он выдержал битву с самим собой: он спрятал лицо за отворотом плаща и, словно не узнав ее, поспешил мимо, предоставив юной прихожанке теряться в догадках, почему он вдруг стал таким резким и неприветливым. Она принялась копаться в себе, ворошить свою совесть, перебирая безобидные мелочи, как те пустячные предметы, которыми были набиты ее карманы или рабочая шкатулка. Бедная девушка ругала себя за воображаемые грехи и наутро занялась работой по дому с глазами, опухшими от слез.

Но прежде чем священник успел поздравить себя с победой над последним искушением, он ощутил властную потребность в поступке, столь же нелепом, как и греховном. Ему захотелось остановиться возле играющих на дороге детей — маленьких, едва научившихся говорить карапузов — и научить их — стыдно даже упоминать такое! — дурным словам. Отвергнув эту дикую прихоть как нечто недостойное его сана, он наткнулся на пьяного матроса из команды того самого шедшего от испанского побережья корабля. И здесь так храбро справившегося со всеми предыдущими злыми искушениями священника

мучительно потянуло пожать грязную руку пропойцы и, побратавшись с ним, дать себе волю и насладиться солеными шутками и непристойностями, которыми славится речь беспутных матросов, отдохнув под градом крепких словечек и самого отъявленного богохульства. Однако не столько даже высокие принципы, сколько врожденный вкус священника, а еще больше въевшаяся в него и ставшая уже привычкой степенность поведения помогли ему благополучно пройти и это испытание.

«Да что это со мной? Куда меня тянет, откуда эти искушения? — мысленно вскричал, наконец, священник. Остановившись, он стукнул себя по лбу. — Может, я сошел с ума? Или это дьявол овладел мной? Неужели я заключил с ним в лесу договор, скрепленный кровью, и сейчас он требует выполнения договора, пробуждая во мне гадкие желания и насылая все искушения, какие только может измыслить его извращенное воображение?»

В момент, когда священник в смятении задавал себе эти вопросы и бил себя ладонью по лбу, мимо, как говорят, проходила матушка Хиббинс, старуха, которую молва считала ведьмой. Она горделиво выступала в высокой прическе и

нарядном бархатном платье с брыжами, накрахмаленными знаменитым желтым крахмалом, секрет изготовления которого ей открыла ее близкая подруга Энн Тернер[19], дама, приговоренная к повешению за убийство сэра Томаса Овербери. Прочла ли ведьма мысли священника или же нет, но она остановилась как вкопанная и, вперив в Димсдейла проницательный взгляд, лукаво улыбнулась и хотя обычно не имела склонности беседовать со священником, вдруг заговорила.

— Так, значит, преподобный сэр, вы в лесу гуляли, — сказала она, кивнув священнику своей прихотливо убранной головой. — В следующий раз, когда пойдете, уж попрошу вас меня предупредить, я счастлива буду и горда вам компанию составить. Не хочу хвалиться, но по моей протекции любой джентльмен будет принят там на самом верху с распростертыми объятиями!

— Уверяю вас, мадам, — отвечал священник с изысканной вежливостью, которой требовали как общественное положение матушки Хиббинс, так и его собственное хорошее воспитание, — что ума не приложу, о чем вы толкуете! Я был в лесу

---

[19] Примечания: 19

Тернер, Энн (1576–1615) — казнена как причастная к убийству английского писателя Томаса Овербери (1581–1613), отравленного в результате придворных интриг.

вовсе не для того, чтоб меня принимали там на самом верху, и в будущем, если мне случится еще там побывать, я вовсе не собираюсь искать благосклонности тамошних могущественных правителей. Моей скромной целью было всего лишь повидать моего благочестивого друга — проповедника Элиота и вместе с ним порадоваться избавлению столь многочисленных душ от пут язычества!

— Ха-ха-ха! — закудахтала старая ведьма, по-прежнему тряся своей прической. — Понимаю! Так и следует говорить в светлое время суток. Вы и говорили как надо, не собьешь! А вот в полночь в лесу побеседуем иначе!

И она продолжила путь, по-старушечьи согбенная, но все же величественная, то и дело оглядываясь и улыбаясь священнику, словно желая закрепить их тайную связь.

«Похоже, я и впрямь продался врагу рода человеческого, — подумал священник, — тому, кого эта накрахмаленная и наряженная в бархат ведьма — если правда то, что говорят о ней люди, — избрала себе в повелители и кому она служит!»

Бедный священник! То, что он совершил, было действительно похоже на сговор с дьяволом.

Влекомый мечтами о счастье, он добровольно сделал выбор, немыслимый для себя прежнего, поддался слабости, которую считал смертным грехом. И зловредный яд этого греха отравил его нравственную сущность. Яд притушил в нем благородные святые порывы, выдвинув на первый план и оживив целый сонм дурных помыслов. Презрение, горечь, беспричинная злость и стремление ко злу, желание высмеять все, что ни есть доброго и святого, проснулись и бушевали в душе, вызывая в нем ужас. А встреча с матушкой Хиббинс, казалось, подтверждала его сходство и родство с силами зла, будь то люди или духи.

Тем временем он добрался до своего дома возле погоста и взбежал по лестнице, торопясь укрыться в убежище кабинета. Священник рад был очутиться дома без риска смутить окружающих каким-нибудь диким дурным поступком, подобным тем, к каким он испытывал странное тяготение, пока шел по улицам. Он вошел в такую привычную ему комнату, окинул взглядом книги на полках, окна кабинета, камин, уютно затянутые гобеленами стены, и чувство отчужденности, преследовавшее его всю дорогу от ложбины в лесу и потом, уже в городе, с новой силой охватило его и здесь. Он занимался учеными трудами в этом

кабинете, писал, мучил себя постами и бдениями, после которых чувствовал себя едва живым, но потом возвращался к жизни. Здесь он шептал жаркие молитвы, здесь претерпевал бесчисленные страдания. Вот его Библия на живописном и выразительном древнееврейском языке, с ее страниц вещают и говорят с ним Моисей и пророки, голос Господа слышен в ней! Здесь на столе лежит его запачканное чернилами перо, а рядом недописанная проповедь, последняя фраза оборвана на полуслове — тогда, два дня тому назад, мысль вдруг перестала свободно изливаться и на бумагу.

Он знал, что он прежний, все тот же исхудалый с бледными щеками священник, который сделал и выстрадал все и написал даже часть проповеди к дню выборов! Но вот он стоит, глядя на себя и на то, каким был раньше, как бы со стороны, с насмешкой, жалостью, но и с каким-то даже немного завистливым любопытством. Того прежнего священника больше нет. Из леса вышел другой человек — умудренный тайным знанием, недоступным прежнему простаку-священнику!

Размышления его были прерваны стуком в дверь, и священник сказал: «Войдите!» Он подозревал, что его не слишком удивило бы даже

появление на пороге злого духа. Так и оказалось. В кабинет вошел Роджер Чиллингворт. Священник стоял бледный, безмолвный, положив руку на древнееврейское Священное Писание, другой рукой держась за сердце.

— Добро пожаловать домой, сэр! — молвил доктор. — В каком состоянии нашли вы благочестивого проповедника Элиота? Но вы так бледны, дорогой сэр, должно быть, прогулка по дикому лесу оказалась вам не по силам. Не нуждаетесь ли вы в моей помощи, чтобы к вам вернулись силы и бодрость, необходимые для произнесения проповеди ко дню выборов?

— Нет, не думаю, что мне это требуется, — отвечал преподобный мистер Димсдейл. — И прогулка моя, и общение со святым пастором, и свежий воздух, который я наконец вдохнул после столь длительного сидения в духоте кабинета, пошли мне только на пользу. Кажется, отныне я больше не нуждаюсь в ваших снадобьях, добрый мой доктор, хотя они, несомненно, хороши и подает мне их рука друга.

Все это время Роджер Чиллингворт глядел на священника серьезно и внимательно, как обычно смотрит врач на пациента. Но, несмотря на отсутствие какого бы то ни было внешнего выражения,

пациент был почти убежден в том, что старик знает или по меньшей мере подозревает его в том, что он встречался и говорил с Эстер Принн. Доктор знал, что в глазах священника он теперь вовсе не его друг, а злейший враг. Раз оба они это знали, стало быть, часть этого знания непременно должна была проявиться. Но поистине удивительно, сколько времени порою требуется для того, чтоб очевидная мысль облеклась в слова, и как долго можно избегать щекотливой темы, если собеседники решили это сделать, без опаски балансируя на самой грани, а потом все же отступить, так и не коснувшись темы. Потому священник и не опасался, что Роджер Чиллингворт заговорит без обиняков об истинном их отношении друг к другу. Но доктор исподволь подобрался слишком близко к их тайне, и это пугало.

— Все же не лучше ли будет вам, сэр, сегодня вечером воспользоваться моим искусством? — спросил доктор. — Ведь надо особо постараться, чтоб завтра на церемонии вы были бодры и в добром здравии. Народ ждет от вас великих деяний, страшась мысли, что в следующем году их пастор может их покинуть.

— Да, перейдя в иной мир, — смиренно, как и подобает человеку набожному, отвечал священ-

ник. — Надо надеяться, что тот мир окажется лучше, в чем порукой нам Небеса. Положа руку на сердце, не думаю я, что пробуду с моей паствой еще год. Что же до ваших лекарств, добрый сэр, то в теперешнем моем состоянии надобности в них нет.

— Рад слышать, — отозвался доктор. — Все средства, которые я применял, казалось бы, впустую, наконец начали действовать. Я был бы счастливейшим из людей, достойным благодарности всей Новой Англии, если б смог вас вылечить!

— Благодарю вас от всего сердца, мой бдительный друг, — с важностью проговорил преподобный Димсдейл и улыбнулся. — Благодарю, но за все благодеяния ваши я могу воздать лишь молитвами.

— Молитвы достойного добродетельного человека дороже золота, — заметил Роджер Чиллингворт уже в дверях. — Они и есть золото. Это золотые монеты, что в ходу в Граде Небесном, Новом Иерусалиме, и чеканит эти монеты сам Господь.

Оставшись один, священник позвал служанку и попросил подать ужин, а когда еда была принесена, он съел ее с огромным аппетитом. Поужинав, он бросил в огонь написанные стра-

ницы проповеди ко дню выборов, и начал работу заново, причем делал это удивительно легко: мысли, теснясь, свободно находили выражение, слова лились потоком и ложились на страницу, охваченные таким искренним чувством, что он заподозрил источником своего вдохновения помощь Небес и лишь удивлялся тому, что для передачи божественной гармонии своих великих откровений Небеса выбрали столь слабый и недостойный инструмент. Но, не пытаясь разгадать загадку, так и оставшуюся неразгаданной, он продолжал работать усердно и вдохновенно, торопя часы. Ночь летела, как крылатый конь, а он скакал на этом коне; потом конь умчался, наступило утро, сквозь шторы на окнах просочился розовый свет; наконец, взошло солнце, и золотой солнечный луч, скользнув в кабинет, прыснул светом прямо в утомленные глаза священника. Он все еще сидел за столом, зажав в руке перо среди груды исписанных листов.

Глава 21
Праздник в Новой Англии

Утром того дня, когда народу предстояло вручить полномочия новому губернатору, на рыночной площади появилась и Эстер Принн вместе с маленькой Перл. На площади уже толпились ремесленники и прочие простолюдины, среди которых выделялись, в частности, и люди в одеждах из оленьих шкур — косматые обитатели окрестных лесных поселений.

В этот праздничный день, как и в прочие знаменательные дни, случавшиеся за эти семь лет, Эстер Принн была одета как обычно — в платье из грубого полотна. И цвет платья, и особенности фасона делали ее неприметной, как бы уничтожая ее, в то время как алая буква, наоборот, выводила ее из сумрачной тени, блеском своим заставляя вспомнить о моральном значении этого символа. Ее лицо, столь знакомое горожанам, несло на себе мраморную маску непоколебимого спокойствия, которую также привыкли видеть на нем жители города. Эта маска была отчасти сродни застылости черт, которую мы наблюдаем

на лицах покойников, и жутковатое это сходство объяснялось тем, что для всех вокруг Эстер и вправду была мертва, недоступна сочувствию и отрешена от мира, в котором продолжала жить.

Но в этот день на лице ее проглядывало и выражение, которого раньше заметно не было, да и сейчас его заметить мог бы лишь зоркий наблюдатель, умеющий к тому же читать в сердцах, — он сперва должен был бы раскрыть тайну ее сердца, после чего отыскать отражение этой тайны на ее лице и во взгляде. Такой пророчески одаренный человек, возможно, понял бы, что после семи лет страдания, когда ей пришлось сносить взгляды толпы по необходимости, как наказание, наложенное на нее суровыми правилами религии, теперь она в первый и в последний раз встречала эти взгляды свободно и охотно, радуясь тому, что может превратить мучение в свой триумф.

«Поглядите в последний раз на эту алую букву и на женщину, что носит ее на груди! — могла бы воскликнуть эта жертва, обращаясь к тем, кто считал ее своей вечной рабой. — Еще немного, и они уплывут из ваших рук и вам их не достать! Всего несколько часов — и таинственные глубины океана поглотят и навек скроют из глаз знак, которому вы предназначили жечь огнем грудь

этой женщины!» И надо ли считать слишком невероятной столь свойственную человеческой природе противоречивость, если Эстер, готовясь освободиться от боли, въевшейся ей в плоть и кровь, испытывала нечто вроде сожаления? Разве не могло у нее возникнуть непреодолимого желания в последний раз одним глотком осушить до дна горькую чашу со вкусом алоэ и полыни, пропитавших собой и отравивших лучшие годы молодой ее жизни? Напиток жизни, который будет теперь поднесен к ее губам в кубке чеканного золота, должен быть крепким, насыщенным, сладким и поистине бодрящим, иначе он неизбежно возбудит в ней, одурманенной горечью, лишь бесплодное томление.

Перл резвилась без устали — легкая, брызжущая весельем. Невозможно было даже представить себе, что это сияющее солнечное существо обязано своим рождением фигуре столь сумрачной и серой или что богатую причудливую фантазию, ярко проявившуюся в создании наряда малышки, могла увлечь и совершенно иная, хотя, возможно, и более трудная задача — придать своеобразие скромному платью Эстер. Наряд девочки удивительно шел к ней; он казался неизбежным развитием и внешним проявлением ее харак-

тера, он был неотделим от нее и свойствен ей, как свойствен крылу бабочки пестрый переливчатый блеск, как свойственна живописная яркость лепесткам цветка. Как и у бабочки, как и у цветка, наряд девочки совершенно сливался с ее внутренней природой. К тому же в особенный этот день девочка была возбуждена, беспокойна и переменчива в настроениях больше обычного. Так переливается, искрится, сверкая гранями при каждом движении или вздохе, бриллиант на женской груди. Дети чутко улавливают волнение близких, в особенности отзываясь на угрозу близкой беды или каких-то перемен в их домашнем укладе. Вот и Перл, этот драгоценный бриллиант на не знающей покоя материнской груди, прихотливыми перепадами настроения выражала эмоции, которые у Эстер оставались скрытыми за мраморной маской невозмутимости. Быстрая смена разнообразных чувств заставляла девочку, вместо того чтоб идти бок о бок с матерью, то и дело покидать ее, порхая, подобно птичке. При этом она издавала дикие вопли, бормотала что-то невнятное, иногда начинала петь громко и пронзительно. Девочка стала еще беспокойнее, когда они с матерью подошли к площади и она увидала бурлящую толпу там, где обычно глазам

представала картина широкая и пустынная, более похожая на обширный, заросший сорняками луг перед сельским молитвенным домом, нежели на средоточие деловой жизни города.

— Что это, мама? Почему все эти люди бросили работу? Разве сегодня общий выходной? Гляди, и кузнец здесь! Он смыл сажу с лица, надел праздничную одежду и как будто хочет сказать, что не прочь повеселиться, если только ему покажут, как это делается! А вот и старый мистер Бракет, тюремщик! Он кивает и улыбается мне. Почему он это делает, мама?

— Он помнит, как ты была еще у меня на руках, девочка!

— Все равно незачем ему мне кивать и улыбаться! Он страшный, черный урод! — заключила Перл. — Пусть он, если ему так уж хочется, тебе кивает, раз ты одета в серое и носишь эту алую букву! Но посмотри, сколько незнакомых людей! И индейцы здесь, и моряки! Зачем они все пришли сюда, на рыночную площадь?

— Хотят посмотреть шествие, — ответила Эстер. — Перед нами пройдет губернатор, пройдут судьи, и важные чиновники, и просто добрые люди тоже примут участие, а во главе колонны будут музыканты и промаршируют солдаты.

— А священник тоже там будет? — спросила Перл. — И он протянет ко мне обе руки, как сделал тогда у ручья, когда ты подвела меня к нему?

— Да, он там будет, дитя мое, — отвечала мать. — Но здороваться с тобой сегодня не станет, и ты тоже не должна с ним здороваться.

— Какой-то он странный, невеселый, — пробормотала Перл себе под нос, как бы говоря сама с собой. — Когда темно, он зовет нас к себе, держит за руку тебя и меня, как было, когда мы стояли рядом с ним вон на том помосте. И в густом лесу, когда одни только старые деревья могут это слышать, а клочок неба — видеть, он разговаривает с тобой, сидя на куче мха! Тогда он целует меня в лоб, так крепко, что даже ручью трудно смыть этот поцелуй. А днем, когда светит солнце и вокруг люди, он знать нас не знает, и мы должны делать вид, что незнакомы! Странный он, невеселый, вечно за сердце хватается!

— Тихо, Перл! Тебе этого не понять, — сказала Эстер. — Выкинь из головы мысли о священнике. Лучше погляди, какие у всех сегодня веселые лица. Дети не пошли в школу, взрослые оставили работу на полях и в мастерских, чтобы порадоваться, потому что в этот день нами начинает править новая власть, а так повелось, с тех пор

еще, когда люди уговорились жить вместе, что новости этой надо радоваться и веселиться, будто и впрямь для нас, бедных, золотой век наступает!

Эстер была права: лица людей действительно были оживлены непривычной веселостью. По обычаю, сложившемуся уже тогда и бытовавшему потом без малого два столетия, именно это время года пуритане отводили общественным празднествам и выражениям веселья в той мере, какую они считали допустимой, снисходя тем самым к извечной человеческой слабости. На время рассеивая окружавший их мрак, они являлись на праздник с лицами едва ли мрачнее тех, что в других сообществах можно видеть в дни всенародных бедствий.

Впрочем, мы, возможно, преувеличиваем мрачность, несомненно, свойственную настроению и нравам той эпохи. В людях, собравшихся на рыночной площади Бостона, пуританская суровость не была врожденным качеством. Ведь родились они в Англии, где их отцы жили в солнечном изобилии Елизаветинской эпохи, несравненного времени величия, расцвета и радостных надежд. Следуй новоанглийские поселенцы вкусам своих отцов, и они отмечали бы важнейшие общественные события кострами, пышными

пирами, веселыми зрелищами и карнавальными процессиями. Во время официальных церемоний они умели бы сочетать торжественность с услаждающей душу веселостью, как бы украшая причудливой яркой вышивкой строгую мантию государственности, какую в подобных случаях набрасывает на себя нация. Тенью такой попытки можно счесть и празднество, каким колония отмечала наступление нового политического года. Туманным отражением былого и все еще памятного великолепия, бесцветным слабым подражанием тому, что видели они в горделивом древнем Лондоне — нет, даже не во время коронации, а во время въезда в город лорда-мэра — являлась ежегодная церемония, учрежденная нашими предками в честь избрания нового состава судей. Отцы-основатели нашего государства — сановник, священник и солдат — считали своим долгом и в этот день сохранять вид торжественный и величавый, какой издревле считается приличествующим лицам высокого звания. Им надлежало пройти перед народом в шествии, придавая тем самым нужную меру достоинства новоиспеченной и еще столь несовершенной власти.

В этот день народу дозволялось и чуть ли не

вменялось в обязанность немного отдохнуть, прервать свой тяжкий и неустанный труд в разнообразных его формах, который в другое время считался неразрывно связанным с их верой и этой верой освященным. Однако надо сказать, что ничего подобного народным увеселениям, которыми так богата была Англия времен Елизаветы или короля Якова, здесь мы бы не нашли. Не могло здесь быть ни грубых фарсовых представлений, ни бродячего певца с арфой, распевающего старинную балладу, ни потешного человека с обезьянкой, танцующей под музыку, ни фокусника с его поистине колдовским мастерством, ни забавной куклы в балагане, веселящей народ своими шутками, может быть, и столетней давности, но такими смешными и простыми, ибо черпают их из самого источника комизма. Все носители такого рода забав подверглись бы суровому осуждению, и не только во исполнение закона, осудило бы их и общественное мнение, придающее закону его действенную силу. И тем не менее простые честные лица вокруг улыбались, и настроение толпы выражала улыбка — может быть, и сдержанная, но заметная. Не были здесь обойдены вниманием и спортивные состязания, подобные тем, какие колонисты на-

блюдали или в которых участвовали в давние дни еще на ярмарочных площадях и зеленых лужайках сельской Англии. Такие состязания иммигранты сочли необходимым сохранить и на новой земле, так как занятие спортом воспитывает в людях храбрость и мужество. Тут и там на рыночной площади в схватку вступали борцы стиля корнуэльского или девонширского. Бились на дубинках. Особенный интерес у публики вызвало происходившее на уже известном читателю помосте у позорного столба. Там демонстрировали свое искусство владения мечом двое со щитами. Но, к большому разочарованию толпы, этот поединок был пресечен приставом, поскольку он усмотрел здесь посягательство на величие закона через осквернение одного из главнейших его святилищ.

В общем, мы могли бы смело утверждать, что в умении устраивать праздники эти люди, пребывавшие еще только на первой стадии безрадостного существования и рожденные от отцов, знавших толк в веселье, могли бы поспорить за первенство со своими потомками, жившими годы и годы спустя, вплоть до наших дней. Прямые же их потомки, поколение, следовавшее за первыми иммигрантами, отличаясь пуританством

самого безрадостного свойства, так омрачили лик страны, что всех дальнейших лет не хватило, чтоб развеять эту черную тень. Нам надо заново осваивать забытое искусство веселиться.

Картина рыночной площади, в целом выдержанная в тонах серых, коричневых и черных — таковы были унылые цвета одежды английских иммигрантов, — оживлялась примесью и некоторых других красок. Группа индейцев в своих дикарских нарядах из украшенных затейливой вышивкой оленьих шкур, в ожерельях из раковин, с лицами, измазанными красной и желтой глиной, в головных уборах из перьев, вооруженные луками, стрелами и копьями с каменными наконечниками, стояла в сторонке, наблюдая происходящее с выражением такой мрачной суровости, что пуританская суровость меркла рядом с ней. Но и эти живописно раскрашенные варвары не были самой экзотической деталью празднеств. С бóльшим правом на такое звание могли бы претендовать некоторые из присутствовавших здесь же моряков — часть экипажа судна, прибывшего из испанских владений. Моряки эти сошли на берег, чтобы разделить веселье в честь дня выборов. По виду это были отъявленные разбойники с грубыми, дочерна обожженными

солнцем лицами, длиннобородые, в коротких и широких панталонах, нередко скрепленных на поясе грубой, но золотой пряжкой, за поясом неизбежно торчал длинный нож, а у некоторых — сабля. Из-под широких, сплетенных из пальмовых листьев шляп сверкали глаза, которые даже в минуты абсолютного благорасположения и веселья выражение имели просто зверское. Без малейшего страха или сомнения люди эти нарушали общепринятые и соблюдаемые всеми прочими правила — курили табак под носом у пристава, хотя горожанину каждая затяжка стоила бы шиллинг, в свое удовольствие, тянули из фляжек вино или водку, без стеснения предлагая выпить и глазевшим на них окружающим.

Подобное ясно показывает неполноту тогдашних правил, признанных крайне строгими. Однако бороздящему моря люду дозволялось не только безнаказанно предаваться всяческим безрассудствам на берегу, но и серьезно нарушать закон в сфере, непосредственно связанной с родом их занятий, — на море. Тот, кого современники именовали моряком, наш век назвал бы пиратом. Так, например, не подлежит сомнению, что матросам уже знакомого нам судна, чей экипаж был составлен из далеко не самых

худших представителей морского братства, можно было бы, выражаясь юридически, вменить в вину нанесение ущерба торговле с Испанией, причем в размерах столь значительных, что современный суд счел бы преступников достойными виселицы.

Но море в те давние времена дышало, вздымало валы и пенилось, как ему заблагорассудится, повинуясь лишь буйным ветрам и противясь любым попыткам подчинить его человеческому закону. Бесчинствующий на морях головорез мог вдруг пожелать остепениться, бросить свое ремесло и осесть на суше, а там прослыть честнейшим и набожным членом общества, но даже и на пике беспутной его жизни никто не считал для себя зазорным вести с ним дела или приятельствовать. Вот почему одетые в черные плащи, в накрахмаленных брыжах, увенчанные шляпами с высокой тульей пуританские старейшины довольно благосклонно и с улыбкой воспринимали грубое и шумное поведение неунывающих морских бродяг и не выразили ни удивления, ни порицания, когда столь почтенный гражданин доктор Роджер Чиллингворт, придя на площадь, вступил в непринужденную дружескую беседу с капитаном вышеназванного судна.

Последний представлял собой фигуру в высшей степени яркую и живописную. Одежда его была украшена лентами, а шляпу с золотой с цепями оторочкой украшало перо. Он был при сабле, и саблей же был рассечен его лоб, но шрам от удара, вместо того чтоб скрыть под волосами, капитан, похоже, всячески выставлял напоказ. Горожанин, появись он в таком виде и с такой отметиной на лбу, к тому же со столь гордым и самоуверенным видом, вряд ли избег бы строгого допроса у судьи, который, вероятнее всего, его оштрафовал бы, а то и посадил в тюрьму или даже заковал в кандалы. Что же до капитана, то его вид воспринимался как естественный, свойственный ему от природы, как рыбе свойственна сверкающая чешуя.

Расставшись с доктором, капитан бристольского судна лениво прошелся по площади, а потом, приблизившись к месту, где стояла Эстер Принн, ему, по-видимому, знакомая, он тут же к ней и обратился. Как обычно, вокруг Эстер было пусто, она стояла внутри как бы магического круга, переступать окружность которого люди, даже теснясь и толкаясь рядом, не осмеливались или же не имели желания. К этой насильственной моральной изоляции женщину принудила носимая ею алая буква, и одиночество Эстер вы-

зывалось как собственной ее сдержанностью, так и инстинктивным отчуждением ее собратьев, которые, правда, постепенно стали относиться к ней помягче. Но как раз сейчас отчуждение это в кои-то веки сыграло Эстер на руку, дав ей возможность поговорить с моряком, не будучи услышанной, причем репутация Эстер Принн к тому времени была уже такова, что беседу эту никто не счел бы поводом для скандала бóльшим, чем если б с моряком заговорила самая строгая моралистка во всем городе.

— Только знаете, миссис, — сказал морской волк, — я должен буду предупредить судовую прислугу приготовить еще одну койку, кроме тех, что заказаны вами. А что касается цинги или там какой-нибудь морской болезни, не бойтесь. Тут мы будем в безопасности. С двумя врачами — судовым доктором и еще одним — этим, единственное, что нам грозит, — это объесться пилюлями, а их на судне теперь вволю: я целый аптечный склад на испанском корабле выторговал.

— О чем это вы? — спросила Эстер. Она встревожилась, хотя и не хотела этого показывать. — Разве будет еще пассажир?

— Неужели вы не знаете, — вскричал капи-

тан, — что здешний доктор, этот, как его, Чиллингворт, кажется, тоже отправляется с нами? Ай-яй-яй, я думал, вы знаете, он же говорил мне, что он из вашей компании, что он близкий друг того джентльмена, о котором вы рассказывали, что его преследуют эти постные пуританские начальники.

— Да, они хорошо знакомы, — подтвердила Эстер. Внешне она казалась совершенно невозмутимой, но внутри у нее все кипело. — Они долго жили вместе.

На этом разговор Эстер Принн с моряком закончился. Но, оглянувшись, Эстер в ту же минуту увидела Роджера Чиллингворта. Стоя в дальнем углу площади, он улыбался ей. И ни шум бурлящей смехом и говором толпы, никакие мысли, никакие чаяния людей, собравшихся на праздник, не могли скрыть для Эстер тайного и зловещего смысла этой улыбки.

Глава 22
Шествие

Но прежде чем Эстер Принн успела собраться с мыслями и обдумать, как теперь ей быть, когда дело приняло новый и такой зловещий оборот, послышались звуки приближавшейся военной музыки, возвестившие о том, что процессия, состоящая из судей и достойнейших горожан, движется по ближайшей улице, направляясь к молитвенному дому, где по тогда еще установленному и до сих сохраняемому обычаю священник, то есть мистер Димсдейл, должен был произнести проповедь в честь дня выборов.

Вскоре показалась голова процессии — завернув за угол, люди медленно и торжественно ступили на рыночную площадь. Впереди шел оркестр — хотя, возможно, все инструменты его и были плохо сыграны, а музыканты не отличались мастерством, но цели своей, той цели, во имя которой барабан и рожок, сливаясь в звучании, обращаются к толпе, оркестр этот достигал, придавая происходящему перед глазами характер более героический и возвышенный. Малень-

кая Перл, поначалу хлопавшая в ладоши, вдруг притихла, возбужденное состояние, в котором она пребывала все утро, на секунду покинуло ее, она молча глядела на музыкантов и, казалось, готова была устремиться вверх, взмыть, как чайка, в небо, куда неслись волны музыки. Но прежняя живость тут же вернулась к ней, как только солнечные лучи заиграли на доспехах шедшего вслед за музыкантами отряда военных. Этот отряд, который до сих пор сохраняется как воинское подразделение и, овеянный древней славой, по-прежнему горделиво вышагивает на парадах, пополнялся не искателями наживы. В него вступали джентльмены, чувствовавшие в себе военную жилку и мечтавшие о создании чего-то наподобие военного колледжа, где бы они, как в старину рыцари-тамплиеры, могли бы осваивать воинскую науку и практику войны в той мере, в какой последнее представляется возможным в мирное время. То, каким уважением пользовались в то время люди военные, сказывалось в гордом шаге и выправке каждого из членов отряда. Некоторые из них действительно отличились в военных действиях в Нидерландах и на других военных театрах Европы и тем заслужили право и честь именоваться солдатами. Вид

их, закованных в сверкающую сталь, в шлемах, увенчанных колышущимися плюмажами, был чрезвычайно эффектен и представлял собой зрелище, до которого далеко современным парадам.

Но шедшие непосредственно за военными высокопоставленные чиновники вдумчивому наблюдателю показались бы более достойными рассмотрения. Поступь их была столь величава, что в сравнении с ней напыщенность военных показалась бы вульгарной и даже смешной. То был век, когда качество, называемое нами талантом, ценилось не столь высоко. Явным предпочтением пользовались основательность и достоинство. Люди тогда обладали врожденной почтительностью к тем, кто имел право на уважение и почет. Но в последующих поколениях почтительность если не выродилась окончательно, то значительно ослабла, что сказывается на выборе и оценке общественных деятелей. Такая перемена, возможно, к лучшему, а может, и к худшему; впрочем, вернее всего частично правильно и то и другое.

В те давние времена осваивавший дикий край английский поселенец, отринув короля, знать и все степени сословных различий, все же сохранял способность и властную потребность кого-то

почитать и сделал объектом почитания седины и благородный облик людей в летах, тех, кто многократно доказывал целостность и стойкость характера, неизменную мудрость и за плечами имел горький опыт жизни. Наши предки уважали серьезность и основательность, качества, внушавшие им идею постоянства и подпадавшие под определение респектабельности. Поэтому общественных деятелей новой формации, таких как Брэдстрит, Эндикот, Дадли, Беллингем, и их соратников, призванных к власти выбором первых избирателей, отличает, как нам кажется, не столько блеск и живость ума, сколько его надежная трезвость. Они обладали упорством и верой в себя, а в годину тяжких испытаний вставали на защиту страны и защищали благополучие ее граждан, подобно тому, как гряда утесов защищает морской берег от разрушительных штормов. Перечисленные свойства характера ярко проявлялись во внешности судей колонии, в грубоватых крупных чертах их лиц, в тяжеловесности могучих тел. Что же до естественной властности повадки, то на старой родине эти видные деятели истинной демократии не посрамили бы своим присутствием ни палату лордов, если бы их туда приняли, ни даже Тайный совет при

монаршей особе.

Следом за судьями шел молодой славившийся своим талантом священник, из уст которого и должна была прозвучать проповедь в честь очередного знаменательного дня. Делом своей жизни он выбрал поприще, на котором в то время ум, воля, духовность значили и могли проявиться даже больше, нежели в политике. Ибо — оставляя в стороне мотив высшего порядка — уважение и даже благоговение общества являлось достаточным побудительным стимулом к тому, чтоб исполнять пасторский долг с особым рвением, вкладывая в это все свои способности. А как показывает пример Инкриза Мэзера, успешный священник мог стать даже фигурой политической[20].

Наблюдательные люди могли заметить, что никогда раньше с тех пор, как нога священника ступила на берег Новой Англии, не выказывал он такой энергии и бодрости в движениях и походке, чем шагая вместе с другими в процессии. Куда делись неверные шаги, вялость! Он больше не горбился, как обычно, не хватался рукой за сердце

---

[20] Примечания: 20

Мэзер, Инкриз (1639–1723) — бостонский священник и ректор Гарвардского университета, в свое время влиятельный политический деятель Массачусетса.

— этот жест всегда вызывал тревогу у окружающих. Однако внимательному глазу становилось ясно, что сила, вернувшаяся к священнику, — не телесного порядка. Ее, по-видимому, питала бодрость духа, которой споспешествовали ангелы небесные. А может быть, силы его подкрепило чудодейственное сердечное снадобье, настойка, томленная на жарком огне непрестанных мучительных размышлений. Возможно, чуткую его натуру взбодрили громкие пронзительные звуки музыки, которые, устремляясь к небу, увлекли и его, и он взмыл вверх, подхваченный волной этих звуков. Однако взгляд мистера Димсдейла был сейчас так рассеян, что можно было усомниться, слышит ли он музыку вообще. Тело его с непривычной живостью двигалось вперед. Но где было его сознание? Оно находилось далеко — погруженное в себя, оно неутомимо запускало одну за другой вереницу важных мыслей, которыми предстояло поделиться с людьми, и потому он ничего не видел, не слышал и не знал, что делается вокруг, в то время как дух его двигал немощную телесную оболочку с легкостью, не ощущая груза, преображая и его в духовную субстанцию. Люди с необычайно развитым интеллектом, но слабые телесно, способны иногда на мощный рывок,

усилие, подготавливаемое исподволь, долго, в течение многих дней, но, совершив это усилие, они потом на срок столь же или даже более долгий лишаются сил.

Эстер Принн не сводила глаз со священника, и ее охватывало жуткое чувство, причину и источник которого понять она не могла, а лишь чувствовала вдруг возникшую отстраненность священника от нее и полную невозможность для нее, Эстер, к нему приблизиться. Ну хоть взглянуть на нее, хотя бы мельком, он бы мог! Ей вспомнились угрюмый лес и маленькая уединенная ложбина, и любовь, ее тоска и мука, и мшистый древесный ствол, где они сидели, держась за руки, перемежая свои страстные печальные речи с грустным лепетом ручья. Как хорошо понимали они тогда друг друга! Да он ли это был? Сейчас его и не узнать! Так гордо шествует мимо, словно погруженный в музыку, вместе с этими важными почтенными отцами нации, такой недосягаемый на этой своей высокой ступени общественной лестницы, погруженный в свои недоступные холодные размышления, которыми он сейчас так занят и куда ей заказан путь. Эстер совсем пала духом при мысли, что, может быть, все это было лишь обманчивой иллюзией, пригрезившимся

ей сном — ярким и правдоподобным, а на самом-то деле ее и священника ничто не соединяет. Но, будучи женщиной, Эстер едва ли могла его простить, особенно в эту минуту, когда слышна тяжелая поступь надвигающегося Рока — шаги все ближе, ближе, а он посмел удалиться из их общего мира, оставив ее плутать в темноте и тщетно тянуть к нему хладные руки.

Возможно, Перл улавливала чувства матери и откликалась на них, а может быть, и сама ощущала непроницаемую завесу, за которой скрылся священник, теперь недосягаемый. Пока шествие продолжалось, ребенок был в замешательстве и трепетал, как готовая вспорхнуть птичка. Но когда перед ними прошел последний участник процессии и все кончилось, она заглянула Эстер в глаза.

— Мама, это тот самый священник, что целовал меня у ручья?

— Тише, малышка, успокойся, — шепнула мать. — Не стоит говорить на площади о том, что было с нами в лесу.

— Да и непохоже, что это он — так странно он выглядит, — продолжала девочка. — Будь это он, я подбежала бы к нему и попросила бы поцеловать меня сейчас, при всех, как тогда в

лесу, среди темных деревьев! Что бы он сказал? Схватился бы за сердце и хмуро велел бы мне убираться прочь?

— Что мог бы он сказать, Перл, — отозвалась Эстер, — кроме того, что целоваться ему некогда и что рыночная площадь не место для поцелуев? Ты молодец, глупенькая моя девочка, что не заговорила с ним.

Несколько по-другому, но тот же взгляд на мистера Димсдейла выразила женщина, чье сумасбродство или же безумие — такое слово нам кажется предпочтительнее — побудило ее на поступок, на который осмелился бы мало кто из прочих горожан, — в открытую заговорить с отмеченной алой буквой особой. Женщиной этой была матушка Хиббинс. Роскошно одетая, в платье из бархата, с пышными, тройными брыжами и вышитым корсажем, опираясь на трость с золотым набалдашником, она явилась посмотреть шествие. Поскольку престарелая дама была известна (а за известность эту ей впоследствии пришлось заплатить жизнью) важной ролью, которую она играла во всех существовавших в то время колдовских обрядах, толпа расступалась перед ней, как будто боясь даже коснуться ее платья, словно глубокие складки его могли таить

в себе яд. Увидев ее рядом с Эстер Принн — к которой, правда, многие успели проникнуться добрыми чувствами, — люди испытали двойной ужас, заставивший толпу отхлынуть с того конца площади, где происходила беседа двух женщин.

— Нет, какой смертный мог бы это себе представить! — доверительно шепнула старуха. — Человек такого благочестия! Люди говорят, что святее его во всем свете не найти, — и должна признать, таким он и выглядит. И кто, глядя сейчас, как он шагает в процессии, мог бы подумать, что совсем недавно, выйдя из своего кабинета и, надо думать, все еще твердя про себя древнееврейские строки Священного Писания, он отправился погулять в лес! Ха! Уж нам-то с тобой, Эстер Принн, хорошо известно, что это значит! Но, право, трудно признать, что это один и тот же человек! Много достославных членов церкви, что идут сейчас вослед музыкантам, видала я в наших хороводах кружащимися под скрипку Сами Знаете Кого. Кто только не кружился там, рядом с нами — и индейский шаман, и колдун из Лапландии. Для женщины, которая знает жизнь, тут нет ничего удивительного. Но чтобы священник… Ты совершенно уверена, что именно этого человека встретила на лесной тропинке?

— Не пойму, о чем вы говорите, мадам, — отвечала Эстер Принн. Зная, что матушка Хиббинс слегка тронулась умом, она все-таки была напугана и странным образом смущена той уверенностью, с которой та открыто утверждала о связи столь многих людей (и ее самой в том числе) с врагом рода человеческого. — Негоже мне болтать что ни попадя о столь ученом и набожном проповеднике слова Божьего, как мистер Димсдейл!

— Фу, женщина, стыд да и только! — воскликнула старая дама, грозя пальцем Эстер. — Уж не воображаешь ли ты, что я, для кого лес как дом родной, не умею распознать, кто еще туда наведывается? Умею, и очень хорошо, даже если в волосах у них не застрянет ни листика из венков, в которых они там пляшут? Тебя-то я знаю, Эстер, потому что вижу знак, который ты носишь. Знак твой сверкает на солнце в дневную пору и горит огнем в темноте. Ты носишь его в открытую, так что с тобой все ясно. Но чтобы священник… Дай-ка я шепну тебе кое-что на ушко. Когда Черный Человек видит, что один из слуг его, поставивший подпись на договоре, подпись, скрепленную печатью, стесняется признаться в этом, он находит способ сделать так, чтобы весь

мир увидел эту печать! Что этот священник все за грудь хватается, а, Эстер? Что это значит?

— Что, добрая миссис Хиббинс? — с нетерпеливым любопытством спросила маленькая Перл. — Ты сама видела, что там прячется?

— Не важно, дорогая моя, — серьезно отвечала ребенку матушка Хиббинс. — Будет время, ты увидишь это собственными глазами. Рано или поздно, но увидишь. Ты ведь, кажется, в родстве с князем воздуха, дитя? Может, поскачем с тобой как-нибудь разок, когда стемнеет, чтобы ты папашу своего там встретила? Там и узнаешь, почему священник все за грудь хватается!

И, смеясь так громко и визгливо, что вся площадь услышала, старуха отошла от Эстер.

К этому времени в молитвенном доме окончилось вступительное моление, и раздались звуки голоса преподобного мистера Димсдейла, начавшего свою речь. Эстер стояла как вкопанная вблизи молитвенного дома. Так как здание было заполнено до отказа, Эстер выбрала место возле позорного своего помоста. Сюда проповедь доносилась до нее лишь как невнятный гул, как модуляции — то выше, то ниже — красивого и звучного голоса священника. Голос являлся одним из даров, которым был наделен священник,

так что даже чужестранец, не понимавший слов проповеди, бывал захвачен самим звучанием и интонацией. Как всякая музыка, голос этот дышал чувством и страстью и заражал эмоциями высокими и прекрасными, вещая на языке, родственном языку сердца и внятном всякому, кто научен слышать.

Доносившиеся звуки были невнятны, но Эстер Принн внимала им так напряженно и с таким сочувствием, что проповедь обретала для нее смысл превыше всяких слов, расслышать которые она не могла. А может, услышь она слова, и столь грубый посредник стал бы на пути их духовного единения. Она ловила тихие неясные звуки, как слушают колебания ветра, то поднимающегося, крепнущего во всей своей мощи, то затихающего до ласкового шепота, и перепады звуков, обволакивая Эстер, погружали ее в состояние возвышенное и благоговейное. Но и тихий, и поднимавшийся до раскатистой, торжественной громкости голос не терял столь свойственной ему нотки грустной задумчивости. В нем всегда звучали тоска и му́ка. Становился ли он шепотом, превращался ли в вопль, то был голос страждущего человечества, и он не мог не отзываться в сердце любого слушателя. Люди откликались и

на напряженную патетику, и на еле слышный в мертвой тишине вздох. Но и возвышаясь и вольно взлетая ввысь, обретая широту и силу, такую, что, казалось, вот-вот голос этот, наполнив церковь, прорвет ее мощные стены и вырвется на свободу, всегда, если слушать внимательно и вникать в слышимое, в этом голосе можно было различить одно — страдальческий стон.

Что это было? Жалоба человеческого сердца, обремененного скорбью, а может быть, виной, раскрывающего свою тайну — скорби или же вины и взывающего к великодушию людскому с великой мольбой о сострадании или прощении? Именно эта непрестанная еле уловимая нота страдания сообщала священнику его особую власть над паствой.

Все это время Эстер стояла неподвижно, как статуя, у подножия эшафота. Даже если бы голос священника не приковал ее к этому месту, ее вновь тянуло туда, где провела она первый час своего позора. В ней гнездилось чувство слишком смутное, чтобы оформиться в мысль, но тем не менее навязчивое и гнетущее, что весь круг ее жизни — до и после — связан с этим местом, что именно оно замыкает этот круг.

Малышка Перл между тем оставила мать и

весело сновала по рыночной площади. Ее непрестанное прихотливое мелькание вызывало улыбку на хмурых лицах горожан. Так мелькает солнечный лучик, так прыгает с ветки на ветку, то появляясь, то скрываясь в темной густой листве дерева, птичка в ярком оперении… Движения ее были причудливы и разнообразны — то плавны и ленивы, то неожиданно порывисты. В них отражалась безудержная живость ее натуры, а в этот день она была вдвойне беспокойна, так как ей передалось беспокойство матери. Завидев что-нибудь вызвавшее ее безудержное, но всегда мимолетное любопытство, она тут же устремлялась туда и, можно сказать, завладевала тем, что уже считала как бы своею собственностью, будь то человек или же вещь, повинуясь лишь своему безудержному желанию. Пуритане наблюдали за этим, хотя и с улыбкой, но не забывая при этом шушукаться, бормоча, что ребенок этот, дескать, не иначе как дьявольское отродье — и красоты неписаной, и очень уж необычна: носится всюду, удержу не знает и так и сверкает, так и искрится. Подбежала к дикарю-индейцу, заглянула ему в лицо, и он почувствовал, что перед ним существо еще более дикое, чем он сам. Затем, вспорхнув, со свойственной ей смелостью, лишенной, одна-

ко, всякой назойливости, она очутилась среди матросов. Смуглолицые эти морские бродяги, по сути, тоже были дикарями, как дикари-индейцы, бродяги сухопутные. Удивленно и восхищенно они разглядывали Перл, словно та была пенным гребешком волны морской, вдруг превратившимся в девочку и обретшим душу, сверкающую переливами и сияющую, как сияет в ночную пору вода, рассекаемая носом судна.

Один из этих морских волков, а именно капитан, ведший переговоры с Эстер, был так поражен видом Перл, что сделал попытку поймать ее, чтобы ненароком коснуться. Поняв, что поймать ее так же немыслимо, как поймать на лету колибри, он снял со шляпы золотую цепочку и кинул ее девочке. Та немедленно нацепила ее на себя, обернув вокруг шеи и талии, да так ловко и так искусно, что цепочка словно приросла к ней и трудно стало даже представить себе Перл без цепочки.

— Твоя мать — это вон та женщина с алой буквой? — спросил моряк. — Передашь ей от меня весточку?

— Если понравится весточка, передам, — отвечала Перл.

— Тогда скажи ей, — продолжал капитан, — что

я еще раз переговорил с этим кривобоким старым доктором, и он вызвался друга своего, ну, того джентльмена, о котором мать твоя беспокоится, сам на судно доставить. Так что ей одной заботой меньше — только самой собраться и тебя привести. Так передашь ей эти слова, маленькая чертовка?

— Матушка Хиббинс говорит, что мой отец — князь воздуха! — капризно воскликнула Перл и улыбнулась недоброй улыбкой. — Будешь обзывать меня дурными словами, я отцу пожалуюсь, и он бурю нашлет на твой корабль!

Бросившись стремглав через площадь, девочка вернулась к матери и передала ей слова моряка. Услышав их, Эстер почувствовала, что спокойствие, воля и выдержка готовы вот-вот ее покинуть: в ту минуту, когда ей и священнику открылся выход из лабиринта страданий, перед ней замаячил темный и угрюмый лик неотвратимой судьбы. Искривив губы в жестокой улыбке, не ведающая жалости судьба преграждала им путь.

Но Эстер, которая пришла в ужас от переданного сообщения, суждено было новое испытание. На площади среди прочих собрались и люди из окрестных поселений, слышавшие историю об алой букве. Слухи эти, преувеличенные и неред-

ко перевранные, вызывали в них страх и трепет, но увидеть ужасный знак собственными глазами им еще не доводилось. Теперь же, после других развлечений, они самым грубым и неделикатным образом столпились возле Эстер Принн. Однако бесцеремонность их имела границы, не позволяя подойти к ней ближе, чем на несколько ярдов; с этого расстояния, образовав круг, они и разглядывали ее, застыв на месте и охваченные общей силой отвращения, которое вызывал в них таинственный знак. Также и кучка матросов, заметив скопление людей в одном месте, проведав историю алой буквы и что она означает, протиснулись в толпу, и в кольце окруживших Эстер зрителей теперь мелькали и их дочерна загорелые разбойничьи физиономии. Даже индейцев коснулась бледная тень всеобщего ажиотажа; с любопытством, не столь горячим, как у белого населения, двинулись они в толпу и устремили свои черные, по-змеиному неподвижные глаза на грудь Эстер, при этом, возможно, думая, что женщина с таким красиво вышитым знаком наверняка пользуется большим почетом у соплеменников. Под конец и городские жители, чей угасший интерес к избитой теме всколыхнулся и разгорелся вновь под влиянием стадного чувства,

лениво потянулись к месту происшествия, и их холодное, такое привычное внимание сейчас было для Эстер особенно нестерпимо. В окружившем ее кольце она видела и различала и лица тех самых почтенных горожанок, что поджидали ее выхода из тюрьмы семь лет назад. Все они были здесь, кроме одной, самой молодой, той единственной из них, у которой нашлись тогда для нее слова сочувствия и чей погребальный наряд был сшит потом руками Эстер. В решительный час, когда страдалице вскоре предстояло содрать с себя и выбросить жгущую ей грудь отметину, алая буква странным образом вновь стала центром и средоточием острого любопытства, и жжение от нее ощущалось сильнее, чем в первый раз, когда женщина впервые пришила знак к своему платью.

Все то время, пока Эстер находилась внутри проклятого кольца позора, на который обрекла ее, видимо навечно, изощренная жестокость приговора, всеми обожаемый служитель церкви с высоты освященной кафедры глядел вниз на покоренную им толпу. Богоданный священник и женщина с алой буквой на груди! Какое необузданное воображение посмело бы объединить их, догадавшись, что пылающим клеймом отмечены

они оба!

Глава 23
Раскрытие тайны алой буквы

Проникновенный голос, влекущий и вздымающий вверх слушателей, подобно тому как влечет и вздымает на гребне своем морская волна, наконец умолк. Последовала секундная тишина, столь же глубокая, как та, что сопровождает речение оракула. Затем послышался гул голосов, приглушенный сдержанный шум, с каким люди, освобождаясь от чар, унесших их в высокие сферы, возвращаются вспять, к себе самим, но все еще полные благоговейного удивления. И в следующую же секунду толпа повалила прочь из церкви. Кончено! Им требовался глоток другого воздуха, более соответствующего той грубой, земной реальности, к которой они возвращались, нежели благоуханная, насыщенная густым ароматом мысли атмосфера, которую священник и обращал в пламенные слова.

Немое состояние восторга обрело язык: улица и площадь так и гудели, из конца в конец неслись разговоры, впечатления, похвалы священнику. Люди не могли успокоиться: каждый спешил по-

делиться тем, что чувствовал, но не мог должным образом ни выразить это, ни осмыслить. Однако все сходились во мнении, что никогда дотоле слова священника не были так мудры, так возвышенны, так полны святости, как в этот день, да и из иных смертных уст вряд ли вырывалось когда-либо нечто столь же явственно отмеченное печатью вдохновения. Судя по всему, на него сошла благодать; именно она, наполнив его собою и не покидая до конца речи, заставляла священника то и дело отрываться от лежавшего перед ним написанного текста проповеди и внушала ему мысли, удивлявшие не только слушателей, но и, казалось, его самого. Темой речи он, по-видимому, выбрал связь высших сил с людскими сообществами, из которых он особенно выделял недавно народившееся в дикой пустыне сообщество жителей Новой Англии. Под конец речи священником овладел дух пророчества, подобный тому, которым движимы были пророки древнего Израиля, с той только разницей, что в отличие от древнееврейских провидцев, вещавших о близящемся суде и предрекавших своей стране неизбежные кары и погибель, мистер Димсдейл чувствовал себя призванным возгласить будущую славу и высокое предназначение нового богоизбранного

народа. Но и в этом пророческом славословии, и во всей его речи был различим подспудный оттенок глубокой печали, который не мог быть понят иначе, чем естественное сожаление человека, готовящегося к скорому уходу из этого мира. Да, их священник, так ими любимый и так любивший всех и каждого из них, что не смог бы вознестись на небеса без скорбного вздоха, предчувствовал свою безвременную кончину, над которой им вскоре предстояло лить горькие слезы. Печальная мысль о временности его пребывания с ними, как мощный аккорд, придавала дополнительную силу тому колоссальному впечатлению, которое произвела его речь. Как будто ангел, отлетая на небеса, взмахнул напоследок людям своим сверкающим крылом — одновременно и тень, и свет — и пролил миру благодатный дождь истин.

Это был переломный момент для мистера Димсдейла: наступал звездный период его жизни, как наступает он для большинства людей из самых разных сфер, хотя люди редко его осознают и лишь вспоминают о нем, когда он уже в прошлом — период более блистательный и триумфальный, чем все, прожитые им ранее, и все, что могли предстоять ему в будущем. В этот момент он достиг вершины горделивого превос-

ходства и славы, на которую дары незаурядного ума, богатых знаний, победного красноречия и чистейшей святости способны были вознести священнослужителя в Новой Англии тех ранних ее лет, когда священнический сан уже сам по себе являлся гордым пьедесталом. Вот на какой вершине пребывал мистер Димсдейл, когда, окончив проповедь в честь дня выборов, склонил голову перед престолом в последнем поклоне.

А Эстер Принн между тем стояла возле позорного помоста, и алая буква горела у нее на груди!

И вот вновь раздались грохочущие звуки оркестра и четкий шаг выходившего из церковных врат воинского подразделения. Шествию предстояло проследовать к ратуше, где торжественное застолье должно было завершить празднество.

И вновь по широкому проходу, образованному почтительно расступавшимися людьми, двинулась процессия из самых именитых отцов города — губернатора, и судей, и умудренных летами старшин, и известных набожностью клириков — самые влиятельные и облеченные властью горожане шли в этих рядах, и когда они ступили на площадь, их встретил восторженный вопль толпы. В этом выражении восторга — которому, несомненно, добавляло силы и то почти дет-

ское преклонение перед властью, которым так отличался описываемый век, чувствовался отголосок непреходящего энтузиазма, охватившего всех, слышавших красноречивую проповедь священника, чьи слова все еще звенели у них в ушах. Каждый ощущал в себе порыв энтузиазма и знал, что дышит в унисон с соседом и разделяет с ним этот порыв. Своды церкви едва могли вместить его и удержать внутри, теперь же под открытым небом он вырвался и устремился в зенит. И чувство, объединившее массу людей, преобразилось в звук более мощный, нежели рев органных труб, гром небесный или рокот бурных морских волн. И как звуки в симфонии, так голоса сотен людей слились в один всеохватный голос, а их сердца стали единым сердцем толпы, из которого чувство исторгло этот неповторимый звук. И никогда дотоле земля Новой Англии не носила на себе смертного, столь прославленного собратьями своими, каким оказался в эту минуту священник!

Что же чувствовал при этом он сам? Не светился ли золотой нимб вокруг главы его? Вознесшийся на такую духовную высоту, боготворимый обожателями своими, мог ли ступать он по земле в этой процессии?

Когда мимо шел строй военных и гражданских чинов, взоры присутствующих искали среди именитых граждан и шедшего в их рядах священника. Громкий вопль стихал, переходя в недоуменный шепот, по мере того как священник подходил ближе и люди один за другим могли разглядеть его. Какой же он бледный, каким слабым выглядит во время своего триумфа! Энергия, или, лучше сказать, вдохновение, которое было даровано ему свыше, которое умножало его силы для произнесения священных слов, теперь, когда он добросовестно исполнил свою миссию, его оставили. Пламя, исходившее от него и горевшее на его щеках еще так недавно, теперь безвозвратно угасло, превратившись в тусклые головешки. В лице его не было жизни: мертвенно-бледное, оно казалось лицом обреченного, неверными шагами бредущего по дороге, но все же продолжающего путь!

Один из его собратьев-клириков, достопочтенный Джон Уилсон, заметив, в каком состоянии оставила мистера Димсдейла схлынувшая волна умственного и душевного подъема, поспешно сделал к нему шаг, чтобы поддержать. Но священник, хоть и с дрожью, но решительно отклонил предложенную ему старым джентльменом по-

мощь, не пожелав опереться на его руку. Он все еще шел вперед, если шаги его, более похожие на неуверенные колеблющиеся шажки ребенка, устремляющегося навстречу простертым к нему материнским рукам, можно было счесть движением вперед. И так, мало-помалу, а напоследок и уж совсем еле-еле он добрался до места напротив достопамятного потемневшего от непогод деревянного помоста, ознаменовавшего для Эстер начало страшных лет ее жизни, помоста, где она, впервые встретив осуждающие взгляды толпы, приняла свой позор. И сейчас она стояла возле этого помоста, держа за руку маленькую Перл, а на груди Эстер сияла алая буква! Тут священник остановился, хотя все еще звучал торжественный и бодрый марш, побуждавший процессию двигаться вперед. Надо было идти дальше, спешить на праздник, но он остановился.

Беллингем, уже несколько минут с тревогой глядевший на священника, оставил свое место в движущейся веренице и бросился на помощь, решив по виду мистера Димсдейла, что тот сейчас упадет. Но в выражении лица священника мелькнуло нечто, заставившее чиновника побояться приблизиться к нему. Люди не всегда распознают неясную угрозу из тех, какие одна душа посылает

другой, но тут Беллингем поостерегся. Толпа между тем взирала на происходящее с благоговейным удивлением. Упадок сил и полуобморочное состояние священника она воспринимала как еще одно доказательство его небесной природы — люди не сочли бы ни странностью, ни чудом, если б в эту минуту, прямо у них на глазах, мистер Димсдейл оторвался бы от земли и стал подниматься ввысь, стал таять, но светясь все ярче, пока не скрылся бы окончательно, слившись с сиянием небес.

Повернувшись к помосту, он простер руки:

— Эстер, — воскликнул он. — Иди сюда! Иди сюда, моя маленькая Перл!

На лицо его было страшно смотреть, но выражало оно нежность и странную торжественность. Дитя, вспорхнув, как птичка, со своей обычной легкостью, подлетело к нему и обхватило руками его колени. Эстер Принн, очень медленно, словно повинуясь неизбежной судьбе, преодолевающей силу даже собственной ее воли, тоже приблизилась, но остановилась в шаге от него. В этот момент старый Роджер Чиллингворт протиснулся сквозь толпу или же, судя по мрачному и злобному его взгляду, вылез из преисподней, дабы, схватив свою жертву, помешать ему испол-

нить задуманное. Как бы там ни было, но старик, ринувшись вперед, поймал священника за руку.

— Опомнитесь, безумец, что вы делаете? — зашептал он. — Велите этой женщине уйти! Отриньте от себя этого ребенка! Не черните свое доброе имя и не позорьте свою честь!

— Ха, искуситель! Думаю, ты опоздал, — отозвался священник, не без страха, но и не отводя глаз. — Ты утратил свою мощь! С Божьей помощью я сейчас от тебя избавлюсь!

И он вновь простер руку к женщине с алой буквой на груди.

— Эстер Принн! — возгласил он с проникновенной искренностью в голосе. — Именем Того, кто сокрушительной и милостивой дланью своею благословил меня сейчас сделать то, на что целых семь лет мне не хватало духу, и в этом были мой великий грех и мое мучение, подойди ко мне и укрепи меня своею силой! Да направит тебя, удвоив твои силы, та воля, кою Господь даровал мне! Этот жалкий заблудший старик изо всех сил старается ей противиться, а движет им сам дьявол! Подойди, Эстер! Помоги мне подняться на эшафот!

Толпа пришла в смятение. Окружавшие священника важные и достойные люди были

изумлены и озадачены этой сценой, они не могли принять самое очевидное из объяснений, будучи не в силах измыслить и объяснения иные, и хранили молчание, лишь безмолвно наблюдая за тем, как готовится свершить свой суд Провидение. Они видели, как, опираясь на плечо Эстер и поддерживаемый ее рукою, которой она его обвивала, священник приблизился к помосту и поднялся по ступеням, все еще сжимая ладошку зачатого во грехе ребенка. Старый Роджер Чиллингворт шел следом за ними. Он был неотъемлемой частью этой печальной драмы о грехе и расплате, драмы, в которой каждый из них троих играл свою роль, и так как роль Чиллингворта была важнейшей, он должен был участвовать и в заключительной сцене.

— Что, не удалось тебе укрыться от меня? — произнес он, хмуро глядя на священника. — Нет для тебя такого места на всей земле, ни на вершинах ее, ни в низинах, кроме как на этом эшафоте!

— Благодарение Господу, что он возвел меня сюда! — ответил священник.

Однако его била дрожь. И когда он обратился к Эстер, то взор его, выражавший тревогу и сомнение, был не менее красноречив, нежели игравшая на его губах слабая улыбка.

— Разве так не будет лучше того, о чем мечтали мы в лесу? — пробормотал он.

— Не знаю я! Не знаю! — быстро отвечала она. — Лучше? Ну да, мы оба, наверное, должны умереть, и маленькая Перл тоже, как и мы.

— Что до тебя и Перл, то как Господь повелит, так и будет, а Господь милостив. А мне позволь исполнить его волю, которую он так ясно мне явил. Ибо я умираю, Эстер, и надо спешить принять уготованный мне позор.

Поддерживаемый Эстер и не выпуская руки маленькой Перл, преподобный мистер Димсдейл повернулся к почтенным и достославным отцам города, к своим собратьям — святым клирикам, к собравшемуся на площади народу, чье большое и щедрое сердце, глубоко потрясенное, переполняли щемящая жалость и сочувствие от сознания, что вот сейчас откроется глубочайшая тайна жизни, может быть, и греховной, но искупленной страданием и болью. Лучи солнца, лишь незадолго перед тем перевалившего за полдень, падая на священника, четко очерчивали его фигуру, стоявшую высоко над землей и как бы вознесенную над ней, дабы мог он принести покаяние Предвечному.

— Люди Новой Англии! — воскликнул священ-

ник, и звучный голос его взвился над толпой — торжественный, величавый, но и трепетный, он временами срывался на крик, исторгнутый из бездны раскаяния и горьких мук совести. — Вы все, так меня любившие и любящие, считающие меня праведником, глядите, вот он я, из грешников грешник, наконец, наконец-то стою здесь, на месте, где должен был стоять еще семь лет назад, рядом с женщиной, чья рука держит меня крепче, чем немощные силы мои, едва позволившие мне вползти на эшафот! Не будь ее, и я пал бы наземь, пресмыкаясь в пыли, как червь! Видите вы на ее груди эту алую букву? Вы содрогались, глядя на нее. Куда бы ни направляла стопы свои эта женщина, всюду, где, удрученная горем, надеялась она найти отдохновение, клеймо это, светясь зловещим светом, окутывало ее облаком всеобщего ужаса и отвращения. Но среди вас был некто, чье клеймо греха и позора не вызывало в вас содрогания.

В этот миг всем показалось, что священнику не суждено докончить речь и тем раскрыть свою тайну. Но мистер Димсдейл сумел преодолеть телесную слабость и, более того, победить тщившуюся завладеть им слабость духа. Отвергнув помощь, он решительно сделал шаг вперед, отде-

лившись от Эстер и ребенка.

— Но клеймо это на нем, — продолжал он со страстью, рожденной желанием высказать все до конца. — Господне око видело это клеймо, ангелы небесные указывали на него перстами. И дьяволу было оно ведомо, и дьявол тешился, теребя его касаниями огненных своих пальцев. Но от людей человек этот злокозненно скрывал свое клеймо и ходил меж вами — такой чистый и непорочный в мире греха! — с видом, сокрушенным, казалось бы, только тем, что рядом с ним нет людей столь же небесно-добродетельных! Но вот в свой смертный час он стоит перед вами. Он молит вас вновь взглянуть на алую букву Эстер. Поверьте ему, что, несмотря на таинственный и ужасный свой смысл, буква эта — лишь слабая тень того, что давит его собственную грудь, но даже и это носимое им алое клеймо всего только знак тех терзаний, что разрывают его сердце! Может, кто-то из стоящих здесь сомневается в суде Божьем над грешником? Так смотрите! Взирайте на ужасное свидетельство его грехов!

Судорожным движением он сорвал прикрывавшую его грудь священническую столу. Свершилось! Тайна была раскрыта! Но описывать, как это произошло, было бы нескромно. Одно

мгновение пораженная ужасом толпа лицезрела чудесным образом явившееся кошмарное видение, в то время как священник стоял, а на щеках его пылал румянец торжества — так радуется человек, в жесточайшей борьбе победивший острую боль. И в следующий миг священник осел на помост! Эстер приподняла его, прижав его голову к своей груди. Старый Роджер Чиллингворт склонился над ним, встав на колени рядом. Он в оцепенении глядел на священника, и застывшие черты его ничего не выражали, словно жизнь, отлетев, вдруг покинула эти черты.

— Ты ускользнул от меня! — только и повторял он. — Ускользнул!

— Да простит тебя Господь! — произнес священник. — Ведь и твой грех тоже тяжкий и жесткий!

Отведя от старика угасающий взгляд, он обратил его на женщину и ребенка.

— Моя маленькая Перл, — произнес он слабым голосом, и лицо его озарилось тихой и нежной улыбкой, так улыбается душа перед тем, как погрузиться в глубокий и вечный покой, более того, эта душа, когда с нее был снят гнет, казалось, готова была возрадоваться и завести с ребенком шутливый разговор. — Дорогая моя малютка Перл! Ну а теперь ты поцелуешь меня? Там, в

лесу, ты не хотела. А теперь? Поцелуешь?

Перл поцеловала его в губы, и колдовское заклятие спало. Необузданное дитя примкнуло к другим участникам скорбной сцены, сыграв в ней роль, отчего заложенные в нем зачатки сострадания, до времени таившиеся под спудом, пошли в рост и, встрепенувшись, выразились в слезах, каплями своими омочив щеки отца и став залогом того, что в будущем Перл предстоит познать и человеческие радости, и человеческие печали, что прекратит она свою войну с миром вокруг, что вырастет она в нем обычной женщиной, одной из многих. А миссию свою быть для матери провозвестницей страдания, вечно напоминая ей о нем, девочка тоже выполнила — сполна и до конца.

— Эстер, — произнес священник, — прощай!

— Неужели мы больше не увидимся? — прошептала она, наклоняясь к самому его лицу. — Разве в вечной жизни мы не будем вместе? Ну конечно, конечно же, будем, ведь мы выкупили это право, заплатив за него нашим общим страданием! Ты умираешь, но взор твой так блестит, будто ты прозреваешь даль вечности! Скорей скажи мне, что ты там видишь!

— Тише, Эстер, тише! — прервал он ее голосом

трепетным и серьезным. — Мы с тобой нарушили закон! Ужасный грех наш теперь явлен! И пусть только этим будут заняты твои мысли! Я боюсь, боюсь, что если мы забыли о Господе, если оба мы осквернили душу друг друга, то может статься, что напрасно мы надеемся на встречу за гробом, на чистое наше соединение в вечности. Один Господь ведает, что с нами будет, и Он милостив. Милость свою он оказал прежде всего, когда дал мне в удел мои недуги. Когда даровал моей груди право гореть в огне терзавшей ее огненной муки. Когда прислал к нам сюда мрачного и страшного старика, чтобы тот поддерживал пламя этой муки и оно разгоралось бы ярче. Когда возвел меня на эшафот и подарил мне смерть на глазах всего народа в момент моего триумфа и позора. Не претерпи я хотя бы одной из этих мук, и я бы пропал, проклятый на веки вечные! Хвала Ему и Имени Его! Да сбудется Его святая воля! Прощайте!

Последнее слово священник вымолвил уже на последнем дыхании. Народ, до той поры молчавший, отозвался странным низким гулом, исполненным благоговейного удивления, ранее не умевшего найти для себя выражения, а сейчас прокатившегося тяжелыми волнами вослед отлетающей душе.

Глава 24
Заключение

По прошествии многих дней, когда время позволило людям разобраться в том, чему они стали свидетелями, возникло множество описаний сцены, произошедшей на помосте, в рассказах об увиденном.

Большинство зрителей свидетельствовали о том, что собственными глазами видели на груди несчастного священника алую букву. Точно такая же, что была у Эстер Принн на платье, буква эта у священника как бы впечаталась прямо в тело. Что же до происхождения буквы, то тут выдвигались объяснения самого разного свойства, и все они, как и положено, строились на догадках. Некоторые утверждали, что с первого дня, как только Эстер Принн стала носить свой позорный знак, мистер Димсдейл принял обет покаяния, который и пытался исполнять впоследствии, пробуя то одно, то другое, но все попытки казались ему тщетными, пока он не придумал подвергнуть ужасному истязанию свою плоть. Другие возражали, говоря, что безобразное клеймо появилось

на теле у священника лишь много времени спустя стараниями Роджера Чиллингворта, который, будучи могущественным колдуном, вытравил эту букву на коже страдальца с помощью таинственных обрядов и ядовитых снадобий. Ну а третьи, находившиеся под наиболее сильным впечатлением от утонченности чувств мистера Димсдейла, дух которого так чудесно возобладал над телом, шепотом делились своим верованием в то, что ужасный символ — это внешнее выражение глубочайшего и никогда не покидавшего священника раскаяния, точившего его изнутри, пока, наконец, боль не вышла наружу, отобразившись в букве, которая и стала доказательством Воли Божьей и Суда Его над грешником. Читатель вправе сам сделать выбор, предпочтя одну из версий. Мы же, пролив как можно более яркий свет на этот знак, рассказав о нем все, что знали, и тем очертив его контуры и смысл, теперь, когда назначение свое знак этот выполнил, будем рады стереть его из нашей памяти, где он так долго пребывал, вопреки нашей воле став предметом скрупулезного анализа и не слишком приятных размышлений.

Но, как это ни удивительно, нашлись люди, свидетели этой сцены, клятвенно заверявшие,

что на всем ее протяжении не сводили с мистера Димсдейла глаз и потому отрицают присутствие какого бы то ни было знака на его груди, уверенные, что кожа ее была чистой и гладкой, как у новорожденного младенца. То же самое и относительно предсмертных слов священника, которые, по их свидетельствам, не содержали ни прямо, ни косвенно признания в том, что он, хотя бы и отдаленно, имел касательство к той вине, за которую поплатилась Эстер Принн алой буквой на груди. Согласно авторитетному мнению этих всеми уважаемых граждан, священник, зная, что умирает, как знал он и то, что еще до кончины причислен многими и многими к сонму ангелов небесных и почитаем, подобно святому, пожелал испустить дух на руках падшей женщины, дабы показать миру, как несовершенна добродетель даже самых непогрешимых праведников. Посвятив жизнь служению людям и потратив ее в неустанных попытках содействовать их духовному благополучию, он и смерти своей хотел придать символический смысл, преподав почитателям горестный и в то же время незабываемый, величавый урок смирения, повествующий о том, что перед ликом Пречистого все мы грешники и что самые праведные из нас в святости своей воз-

вышены над собратьями лишь затем, чтоб яснее различать свет Высшего Милосердия, проливаемый на нас с высоты, и чтоб полнее отвергнуты ими были призрачный блеск человеческих заслуг и тщеславное карабканье наверх. Не оспаривая справедливость сей важной истины, мы все же просим соизволения считать такой взгляд на историю мистера Димсдейла проявлением упрямой и незыблемой верности своему кумиру людей, а в особенности друзей священника и их желания поддержать его репутацию в то время, как доказательства, столь же ясные и недвусмысленные, как падавшие на алую букву лучи полуденного солнца, превращают его запятнанную грехом фигуру в образчик лицемерия и низости.

Наш надежный источник, то есть старинная рукопись, текст которой основан на устных свидетельствах людей, знакомых с Эстер Принн лично либо слышавших ее историю от современников тех событий, полностью подтверждает изложенную нами на предшествующих страницах версию. Среди множества моральных поучений, которые можно извлечь из горького опыта несчастного священника и которые требовательно просятся на наши страницы, мы выбираем лишь одно, заключенное в единственной фразе:

«Говори правду! Говори правду! Говори правду!» Не бойся открывать людям дурное, если и не самое дурное, то черты, из коих это дурное может произрастать.

Однако более всего примечательной стала перемена, почти сразу же после кончины мистера Димсдейла случившаяся со старым джентльменом, известным как Роджер Чиллингворт, и сказавшаяся на его облике и повадках. Вся его сила, вся энергия, все, что составляет умственные и физические способности, словно покинули его. Он ссохся, увял, как вянет сорняк, вырванный с корнем и брошенный на солнцепеке. Этот несчастный положил всю свою жизнь на преследование, лелея мечту о страшной мести. Но, достигнув своего предела и высшей точки, ненависть его исчерпала себя и истощилась. Иначе, объекта ненависти и злых его деяний больше не существовало, и направить зло ему теперь на всей земле было не на кого. Все, что оставалось этому исчадию ада, — это отправиться туда, где его хозяин дьявол найдет для него работу и оплатит ее щедро и сполна.

Но ко всем этим мрачным персонажам, с которыми мы так долго водили знакомство, к Роджеру Чиллингворту и ему подобным стоит проявить

милосердие, ибо любопытная мысль о глубинном тождестве любви и ненависти представляется нам достойной размышления и исследования. Ведь обе эти страсти в наивысшем своем развитии и выражении одинаково предполагают высокую степень проникновения в душу другого человека, умение читать в ней, выведывая ее тайны; обе они черпают пищу в душевных движениях и чувствах другого человека и потому от него и зависят. Обе эти страсти — и страстная любовь и не менее страстная ненависть — делают своих мучеников глубоко несчастными, одинокими, покинутыми, когда предмет их любви или же ненависти их оставляет.

И хотя любовь представляется нам в ореоле небесного сияния, а ненависть видим мы выступающей из мрака, окруженной языками зловещего пламени, с философской точки зрения обе страсти, по существу, одно и то же. А ставшие на земле жертвами друг друга доктор и священник, попав в мир иной, могут обнаружить, что весь запас их земной ненависти и недобрых чувств внезапно превратился в золото святой любви.

Однако размышления на эту тему мы отложим ради того, чтобы продолжить разговор с читателем. После кончины Роджера Чиллингворта

(случившейся в том же году) согласно его последней воле и по завещанию, губернатор Беллингем и преподобный мистер Уилсон, выступившие в качестве душеприказчиков покойного, передали весьма значительное состояние мистера Чиллингворта, здесь и в Англии, в руки маленькой Перл.

Таким образом дитя-эльф, или же дьявольское отродье, кем ее упорно продолжали считать некоторые, стала богатейшей во всем Новом Свете наследницей — обстоятельство, которое, надо думать, существенно переменило отношение к ней общества, так что останься они с матерью жить в Бостоне, Перл вольна была бы по достижении брачного возраста выбрать себе в мужья любого, смешав свою горячую кровь с кровью какого-нибудь отпрыска благочестивейших из пуританских семейств. Однако вскоре после смерти доктора женщина, носившая на груди алую букву, вместе с дочерью исчезли из виду.

Долгие годы если и долетали о них какие-то смутные слухи — так океанская волна прибивает к берегу деревянные обломки, на которых порою можно различить чьи-нибудь инициалы, — то достоверных сведений об их судьбе жители Бостона не имели. История алой буквы между

тем успела превратиться в легенду, и чары ее по-прежнему были сильны и увлекали, а помост, на котором принял смерть бедный священник, равно как и домик на взморье, где некогда жила Эстер Принн, по-прежнему вызывали трепет ужаса во многих сердцах. Игравшая однажды неподалеку от домика Эстер детвора заметила возле двери дома высокую, одетую в серое женщину. За все эти годы дверь эту никто ни разу не отворил, но женщина либо отперла ее, либо ветхая древесина и заржавленное железо сами с легкостью поддались нажатию ее руки, а может быть, женщина эта проскользнула в дверь, как тень, преодолевающая любые преграды, как бы там ни было, но в дом она вошла.

На пороге она вдруг замешкалась и чуть было не повернула назад — возможно, мысль, что она, одинокая, постаревшая, вновь очутится сейчас в доме, где столько пережито и перечувствовано, испугала женщину и показалась невыносимой. Она медлила всего секунду, но и этого оказалось достаточно, чтоб глазам видевших эту сцену предстала сверкнувшая на груди женщины алая буква.

Итак, Эстер Принн вернулась и вновь подставила свою грудь забытому символу позора. А что же

произошло с маленькой Перл? Если осталась она в живых, то должна была превратиться к тому времени в юную женщину в расцвете лет. Никто не знал и так никогда и не узнал с совершенной достоверностью, что сталось с девочкой-эльфом — отправилась ли она в безвременную могилу, почив еще в девичестве, или же прошедшие годы, смирив и смягчив непокорную и необузданную ее натуру, дали ей тем самым возможность изведать тихое женское счастье. Но в жизни Эстер на протяжении всего остатка ее дней заметны были признаки того, что затворницу любит и о ней печется некто, живущий в другой стране. Ей приходили письма с печатями, украшенными гербами, неведомыми английской геральдике. В доме появлялись вещи, отмеченные удобством и роскошью, привычкой к которым Эстер Принн никогда не была избалована. Приобрести такие вещи можно было только на большие деньги, а подсказать мысль купить их для нее могла одна лишь любовь. Были в доме и безделушки, изящные милые пустяки, сувениры, украшения, выполненные, судя по всему, тонкими пальчиками и по велению любящего сердца. А однажды заметили, что Эстер шьет детское платьице, расцвечивая его таким причудливо-фантасти-

ческим, затейливым узором, что, появись дитя в таком наряде среди наших трезвомыслящих сограждан, это вызвало бы настоящий переполох.

Словом, по слухам, а заинтересованный этой историей век спустя таможенный инспектор Пью слухам этим верил, как верит самым искренним образом один из недавних его преемников по таможенной службе, Перл была не только жива, но и состояла в счастливом браке и, помня о матери, с радостью приняла бы ее, печальную и одинокую, в свой дом и развеяла бы ее одиночество, сидя с ней вместе у очага.

Но неведомой стране, в которой обрела приют ее дочь, Эстер Принн предпочла жизнь в Новой Англии, казавшуюся ей и более реальной, и более осмысленной, — здесь совершила она грех, здесь страдала и здесь ей надлежало принять искупление. Вот она и вернулась, чтобы продолжить — по собственной воле, ибо никакой суд ее к этому не принуждал, — носить на себе знак, мрачную историю которого мы вам поведали. Знак этот так и не покинул ее груди. Но за долгие годы трудов, размышлений и самоотвержения, из чего и состояла жизнь Эстер, алая буква потеряла значение клейма, вызывавшего у людей лишь презрительное негодование. Теперь, глядя на знак, они

испытывали лишь тихую грусть и сожаление, а к былому трепету перед его носительницей ныне примешивались сострадание и даже нечто сродни уважению. И так как Эстер Принн не преследовала никаких корыстных целей и ни в коей мере не желала для себя развлечений, люди несли ей свои скорби, делились трудностями и искали совета, зная, что и ей самой пришлось изведать немало бед. Женщины, постоянно испытуемые или раненные извечными женскими страстями, обманутые, отвергнутые, заблудшие, мучимые греховным чувством или невозможностью снять камень с души, открыв ее тайники кому-то неравнодушному, тянулись к жилищу Эстер, допытывались у нее о причинах своих несчастий и испрашивали средств избавления от них. Эстер как могла утешала их, давала советы. А еще она заверяла их в том, во что свято верила сама: что в свое время, когда Господь сочтет мир созревшим для этого, он одарит людей новым знанием истины и установит отношения мужчины и женщины на новом, более прочном фундаменте взаимной любви и счастья. Когда-то Эстер ошибочно полагала, что ей выпала пророческая роль и судьба ее — стать предвестницей этой замечательной эпохи. Но давным-давно она поняла

невозможность того, чтобы святая и сокровенная истина была доверена женщине, запятнанной грехом, изнемогающей под тяжестью стыда или даже просто согбенной долгой и неизбывной печалью. Ангелом и апостолом грядущего откровения призвана стать женщина поистине чистая, величаво-прекрасная и достигшая просветления не на сумрачных тропах скорби, а пролетевшая воздушными путями радости и являющая пример счастья, испытанного в святой любви, и жизни, устремленной к этой цели.

Так говорила Эстер Принн и, потупив печальный взор, поглядывала на алую букву. А много-много лет спустя на погосте возле места, где потом была воздвигнута Королевская часовня и неподалеку от старой, осевшей, почти сравнявшейся с землей могилы, была вырыта новая — совсем рядом, но все же отделенная от старой могилы некоторым пространством, как будто в доказательство невозможности соединить прах обоих усопших. Однако надгробие у них было общим. В отличие от прочих памятников вокруг, богатых, украшенных фамильными гербами, их надгробие было простой плитой из сланца, на которой любопытный исследователь кладбищенской архитектуры мог, к удивлению своему,

различить подобие вырезанного щита с остатками надписи, на наш взгляд, весьма подходящей для девиза или же краткого изложения нашей легенды — так мрачна она и беспросветна, как сама ночь, озаренная лишь туманным и неясным проблеском света в самом ее конце:

«На черном поле алая буква «А».